

АРТИКЛЪ

Израильский литературный журнал

АРТЖУР



№ 3

Общественный фонд культурных связей
"Израиль - Россия"

Тель-Авив
2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Елена Викман. Дисания.....	3
Жанна Свет. А что ещё остаётся?!	15
Мария Шенбрунн-Амор. Мир с Египтом.....	27
Елена Джеро. Будь моим.....	43
Татьяна Рашевски. Слепой бандурист.....	54
Эстер Кей. Орлик.....	65
Евгений Коган. Человек-волк. История болезни.....	85

ПОЭЗИЯ

Ирина Каренина. Подальше от дурной любви.....	100
Ольга Журавлева. Соль.....	104
Игорь Губерман. Поворот судьбы (новые “га- рики”).....	109
Александр Беляков. Тексты 16 года.....	118
Илья Риссенберг. Пятая свеча.....	123
Виктор Голков. Славянское.....	129
Виктор Хатеновский. В Саратов, к тетке.....	134
Александр Ситницкий. Переводы с польского.....	136

НОН-ФИКШН

Петр Люкимсон. Последний бес.....	143
Александр Ласкин. До войны и война.....	167
Игорь Шихман. Назначен в герои.....	199
Борис Дынин. Странствование Льва Шестова в поисках Бога...235	
Дариуш Цыхоль. Мой Иерусалим (пер. с польского Сергея Подражанского).....	253
Анна Файн. Интервью с Александром Иличевским.....	262
Алина Попова. «Легенды горы Кармель».....	266
Яков Нелькин. Спасли очень многих?.....	268

СТИХИ И СТРУНЫ. О песнях Ирины Маулер.....	273
---	-----

На первой странице – обложка книги Дениса Соболева “Легенды горы Кармель” (см. стр 266).

ПРОЗА

Елена Викман

ДИСАНИЯ

Круглые красные щечки, как твердые зимние яблоки, желтое плюшевое тельце. Вышитые глазки, умильные уши. Двадцать лет назад Рю подарил его любитель итальянской поп-музыки, с которым она не хотела встречаться. Она так и не удосужилась посмотреть ни одной серии про покемонов... И ни одного выпуска Сан-Ремо.

В пять лет она еще не выговорилась и смешно искажала свое имя.

– Как тебя зовут, такую кудрявую?

– Марюся...

С тех пор и повелась домашняя кличка Рю.

Она любила сложные слова и специально выкапывала их в сети.

Не всякие там ассонансы, это слишком просто, пройденный этап, а действительно редкие, заковыристые. Петрикор годился, – запах земли после дождя. Урман – густой непроходимый, бессветный почти лес, подходил.

А еще были слова из детства, полустертые, словно раздавленные ластиком на тетрадной страничке в линейку.

– Легід – шептали они, – теплый вечерний ветер

– Летіпло – летняя водичка, не холодная, и не парное молоко – нечто среднее.

Рю вставала затемно, щелкала выключателем, не открывая глаз, она считала дурной приметой начинать день, не обозначив контуры предметов, не внося в мир обыденность и безопасность.

Вчера подросток едва не утонул, ныряя на городском пляже за редким водяным покемоном.

Другого укусила гадюка, когда он двигал корягу, под которой она мирно отдыхала, – тоже покемона выуживал.

Третьего едва не переехал междугородний экспресс, белый, с зелеными номерами Палестинской автономии. Хорошо водитель успел вовремя затормозить

Рю порой увлекалась смартфонными играми, но категорически не умела отыскивать в сети пиратские копии. Поэтому за покемонами она не охотилась. Понятно, когда игра станет официально доступна, она убьет некоторое время на поиск этих милых созданий в близлежащих парках и постройках, но не слишком много, – чувство меры ей не изменяло.

Соседская девочка вчера вывихнула ногу, – бежала, следя только за подрагивающим бипером на экране, – и не заметила ступенек.

В Америке, говорят, кто-то в похожей ситуации свалился с моста.

Одинокая Рю больше всего боялась серьезной травмы или болезни, поэтому жила осторожно: не носилась, сломя голову, не хватала с уличных лотков непроверенные продукты, не пялилась в телефон, переходя дорогу, не откликалась на соблазнительные предложения случайных интернет-знакомых. Она не нудная была, просто продуманная очень. Таким бывает профессиональный текст, не претендующий на талантливое письмо, – аккуратным, и придраться не к чему, а то, что читать скучно, так скука понятие сугубо субъективное.

Первого покемона Рю поймала в садороде (так она окрестила небольшой участок у дома, несколько кустиков и пара фруктовых деревьев, нечто среднее между садом и огородом). Он сидел на ветке мушмулы (ее здесь называют шесек). Это был Пиджи, больше всего напоминающий драчливого воробья из старых советских мультиков, пузатенький, хохластый и в меру задиристый.

– Иди сюда,– Рю протянула руку к дереву на экране смартфона. Пиджи подумал, потоптался на ветке, почти настоящей, только излишне коричневой, и перешел на рисованное предплечье перса. Рю даже почудилось на мгновение, будто ее аккуратно царапнули крохотные коготки. Она машинально сорвала с дерева два оранжевых плода, покрытых нежным пушком, ещё чуть-чуть и шесек поспеет. Тогда она притащит из сараюшки лестницу, прислонит ее к морщинистому стволу и будет тянуться, до хруста в суставах, привставать на цыпочки, оглаживать пальцами нежную кожицу. И складывать, сперва в горячий от солнца полотняный передник, а после в раскаленное звонкое ведро. Вот это, если разобраться, и была она,– простая жизнь, без всякой augmented reality. Пиджи на экране требовательно пискнул и наклонил голову. Рю погладила его, успокаивая.

На следующий день в сумерках она совершенно случайно отыскала под старой корягой у границы арабских виноградников, там, где хрипло кричат ослы и еле слышно звенят провода, редкого бульбозавра, то ли животное, то ли растение с луковицей на спине. Бульбозавр был довольно ядовит, а питался, кажется, с помощью фотосинтеза. Рю брела домой по пыльной дороге, старой кольцевой, которая прежде проходила по границе между своими и чужими лоскутами земли, прижимаясь к забору. Тогда по ней ездил неповоротливый дозорный джип с мигалкой. Потом забор перенесли, появилась новая кольцевая, и там ревели, вздымая песок и щебёнку, тяжелые джипы, а здесь пыль нарастала, слоилась, изредка змеилась следами широких, четыре на четыре, автомобильных колес. Телефон булькал, потрескивал, пищал, в общем жил своей жизнью, посылая сигналы в недополненную реальность. Рю порой думала, что если однажды исчезнут, сметенные чудовищной силой, все люди, их самсунги и айфоны будут попискивать, разливаться трелями будильников, щелкать, принимая отправленные автоматами рассылки спама – пока в них не умрут, окончательно разрядившись, батареи.

Она продолжала заполнять тетради крупным неровным почерком, чувствуя, что выбивается, выпадает из шага времени. Ей нравились запах и фактура настоящей бумаги, и чистой, и

покрытой типографскими знаками. Бумажные книги имели вес и аромат, а электронные казались обманкой, поманили яркой обложкой – а под ней не шорох страниц, а скольжение пальца по бесшумному экрану и мерцающие червячки букв. Кроме того постоянно тренькают облачка сообщений из приложений и игр. Вот и сейчас посреди детектива – «звяк».

В лесу Лахиш обнаружена необычно высокая концентрация покемонов.

Два игрока в Pokemon go пропали в районе Ятирского леса. (наверняка заблудились в поисках чудовищ, дурачки)

В зоне отдыха под Хадерой туристы жаловались на странный шум, напоминающий рычание крупного зверя, и на неприятный гнилостный запах.

(знаю я эту зону отдыха: бывшее болото, белые стволы эвкалиптов, мерцающих томно в ночи, бесчисленные мангалы и костры. Должно быть, что-то привиделось отдыхающим после восьмого пива).

– На Мицпэ Люцифер ловец покемонов едва не свалился в пропасть во время погони за экансом.

Рю посмеялась над незадачливыми игроками и вернулась к детективу. В детективе был двадцать восьмой или двадцать седьмой год, и умными телефонами даже не пахло.

– Хотела бы я жить в то время? – лениво подумала она. – Да нет, скучно, опять же – между двух мировых войн, да диктатуры, да мировой экономической кризис.

Ночью прохладный ветерок распахнул настежь окно, и в него потянулась призрачная рука, обмотанная белым газовым шарфом. «Газовая дама идет за тобой», – зашипело из-под шкафа. Рю подскочила в холодном поту и даже, кажется, закричала. Газовая дама была наипугающей страшилкой ее допионерского детства. Как-то раз, летним вечером, когда стрижи чертили в розовеющем небе, а вороны носились с хриплыми криками над сквером, суетливо кружа у своих неряшли-

вых гнезд, Петька рассказал новую историю взамен надоевшей уже Пиковой дамы. Лузга от семечек щедро засыпала асфальт у скамейки, покрыла рябинками классы, аж до пятерки. Петька плюнул, красиво, почти достал до цифры семь, – нет, не достал, остановился на шестерке, оставил у нее на пузе пару смачных черных отметин.

– Газовую Даму звать не надо, – говорил Петька, – она появляется так вдруг, без предупреждения, как чума.

– Чума всего лишь острая инфекция, – заявил умный Марик, – и ничего она без предупреждения не является, ее разносят тарбаганы, суслики такие, и блохи. Вдруг – это когда бандит на улице нож в спину воткнет или кирпич на голову свалится.

– Значит, как урка, – рассердился Петька, – не мешай рассказывать.

В общем, она появляется, вытягивается откуда-нибудь такая прозрачная рука, обмотанная газовым шарфом, и начинает им махать вслепую. Кого заденет, пометит, может когда-нибудь за ним вернуться. Кого плотно обмотает – тот непременно скорости умрет от удушья, или повесят его, или от газа угорит – что-нибудь такое.

– Еще может быть дифтерит, – вставил Марик, – но он сейчас редко встречается.

– Не зовите смерть, – прошамкала проходящая мимо бабка, глянув на них белыми глазами, – чего доброго услышит.

Она уже прошаркала за гаражи – бабка незнакомая, и глаза у нее страшные, будто бельмами затянутые, но тем не менее зрячие. Потом их с Мариком одновременно выкрикнули с балконов, пора было идти за музыкалку, выносить мусор. Мусорная машина приезжала в половину восьмого, если не опаздывала. Они с Мариком шли между гаражей, кидались на меткость зелеными абрикосами, когда вдруг между двумя коробками, обитыми ржавеющими листами железа, потянулась рука в широком холщовом рукаве, на руке болтался завязанный мертвой петлей белый тонкий шарф. Рю завизжала и нырнула вниз, глотая пыль, поползла по-пластунски в сторону звона, возвещавшего приближение мусорки, к людям. У последнего гаража подскочила и понеслась бегом, волоча за

собой ведро. А Марика зацепило всерьез, осалило бегущего, прогладило по обеим ногам, по животу...

– Чёрти во что играете,– проворчала злая соседка Клава,– грязные, как негритосы. В ту же ночь Марика накрыло приступом астмы. Он в самом деле едва не задохнулся, потому что Мариэта Львовна, его бабушка, никак не могла припомнить, куда положила ингалятор. Нашелся он, когда скорая была уже в пути, в кармане фартука с ромашками, отдохавшего на гвоздике в кухне, слева от раковины – Мариэта Львовна была совсем немного педанткой.

Еще долго Рю и Марик боялись гаражей и шли к мусорке в обход, огибая музыкалку по периметру. Потом Рю придумала начертить мелкими посреди асфальта полосу безопасности, «заговоренную», и ходить только по ней, – ну, как в сказках: человек, чтобы спастись от чертей, рисовал круг и не выходил за его границы. Действительно помогало, внутри цветной полосы страшно не было. Потом и вовсе отпустило – полоса стала не нужна, и все вернулось на круги своя. А про Газовую Даму Петька больше не рассказывал, на всякий случай. Рю потом пришла к выводу, что это он их с Мариком разыграл, но признаться боялся. Так и успокоилось, до той ночи. Усики стрелок на часах подвинулись к половине пятого, Рю все еще не спала. Это была ее личная примета: если что-то привидится, совсем жуткое, не ложиться снова до пяти утра. В пять небо меняло свой цвет, зимой чуть-чуть, а летом – вполне ощутимо, начинали орать оглашенные петухи и муторно завывать ишаки, собаки заливались бодрим утренним лаем, ревел под окнами первый автобус в город, соседи копошились, собираясь на работу. Рю и сама выходила рано, в половину шестого, поэтому в тот день ей не удалось доспать. В автобусе она листала приложения – и вдруг вздрогнула. Маленький безобидный Пиджи снес яйцо. Яйцо лежало в соседском саду, в гнездышке под шелковицей, и было вызывающе голубым. Сквозь тонкую скорлупу просвечивали невесомые белые петли. В уведомлении значилось: «Пиджи снес яйцо Газовой Дамы. Дама выйдет через 72 часа.» 72 часа. Рю знала, что яйцами Пиджи питается змееподобный покемон Эканс. Оставалось найти Эканса и посадить его рядом с яйцом.

Первым делом он пребольно укусил ее за палец, ощерился треугольной головой, приподнял хвост, демонстрируя готовность к новому удару. Рю сделала вид, что совершенно не боится маленького Эканса, даже улыбнулась ему, подула на укушенное место и громко сказала:

– И ничуть не больно, ни капельки.

Змей только насмешливо покачал головой, но принял условия игры, свернулся в уголке экрана, умиротворенно закрыл глаза.

Целый вечер Рю провозилась на кухне, сооружая торт с зеленым шпинатным покрытием, разделяя упрямый бисквит ножом – вдоль – промазывая его жидким сладким кремом. Тетрадь для заметок валялась на столе, заслуженная, потертая, в едва заметных пятнышках от фруктов и шоколада. Когда Рю «вспоминалось», она подходила к ней, открывала, царапала что-то вроде: «Написать родителям Гидона, что он не отреагировал на первые два замечания (пытался достать из сумки телефон, шуршал, болтал, колот соседей остро заточенным карандашом, рисовал на вырванном из тетради листе таблицы для игры в «Города и страны»). Когда она сделала третье замечание, мальчик оглядел ее, сузив голубые глаза, дернул углом рта и процедил: «Заткнись, корова. Не доставай меня, если не хочешь, чтобы я прыгал, орал и кидался стульями. Я могу, ты меня знаешь.» Сформулировать нужно так: «Разговаривал с учителем без должного уважения, грубил.»

Яфит (в одной руке водяной пистолет, в другой – палка) гонялась по всей территории школы за Шмуликом. Шмулик наверняка сам виноват, сказал гадость, но внушение стоит сделать обоим. Опять же – краткие СМС родителям: «Вели себя неподобающим образом, не реагировали на замечания учителей».

Шестой класс – практически весь! – завалил недельный диктант. Заставить переписать. Телефон требовательно заорал в гостиную. Рю бросилась к нему. Звонили рекламщики (Не хотите ли купить улучшенный супер-фильтр для очистки воды? Я не знаю, в какой вы сотовой компании, но наша все равно круче). Отделавшись от ненужного разговора, она зашла в «Рокемон го». Эканс доедал яйцо. Голубоватая субстанция кор-

чилась и угрожающе пищала на ультразвуке. Пиджи бестолково мельтешил перед носом у змеи, пытался клюнуть ее, трепетал слабыми крылышками. И все равно ей показалось, что голубоватое облачко ускользнуло, просочилось между ветвями, чтобы потом вернуться и отомстить. Но это, в любом случае, будет потом.

Через три дня в Лахишском лесу нашли охотника за покемонами с четкой странгуляционной бороздой на шее, полуживого. Он нес чушь про ночные пляски козлоногих сеиров и прозрачных лилит, про джиннов, возникающих в предрассветные часы. «Выходят из дыма, сами они дым, сгущаются, обретают черты пугающие, титанические» – (Он, вроде, так и сказал – «титанические») – «приближаются, окружают, сдавливают шею горячими гибкими пальцами». А главное: они появлялись около половины пятого утра, когда незадачливому путнику начинало казаться, что опасность миновала, ночные демоны отступили, и настал понятный день.

Она вошла в класс за две минуты до звонка, шлепнула об стол корзинкой для телефонов

– Кто не уверен в том, что способен удержать смарт в сумке и не тянуться за ним каждые пять минут, пусть лучше положит сюда.

Желающих не нашлось.

– Буду отбирать, – сказала Рю скучным голосом, – приготовились к уроку. Моше, если твой учебник опять почему-то в другом классе, сходи за ним сейчас. Яффа, если ты думаешь, что продолжишь читать эту книгу во время урока, ты сильно ошибаешься. Ицик, последний раз говорю, убери нарды под парту, а то сегодня же позвоню отцу.

Дети копошились, оговаривались, просились в туалет и «выплунуть жвачку» еще минут пять после звонка. Потом, наконец, утомонились и начали тоскливую песню: «Объясняешь ты мало, а спрашиваешь много». Рю давно научилась подобные замечания пропускать мимо ушей. В языке ведь просто: объясняешь, пока не убедишься, что до всех дошло, а потом тренируешь, тренируешь, тренируешь, пока оскомину не набьет.

Они делали четвертое упражнение на настоящее длительное, которое в детстве Рю еще называлось *present continuous*,

а потом как-то незаметно и прочно стало progressive, когда внезапно, тошнотворно и безнадежно завывала сирена. И сразу же затопало, загрохотало, загрюкало и заухало – выскочили из классов дети. Завхоз, спотыкаясь, понесся к убежищу с ключами в руках.

И снова:

– Ави, не беги. Гидон, не толкай маленьких. Авива, спрячь чипсы, потом откроешь. Шмулик, не фотографируй, ничего здесь интересного нет. Ярдена, сейчас как раз время лезть в сумку за зеркальцем и помадой.

– Сядьте, пожалуйста. – Сели, кому сказано. – Сядьте медленно. (на разные голоса).

Через десять минут директор стоял посреди двора в позе пугала, широко разведя руки и кричал:

– Успокойтесь! Это ошибка. Я не знаю, кто ее включил!

Кто включил, так и не выяснили, тем более, что набаловали не на территории школы, а во всем поселении.

Ученики говорили, будто в темных углах, у распределительных щитков, где на днях поймали покемона видла, шастают горбатые карлики с огромными руками и жуткими пылающими глазами. В конце дня директор объявил, что игра в покемонов на территории школы запрещена (а кого поймут за этим, отстранят от занятий на три дня).

В автобусе Рю надела наушники и поставила плейлист Бернеса, песен сорок подряд. Это ее уводило в те времена, когда страх был только реальным, зримым, осязаемым, воняющим, воющим – и не мог возникать из условной реальности мобильных игр.

Еще двоих покалеченных ловцов покемонов нашли в районе кратера Рамон. Одного из них спасти не удалось. Выживший рассказывал, что из змеинового яйца вылупился красный каменный идол, могучий и ядовитый, что любое прикосновение его смерть и даже на расстоянии он опасен.

В этот вечер Рю отыскала забавное словечко: дисания – трудность при пробуждении, тяжело открыть глаза и перейти из мира снов в реальность.

– Это у нас у всех дисания, – думала Рю, повторяя словечко, пробуя его на вкус. Оно было неприятным, холодновато-серым с рыбным привкусом.

Дисания – трудности при переходе из дополненной реальности в обычную.

Страхи у всех разные, логичные и парадоксальные, большие и малые, по Юнгу, и по Фрейдю, и по Лавкрафту.

Моше Барзи, например, проснулся в ночь со вторника на среду от настойчивого и громкого визга мобильного. Тот сообщал, что покемон снес яйцо банковского глиста. Глист должен был вылупиться через три часа, как раз к началу рабочего дня. Утром, ровно в девять, Моше прихлебывал черный кофе у себя в офисе, когда ему позвонил банковский служащий и нехорошим голосом сообщил об овердрафте и трех вернувшихся чеках. Моше пропотел и бросился проверять. Со счета волшебным образом исчезли двадцать семь тысяч шекелей. Когда несчастный господин Барзи и в самом деле проснулся, в холодном поту, счет был в порядке, но покемон действительно снес яйцо некого глиста.

Йоси Д. повезло еще меньше. Его покемон во сне разродился яйцом демона Нильской лихорадки. Наутро разнервничавшийся Йоси собрал сумку и проследовал в приемный покой Иерусалимской больницы Шарей Цедек.

– У меня начинается Нильская лихорадка, – твердо сказал он равнодушной регистраторше, – температура 37,3.

Тетушке Адине привиделось, что под ковриком у нее в прихожей – целая россыпь яиц блох и вшей, разносчиков страшных инфекций. Сначала она мела коврик. Потом орудовала пылесосом. Потом вынесла безнадежно испорченную вещь на помойку. Потом еще три часа кряду мыла всю квартиру с хлоркой. Потом чистила диваны. Потом снова мыла, на всякий случай. Потом отдирала бактерии от мебели. В половине двенадцатого пришлось вызвать психиатричку.

Рю ничего не снилось с той ночи, как привиделась Газовая дама. В смысле, ничего существенного. Все видения отражали повседневный опыт, почти не искажая его. Утро пахло кофе, рогаликами и сыром халуми, вечер – черным хлебом с солью, помидорами и твердыми кисловатыми яблоками, в выходные добавлялся аромат свежего зеленого чая, фруктового пирога и горького шоколада.

Как-то раз, вечером в четверг, телефон требовательно пискнул. Рекомендовал новейшее приложение “Чудовища”.

Они уже здесь! Не пропустите! Не подпускайте их близко!

Рю решила почему-то загрузить приложение, на пару дней всего, посмотреть, что они так настойчиво рекламируют.

– Старый горбатый карлик пробудился на улице Йони Нетаниягу, в полутора километрах от твоего жилища, – сообщило приложение:

– Пиковая Дама гуляет в окрестностях Хайфы.

– В Лахишском лесу замечен Шаб-Ниггурат.

– Покемоны исправно несут яйца чудовищ. Наше приложение расширяется и наполняется монстрами.

– В каньоне Азриэли из витрины вышла Кровавая Мэри.

– Под мостом Алленби шалит тролль.

– Старый горбатый карлик ищет добычу. Ему необходимо убивать двоих в день.

Из чата: “Ребята, снесите эту ерунду нафиг, вместе с покемонами, а то крышу снесет!”

– Старый горбатый карлик пробудился. Карлик выбирает направление. Карлик идет на Юго-Запад.

– Карлик в трех километрах от твоего дома.

– Карлик резко меняет направление.

– Он в двух километрах от твоего жилища. В полутора. В восьмиста метрах.

– Карлик принохивается.

– Карлик хватается бродячую кошку.

– Карлик ищет жертву. Всем лучше спрятаться! Закройте окна и двери. Сидите тихо, у карлика очень тонкий слух.

– Он прислушивается и принохивается.

– Ходит по твоей улице. Слышишь его шаги?

Рю показалось, будто снаружи и в самом деле кто-то топает и громко фыркает, будто тянет носом. Она отложила телефон, отключила звуковой сигнал и пошлепала босиком на кухню делать чай. Обычного, из пакетиков, не хотелось, нужно было заваривать ароматный зеленый, с жасмином. Где вот он только? (Топ-топ, фыр-фыр на улице. Явно нервы шалят). Она взобралась на табуретку, стала шерудить в верхних шкафчиках. Ко-рица, выдохшийся английский перец, ополовиненный пакет

хмели-сунели, сморщенный перчик чили, гвоздика, куркума, кардамон, лимонная кислота, шафран, сухие листья базилика... Да где же этот чертов чай?! Топот на улице вроде стал тише, начал удаляться в направлении лестницы, ведущей на верхние террасы, к коттеджам. Рю облегченно вздохнула, тут же сделала неловкое движение, задела пыльную старую чашку с вишенками, прибранную наверх за ненадобностью. Чашка покачнулась – и полетела на пол, весело дробно звеня. В гостиной злобно завибрировал телефон. Кто-то подошел к входной двери, приняхался, заскрипел, зазвенел чем-то, зашуршал.

Старый карлик подбирает отмычки к твоей двери! –

орала красным надпись на экране телефона.

Рю схватила аппарат, бегом, под звяканье отмычек, помчалась в туалет, бросила телефон в унитаз. Шорохи и звяканье замедлились с первым же жалобным плеском. Телефон еще вякнул беспомощно на вибро-режиме, – и замолк навеки.

Но призрачный карлик удалился не сразу, помедлил еще – дисания, что тут скажешь...

На другой день форумы пестрели скорбными сообщениями о нервных приступах, инсультах и инфарктах у тех, кто не догадался или не успел отрубить дополненную реальность. Психиатры настойчиво советовали записываться на прием в кабинеты анонимной помощи.

Телефон, новый, без игр и интернета, как стало модно в последнее время, молчал. Чайник пыхтел с усилием, перед тем, как ласково и тонко засвистеть. За окном подростки поставили систему караоке и завывали, умудряясь не попадать ни в одну ноту. Мир менялся, ежесекундно перетекая из реальности в реальность. В темных переулках топало, звякало и шуршало, но никто не обращал внимания.

Жанна Свет

А ЧТО ЕЩЕ ОСТАЁТСЯ?!

Вика и Вик с детства считали, что предназначены друг другу.

Они принадлежали одному кругу, имели образованных успешных родителей, да и сами получили неплохое образование, Вика даже докторат сделала, не знаю, честно говоря, по какой теме, да это и неважно.

У них был роман, однако жили они, хоть и на одном этаже, но каждый в своей квартире.

Хотя какие там квартиры! Дешевые студии, где душ и унитаз отделены от остального жилого пространства не слишком толстой перегородкой, так что все звуки (и запахи тоже) становились достоянием всех, кому выпала сомнительная удача оказаться по другую сторону этой хлипкой стеночки.

Я-то знаю – на правах их общей подруги я частенько бывала в этих каморках где вечно неубранные постели светили скомканным несвежим бельем, кухонная ниша представляла собой филиал городской свалки, а собака Вика и кошка Вики спали прямо на серых простынях или ели что-нибудь, добытое из невымытых тарелок и кастрюль.

Мы давние знакомые с Викой и Виком. Мы учились в одном классе, еще в школе дружили втроем, я считалась бесплатным приложением к красавице Вике, но все ошибались: я всегда сама по себе.

Они просто были мне интересны, вот и все. Тем более, что человек я закрытый, а они оба всегда так поглощены собой, так не интересуются никем и ничем, что с ними я могу чувствовать

себя в безопасности от посягательств на мои личную жизнь и внутренний мир.

Школу я, правда, окончила позже, чем они: мы с родителями попали в дорожную аварию, в результате которой я стала сиротой, а врачи запретили мне дальнейшую учебу. Не потому, что я стала дурочкой, просто длительное умственное напряжение вызывало у меня дикие головные боли, так что пришлось мне искать новое поприще: ведь до аварии я хотела учиться на математическом факультете, но кому-то эти мои планы помешали, и меня остановили самым радикальным образом.

В школе ко мне отнеслись более чем по-людски, поставили средние оценки по всем предметам, что меня полностью устраивало, но высшее образование помахало мне ручкой, и нужно было придумывать, как жить без родителей и вообще без близких людей: я осталась совершенно одна, родни не было никакой.

Пришлось задействовать все свои способности и возможности, в результате, уже через полтора года после окончания школы я начала сама зарабатывать себе на жизнь.

Я всегда неплохо рисовала, поэтому, поразмыслив, окончила курсы росписи фарфора и стала делать на продажу декоративные тарелочки для стен, кружки с памятными надписями и рисунками, а потом освоила еще и роспись по шелку – вот тут-то дела у меня и пошли.

Мои шарфики и зонты пользуются бешеным спросом, зарабатываю я очень неплохо, делаю сбережения, купила квартиру, снимаю мастерскую.

Квартира моя вылизана до блеска: горничная-таиландка очень боится, что я позвоню в иммиграционную службу (хотя я бы ни за что не поступила так, но она сама придумала себе этот страх и сама себя в нем держит – тут я бессильна), а потому старается всюю.

Я не афиширую свой достаток. Одетая я хорошо, но когда меня спрашивают, где я беру свою одежду, отвечаю, что покупаю все в конце сезона, когда бутики отдают старые коллекции за бесценок. Это неправда, но Вика и Вик настолько привыкли считать меня нищей дурочкой, что верят этой лжи безоговорочно.

Кстати, они даже не подозревают, что я живу в собственной квартире в хорошем районе, думают, я приезжаю к ним на автобусе из какой-нибудь трущобы, потому что я всегда остаю такси за углом, куда не выходят окна их студий.

Я не люблю находиться в их жилищах, поэтому всегда стараюсь вытащить обоих из дома, мотивируя тем, что дышу целый день красками, и мне необходим свежий воздух.

Они ленивы, ворчат, но выползают из своих берлог: ведь, в общем-то, люди они безвольные, но тщеславные, им доставляет удовольствие мысль, что они великодушны по отношению к убогой больной подруге.

Мне их мотивы не мешают, я не завишу от отношения окружающих, я сама себе голова, знаю себе цену, а болезнь... что ж, все же почти восемнадцать лет здоровья судьба мне подарила. Мало ли людей больны с рождения и понятия не имеют, как это – чувствовать себя здоровым и сильным.

Тем более, что я себя больной и не чувствую, нужно только не зачитываться и не смотреть больше двух фильмов подряд.

Вика и Вик зарабатывают немного, как-то им не везет с трудоустройством, не помогают ни дипломы, ни степени. Это идиотизм, что люди, потратившие на образование почти двадцать лет и немалые средства, не могут обеспечить себе достойную жизнь, что-то неправильно устроено в перераспределении денег, хотя свои-то я зарабатываю честно – пусть не кровью, но уж потом – точно.

Правда, их ждут неплохие наследства: родители у обоих не бедные, но не дают своим детям денег со времени учебы в колледже в воспитательных целях, чтобы те научились понимать цену деньгам и поняли, как нелегко они достаются.

Бесполезно! Деньги у их детей текут между пальцами. Хотя «текут» не слишком точный образ: поскольку денег этих не так много, то они, скорее, капают, но, видимо, прорехи, через которые они капают, слишком велики, потому что уже за неделю до зарплаты парочка оказывается на мели и питается макаронами с кетчупом и даже без масла.

Иногда я сообщаю им о выгодно сданном заказе, и мы ужинаем в китайском ресторане, но делаю я это нечасто, а как они развлекаются, когда меня нет рядом, мне не известно.

Вы можете подумать, что я холодная стерва, но это не так: я хорошо отношусь к Вике и Вику, просто жизнь заставляет меня проявлять осторожность. У них есть родители и куча родни; если они заболеют, им помогут, выйдут, а в старости они будут получать пенсию да еще и деньги родителей перейдут к ним.

Не моя вина, что они выросли беспечными и спокойными за свое будущее и что у них есть все основания оставаться такими.

Но и не моя обязанность тратить на них: мое будущее зависит только от меня, а я не хочу оказаться в нищем доме для престарелых.

Не думаю, что мне удастся выйти замуж и родить детей. Во-первых, у меня скромная внешность, мужчины не обращают на меня внимания. А во-вторых, врачи утверждают, что беременность и роды могут в один миг отправить меня на тот свет – и зачем же я буду туда стремиться, если меня оставили жить? Что-то ведь моя судьба имела в виду, раз я выжила? Не хочу я ее искушать, хочу жить, а потому должна думать о старости уже сейчас.

В конце концов, если материнский инстинкт начнет меня доводить, то я сумею его удовлетворить: слишком много на белом свете детей-сирот, и почему бы нам не объединить интересы с одним из них?

Конечно, если бы я не скрывала свой материальный достаток, и для меня нашелся бы мужчина, но вот именно этого я и не хочу. Не хочу покупать себе семью: ведь близость и доверие не купишь. Я не говорю о любви – это что-то, чего я вокруг себя не вижу, что-то из книг и кино. Но, поскольку у меня свое представление о сути литературы, то я не слишком ей верю.

Мне кажется, писатели в своих произведениях описывают мечты, видения, которые не могут сбыться, ибо являются фантастикой чистой воды, не имеющей никакого отношения к реальной жизни.

Я люблю читать. Но верить прочитанному – увольте! Настолько моей наивности не хватает

А большинство людей верят литературе и пытаются строить жизнь, какой она выглядит в книгах, почему и становятся не-

счастливыми, но веры в мифы не теряют, и это является загадкой для меня. Я не способна верить, мне необходимо знание, только знание может руководить моими поступками и чувствами.

Конечно, если какой-нибудь приятный мужчина заинтересуется мной – такой, какая я есть – и если он вызовет у меня ответный интерес, я его не оттолкну. Но пока этот гипотетический мужчина мне не встретился, а вот мои друзья Вика и Вик пришли к краху из-за своей безоговорочной веры в любовь до гроба.

Собственно, у них так и получилось – до гроба. И это не метафора.

В один из своих визитов к ним я заметила, что между моими друзьями, словно бы, черная кошка пробежала. Обычная их полуироническая, но вполне дружелюбная пикировка приобрела ясно видимый оттенок плохо скрываемой злобы. Видно было, как они стараются ударить друг друга побольнее, особенно злилась Вика. Вик, скорее, отвечал на ее выпады, чтобы не остаться в дураках, а когда Вика молчала, сохранял вид благодушный, полного довольства жизнью.

Я ломала голову над их странным поведением, но в тот день ничего не узнала и не поняла.

Решив, что они уже достаточно долго вместе, чтобы начать ссориться прилюдно, тем более, при мне, кого они знали с детства и не стеснялись, я выбросила их ссору из головы, но через две недели, придя к ним опять, увидела, что поторопилась: накал страстей достиг своего апогея, и они только что посудой друг в друга не швыряли.

Ни о какой прогулке, разумеется, речи не могло идти, и я сказала, что, пожалуй, пойду домой, раз они не в духе, но больше никогда не приду к ним, если они не прекратят скандалы, тем более, что я вообще не понимаю, с чего они скандалить принялись – жили ведь душа в душу и не один год...

Они примолкли и с каким-то удивлением смотрели на меня: мой решительный тон удивил их, я ведь раньше так никогда не разговаривала.

Их взгляды меня не остановили, я надела пальто и ушла.

На улице меня догнала Вика и пошла рядом. В мои планы вовсе не входило вести ее к себе домой, и я предложила ей пойти посидеть в кафе, сказала, что у меня хватит денег на чай с пирожными.

Мы так и сделали, причем она еще и бутылку вина заказала, но, зная, что мне пить нельзя, не стала мне его предлагать. Она попивала, мне это было известно, но кто я такая, чтобы воспитывать взрослую женщину, тем более, что лично мне это совершенно не было нужно.

Минут десять мы сидели молча. Я ела свое пирожное, пила чай, Вика выдула уже два бокала вина, видимо, поэтому у нее развязался язык, и она заговорила:

– Вик хочет уйти от меня, – сказала она мрачно. Я даже поперхнулась.

– Не может быть! Вы столько лет вместе!

– Вот потому и может. Надоела я ему, понимаешь? С четырнадцати лет со мной, знает меня, как облупленную, а вокруг девочки ходят, новенькие, в целлофане, незнакомые – интересно ведь.

– Он тебе сказал?

– Зачем? Я его тоже, как облупленного знаю, любое его движение понимаю еще до того, как он сам понял, зачем сделал его. Хочет. Я тебе точно говорю.

– И давно ты это поняла?

– С месяц уже. Он ведь работу поменял – знаешь? – я знала. – Ну, а там на него дочь босса глаз кинула, вот он и скапутился. Она лет на девять младше меня, папа богатый, дом трехэтажный, джип у нее свой...

– Ну, перестань! Это ты уже на него клеветешь! Он и сам не бедный, и папа у него тоже в большом порядке.

– Если бы клеветала! Он с таким упоением мне все это поначалу описывал – ты бы слыхала! А потом примолк вдруг. Но не надолго. Открыл рот опять – стал ругаться, что грязно, что пол невымытый, посуды полная раковина, что не готовлю, что пицца и макароны уже поперек горла стоят, что денег вечно нет. А я виновата, что он заработать не умеет?! И я ему нанималась полы мыть? У меня докторская степень, я ее специально получила – его дерьмо за ним вывозить!

– А почему вы давно не съехались? Дешевле было бы за одну квартиру платить, могли бы домработницу нанять.

– Так он не хотел. И хорошо, что не съехались – представляешь, если бы мы сейчас в одной квартире жили? Кроме того, мы всегда могли раз в неделю-две уборщицу приглашать, не так это дорого, но, опять же, он был против. Чужой человек в доме, роется в его вещах, знает интимные подробности... Плюс – предначертание женщины, мое то есть.

– Что еще за предначертание женщины?

– Женщина должна быть хозяйкой в доме, создавать уют и тепло. Хранительница домашнего очага – слыхала такую чушь?

– Хм, Вик так говорил?

– Угу. Последний месяц – ежедневно. И тут же рассказывал, сколько у его босса прислуги и как его мадам ведет дом, отдавая приказания.

– А почему ей можно самой полы не мыть?

– А это ты у него спроси – он совсем офонарел, крыша рядом. Я знаю, он хочет со мной расплестись и жениться на той соплячке, там родители, вроде бы, не против. Они своей дочуре что угодно готовы купить, лишь бы она довольна была.

– Слушай, а может быть, это и к лучшему? Тебе-то самой он не надоел за столько лет?

– До визга.

– Так в чем дело? Разойдитесь – и все.

– Не все, далеко не все.

– Почему? Что вам делить? Квартира у тебя отдельная, ты работаешь, от него не зависишь. Пусть катится, куда хочет.

Она только посмотрела на меня и опять проговорила:

– Все не так просто, совсем не просто, – я смотрела на нее и не могла понять, жаль мне ее или Вика. А может быть, мне обоих не было жалко, а было лишь скучно и хотелось домой.

– Я беременна, – вдруг сказала она, – пятнадцать недель, аборт делать поздно.

– Ух! – только и сумела произнести я.

– Вик не знает пока. Я и сама только вчера узнала – никаких признаков не было, представь себе. Врач сказал, что так бывает, иногда женщины понимают, что беременны, когда ребенок уже шевелиться начинает.

– Так а с чего ты к врачу пошла?

– Каждые полгода хожу. За здоровьем следить нужно. А он мне и преподнес пиллюлю

– Скажи Вику.

– Ага! Он решит, что я его нарочно подловила, не понимаешь, что ли!

– Ух, – опять произнесла я. А что еще я могла сказать? Сидела, смотрела на Вику и думала, как я права, когда не верю ни в какую любовь и роковые страсти. Хотя страсти, и впрямь, выглядели роковыми.

– Ладно, – сказала Вика, – выговорилась хотя бы. Ты ему не проболтайся, хорошо? Пусть будет, что будет. Захочет уйти – держать не стану, устала я от всех этих дел, мне покой нужен.

– А с ребенком что решила?

– Еще не решила, еще думаю.

С тем мы и расстались.

Но через неделю мне на сотовый позвонил Вик и попросил прийти. Ужасно мне не хотелось идти к ним, однако статус друга обязывает, а я стараюсь вести себя правильно, чтобы потом саму себя не жрать. И я пошла.

Лучше бы не ходила.

Вик был у себя – сидел, бледный и пьяный (впервые в жизни я его видела пьяным), в старом ободранном кресле и некоторое время смотрел на меня совершенно бессмысленным взглядом.

– А, это ты, – наконец произнес он, – пришла.

– Пришла. Чего звал? Где Вика? – ответила я сухо.

– Звал... чего звал... нужно значит, вот и звал... – забормотал он, глядя на меня сухими и какими-то белыми глазами. Почему-то в них стоял ужас.

– Вик, – встревожилась я, – ты здоров? Что с тобой? И почему ты напился?

– Ты знала? – он меня совсем не слушал.

– Что знала?

– Ты знала?!

– Да что я должна была знать?

– Ты знала, ты не могла не знать, она тогда за тобой ушла и вернулась пьяная, она с тобой была?

– По-твоему, если кто-то пьян, то потому, что провел время со мной? – ледяным тоном осведомилась я.

– Что ж она одна пила?!

– Я не пью, и ты это прекрасно знаешь.

– Да, ты не пьешь, не пьешь, я знаю. А ты знала?

– О, боже, снова здорово! Что я знала?

– Про ребенка.

– Про какого? – я решила держаться до конца. Не желала я впутываться в их дела.

– Про нашего!

– У вас нет ребенка, ты что, допилась до галлюцинаций?

– Нет, – покорно согласился он, – но должен был появиться.

– В каком смысле?

– В том, что эта гадина была беременна! Она была беременна, понимаешь, от меня была беременна!

– Почему «была»?

– Потому что эта дрянь, не спросив меня, сделала аборт! Вот какое право она имела делать аборт без моего согласия?!

– Слушай, но вы так ругались в последнее время, может быть, она думала, что ты хочешь ее бросить?

– Это она тебе сказала? – вдруг совершенно трезво спросил он.

– Нет, это просто догадка. Ведь вы черт знает что друг другу говорили, я вас такими никогда не видела раньше.

– Ругались, да. Потому что сколько можно так жить – нам под тридцать, а мы все, как студенты. Я хотел изменить что-нибудь.

– И потому рассказывал ей о своей новой пассии?

– Это она тебе сказала? Какая пассия – ребенок, девочка. Отец ее ко мне хорошо отнесся, пару раз пришлось к нему домой с бумагами съездить – он ногу вывихнул, ходить не мог. Я этой дурище своей и рассказал, как люди живут, а она в ревность ударилась.

– Значит, так рассказал.

– Как мог, так и рассказал. Мы больше десяти лет вместе, неужели я за это время не заслужил доверия? – он трезвел на глазах, в голосе его послышалась искренняя обида.

– А она решила, что за эти же десять лет надоела тебе.

– Вот дура, а! Ну, дурища, ну что она наделала, гадина,

тварь!

– Перестань ругаться. Помиритесь и еще одного сделаете. Или не одного.

– Не сделаем, – глухо ответил он.

– Почему? Что за пессимизм?

– Потому что я ее убил.

Он произнес это так просто, так обыденно, что до меня не сразу дошло, что именно он сказал. Я вытаращилась на него, а он усмехнулся и промолвил:

– Что зенки вылупила? Не веришь? Убил. Случайно, правда, но убил. Да кто поверит, что случайно, – перебил он сам себя, – свидетелей не было. Убил и все.

– Кккаккк убббил? – я вдруг начала заикаться. – Кккоггддда?

– Да вот перед тем, как тебе позвонил. Убил, понял, что убил, и позвонил тебе.

– Зачем?

– Вот то-то – зачем! Затем, что не знаю, что с трупом делать.

– Ты что, совсем обалдел?! Я, по-твоему, знаю?!

– Слушай, я уже давно понял тебя. Я давно знаю, что ты вовсе не та дурочка, какой прикидываешься, что у тебя деловая хватка и самообладание – будь здоров. И только ты можешь мне помочь, больше мне не к кому идти.

– В полицию тебе нужно идти!

– Не хочу в полицию. Сидеть не хочу. Я ее случайно убил, за что мне сидеть? Она довела меня, я был в аффекте.

– Вот и скажи так в полиции.

– И кто же мне поверит? Говорю тебе, – одни мы были. Даже кошки дома не было – шлялась где-то.

– Не понимаю, как это можно случайно убить человека?

– Можно. Оказывается, можно.

– Как?

– Сейчас подожди, – он потер лоб, – сейчас, вспомню. Все, как в тумане. Я пришел к ней – она лежит, белая и зареванная. Ну, спросил, в чем дело. Она не говорит. Смотрю – на простыне кровь. Я испугался, хотел «Скорую» вызвать – не позволила. «Я, – говорит, – аборт сделала, врач права не имел, подведу его». Я так в осадок и выпал. «Какой еще аборт, – спрашиваю»,

– ну, тут она мне все и выдала. Мне бы плюнуть и вызвать все же амбуланс, потом бы разобрались, но у меня, знаешь, в мозгах что-то щелкнуло как будто. Я ее трясти стал и орать, что она дура, потом все потемнело, а потом смотрю – она лежит и не дышит, и все в крови, и я тоже. Ну, убежал к себе, душ принял, одежду в стиралку закинул и позвонил тебе.

– А когда ж ты напиться успел?

– Пока ты ехала.

– Так она там так и лежит? У себя?

– Так и лежит.

– Ну, ты идиот! С чего ты взял, что убил? Может быть, она сознание потеряла, а ты убежал, и она теперь кровью истекла!

– Может быть, – понуро ответил он, – я так испугался...

– Вызови амбуланс сейчас. Никто не докажет, что ты у нее уже побывал. Сколько времени прошло? Часа два?

– Три или чуть больше. Я не могу, я боюсь.

– Тогда вот что... давай, вали из дома куда-нибудь.

– Куда же я пойду?

– У тебя абонемент в тренажерный зал есть?

– Ну, есть.

– Вот туда и иди. Ты в какой ходишь – в торговом центре?

– Да.

– Отлично. Там всегда такая толпа, что никто не сможет точно сказать, когда ты пришел. А я вызову «скорую». Скажу, пришла к подруге и застала ее в таком состоянии.

– Слушай, ты настоящий друг... мне так стыдно, что я все эти годы тебя идиоткой считал...

– Ладно, будет шанс – сквитаемся, убирайся отсюда, быстро!

И он ушел, а я отправилась к Вике.

Все было, как рассказал Вик. Вика, конечно, уже умерла, сделать ничего было нельзя.

Я вызвала амбуланс, причем, мне даже не пришлось притворяться, что я напугана и расстроена, потому что я была по-настоящему напугана и расстроена, вот что удивительно.

Медики приехали очень быстро и так же быстро увезли Вику, сказав, что результаты вскрытия будут известны завтра, а я осталась, чтобы обдумать, как мне быть дальше.

В квартире стоял тошнотворный запах, я открыла окно, и тут же в комнату с улицы запрыгнула кошка – видимо, она ходила гулять.

Не найдя хозяйки, кошка полезла ко мне, чтобы я ее погладила, и я подумала еще, что как же она теперь останется одна... и собака Вика тоже... видимо, придется мне на время забрать их к себе, а потом пристроить в приют, может быть, кто-нибудь захочет их взять.

Я равнодушна к животным, но мне не нравится, что они вечно попадают в неприятные ситуации из-за своей зависимости от людей.

И люди тоже вечно попадают в неприятные ситуации по той же причине, но люди все же могут быть хозяевами своей жизни, а бедные животные нет, поэтому мне их жалко.

Правда, Вику мне тоже жалко, хоть она, отчасти, сама виновата в том, что с ней случилось. Нельзя так зависеть от мужчины, нельзя верить книжным мифам, нельзя так себя не ценить.

Но собаку Вика мне было жальче, ведь ей теперь придется жить не дома, а в приюте, потому что я сейчас выйду на улицу и сделаю анонимный звонок в полицию. Я не стану дословно передавать рассказ Вика, просто скажу, что случайно увидела, как в окне по такому-то адресу мужчина тряс женщину, и хочу сообщить об этом, как и полагается законопослушной гражданке.

Полиция обязательно сопоставит мои слова со смертью Вики, и Вику вряд ли удастся избежать ее внимания.

Не то, чтобы я хотела его наказать, просто, если он останется на свободе, то не перестанет донимать меня своей персонею, а это мне абсолютно ни к чему.

Не хочу я взваливать на себя заботы о чужом и ненужном мужике, мне о себе заботиться нужно.

Мне просто ничего другого не остается, чтобы защитить свою жизнь от его вторжения.

Единственный выход.

Другого нет.

* Во всем тексте романа устами автора говорят его герои, и высказываемое ими уничижительное отношение друг к другу является лишь отражением свойственных средневековым людям представлений и предрассудков, не имеющих ничего общего с мировоззрением автора, уважающего все верования и народности.

Мария Шенбрунн-Амор

МИР С ЕГИПТОМ

(глава из романа «БРИНС АРНАТ»)*

На белоснежном скауне, покрытом драгоценным персидским ковром, сгорбившись, потев и пребывая в отвратительном расположении духа, в начале августа 1167 от Рождества Христова его величество король Иерусалима Амальрик I въезжал в распахнутые ворота первого сдавшегося ему египетского города – легендарной Александрии, крупнейшего порта Леванта, через который в Средиземноморье текли неисчислимы богатства Индии.

За четыре года царствия помазанник третий раз являлся в библейскую Землю Гошен и каждый раз совершал все, что было в человеческих силах, дабы не позволить полководцу Нуреддина Асаду Сиракону-Ширкуху завладеть халифатом, который становился тем благожелательнее к франкам, чем больше нуждался в их защите. В отличие от бешеных суннитов, фатимидские шииты откладывали джихад против неверных до пришествия сокрытого до конца света имама, а до той поры надеялись использовать латинян к собственной выгоде: нынешний правитель страны Нила – визирь Шавар – уже несколько лет опирался исключительно на рыцарские мечи. Чтобы уберечь дружественную власть, Амальрик осаждал непокорные Шавару города, охранял покорные и ограждал Вавилон от полчищ Сиракона. Король выжидал удобного случая завоевать Египет, однако каждый раз отвлекали события в Сирии. Три года назад он был на грани полной победы, но Нуреддин спутал его планы, захватив в плен князя Антиохии с графом Трипо-

лийским и осадив Антиохию. Амальрику тогда пришлось безотложно договариваться со Львом Веры об одновременном выходе из Египта и мчаться на помощь северному флангу Латинского Востока.

Этой зимой стало известно, что неумный Сиракон снова направляется в Египет. По всему королевству немедленно объявили арьербан, и все, кто по каким-либо причинам не мог участвовать в походе, уплатили десятину, даже церковные владения. Конечно, те, кому пришлось раскошелиться, тут же заклеямили монарха алчным сребролюбцем. Но Амальрика постоянно обвиняли в скупости и скарденности люди, которым своя мошна оказывалась дороже Святой Земли.

Собрав ополчение, латиняне двинулись в Египет короткой Виа Марис, чтобы опередить сельджуков, пока те спешили по пустыне за Сodomским морем, с помощью бедуинов определяя путь днем по солнцу, по рельефам гор, по хребтам дюн, а ночью – по Северной звезде. Асаду Сиракону, сдается, сам Сатана помогал: он все же обогнал Амальрика, встал лагерем у подножья фараоновых пирамид в Гизе и попытался склонить визиря Шавара на свою сторону, уговорить его предать христианских союзников. Но визирь отказался, ибо только поддержка франков могла избавить его от всякого рода мрачных предчувствий и сокрушить его врагов, из которых сам Горный Лев Асад был первым, а Нуреддин – вторым. Так что Шавар, напротив, пообещал королю четыреста тысяч слитков золота, лишь бы тот не покидал Землю Плодородного Полумесяца, пока в ней остается нечестивый Ширкух-Сиракон. Но Амальрик, сознавая, с кем имеет дело, поставил условием, чтобы его с Шаваром соглашение подтвердил лично сам халиф.

Гуго, сеньор Кесарии, и говоривший по-арабски казначей храмовников Жоффруа Фуше – египтяне настояли на присутствии одного из тамплиеров, ибо знали, что их слово нерушимо, – были допущены в святая святых Фатимидов – во дворец халифа, куда доселе не ступала нога латинянина. Послы узрели невероятную роскошь, дивных зверей, неведомых птиц, сады и фонтаны, которым не имелось равных даже в Константинополе. Халиф аль-Адид оказался высоким юношей с пробивающейся бородкой, вавилоняне простирались перед

ним ниц, и сам Шавар целовал его туфлю, но прямой и доблестный Гуго этим не смутился, потребовал, чтобы халиф скрепил договор рукопожатием. После некоторого замешательства и объяснений евнухов аль-Адид сообразил, что без защиты франков не доживет до следующего намаза и уступил: наместник Магомета снял перчатку и вложил мягкую, холеную ладань в заскорузлую ладань честного рыцаря, хоть и сделал это без видимой радости.

От посланников короля не ускользнуло, что Каирский Вавилон несметно богат и беззаступен, как отара без собаки, виноградник без ограды и рай без апостола Петра.

Сначала армии Амальрика и Сиракона долго стояли друг против друга на противоположных берегах Нила, затем маневрировали по Египту, потом снова заняли выжидательные позиции. Амальрик любил действовать наверняка и медлил начинать бой.

Копыта рыцарских коней вязли в здешних песках, и египетские союзники франков были вояками слабыми и ничтожными: суданцы, берберы и армяне – все эти рабы или наемники более мешали, нежели приносили пользу. А несметная армия Сиракона состояла из турков, курдов и мамлюков, чуть не с пеленок упражнявшихся в стрельбе из луков в человеческий рост и с младенчества не покидавших седла. Благоразумный и осторожный монарх мешкал до тех пор, пока во сне не явился ему святой Бернард и не осудил строго, сказав, что такой защитник Гроба Господня недостоин кусочка Животворящего Креста на своей груди.

Уже на следующий день Амальрик вышел на поле брани и необъяснимым образом потерял множество людей и весь обоз. Не иначе, как кто-то из его воинов вступил в бой не с чистым сердцем, не покаявшись в смертном грехе. Не могли же без причины пострадать столь многие: погиб отважный Евстафий, понес тяжкое ранение епископ Вифлеемский Радульф, а Арнульф из Турбесселя и Гуго Кесарейский – те и вовсе угодили в руки вавилонян! Эх, дорого обошлось христианину пожатие руки халифа. По счастью, Тот, Кто наказывает и исцеляет, Кто поражает и дает жизнь, Тот и теперь не пожелал, чтобы Его наследие уничтожилось вконец, подобно Со-

дому и Гоморре – Амальрик все же сохранил большую часть армии.

Однако Сиракон захватил Александрию. Оставил одного из молодых эмиров, своего племянника Юсуфа ибн Айюба, защищать ее, а сам помчался разорять прочий Египет. Франки осадили порт. За три месяца блокады жители изнемогли от голода, и Сиракон согласился сдать Александрию при условии, что обе армии – сельджукская и франкская – вновь покинут Египет, а город вернется Фатимидам.

Ополчение Амальрика к этому времени тоже дошло до полного изнурения. Притом, едва королевская армия двинулась в земли южного соседа, Нуреддин по своему злокозненному обычаю напал на сирийские рубежи Утремера. На сей раз захватил Акаф, сравнял с землей Шатонёф, защищавший дорогу между Дамаском и Тиром, и покусился на земли Триполи, чей владелец уже три года томился у него в заточении. Ненасытный Зангид грыз северные владения латинян, как мышь головку сыра. Самой тяжелой потерей в последние годы стал Белинас-Баниас – важнейшая твердыня, оборонявшая территории Иерусалима от Дамаска, святое место, где апостол Петр получил ключи от Царства Небесного. Вдобавок перешла в нечестивые руки и возведенная Амальриком неподалеку крепость Нимрода. Теперь границу сторожил один Бофор. Взвесив положение, король благоразумно согласился на условия Сиракона.

Поэтому сразу вслед за Амальриком под оглушающий грохот дьявольских барабанов, трезвон бубнов и пронзительный писк зурн, под сенью зеленых знамен Фатимидов и в сопровождении собственных никудышных воителей, в ворота Александрии подбоченившись въезжал будущий хозяин города, единственный, кто извлек пользу из усилий, мук и жертв франков – визирь Шавар. Из предосторожности в этот жаркий августовский полдень бравый вояка был одет в стеганую казаганду, в которой под шелком пряталась кольчуга, и даже из-под чалмы на горло трусливого визиря спускалась кольчужная сетка.

И вконец портила Амальрику триумфальный въезд последняя досадная мелочь: несмотря на годы походной жизни венценосец стал так тучен, что живот свисал с седла, и приходилось постоянно менять устающих под ним коней.

Город Александра Магнуса заполнили любопытствующие победители. Братались с недавними врагами, сводили счета, шатались напоследок по прямым, ведущим к морю, улицам, изучали укрепления, которые только что осаждали, заглядывали в мечети и в церкви коптов, любовались колоннадами, садами, мраморными зданиями, а более всего восторгались высоченным путеводным маяком, изумлявшим еще древний мир. На гигантской башне Фароса гордо, хоть и ненадолго, реял Иерусалимский штандарт.

Вечером в королевскую ставку прибыл племянник Сиракона Юсуф ибн Айюб, возглавлявший оборону Александрии. Молодой эмир ничем не напоминал дядю – низенького и жирного курда с бельмом на глазу, над внешностью которого потешались даже его собственные солдаты. Племянник был невысоким, хрупким, с аккуратно подстриженной бородкой на ввалившихся от осадного голода щеках. Глаза у эмира были живые, умные и без бельма. Юсуф поклонился и почтительно, но как к равному обратился к монарху-победителю:

– Доблестный и справедливый аль-Малик Морри ибн Фулк, я много слышан о чести франджей. Я слышал, вы даже настояли, чтобы сам лжехалиф шиитов аль-Адид совершил немыслимое – обнаженной рукой скрепил договор с вами. Разве вы не поклялись, что жителям и нашим сторонникам не будет причинено никакого зла? А в эту минуту приспешники Шавара режут, грабят, насилуют и обращают людей в рабство. Они убивают не только жителей аль-Искандарии, но и ваше слово, и вашу честь, благородный аль-Малик.

Ну, не одни люди Шавара сводили счета со сторонниками Сиракона. Настрадавшиеся во время осады горожане тоже спешили отомстить захватчикам-суннитам. Но нельзя было подать Льву Асаду повод остаться в Египте, поэтому его величество тут же послал к визирю гонца с требованием прекратить безобразия и даже предложил Юсуфу предоставить его раненым и больным лодки, которые доведут их до Акры. Молодой магометанин учтиво и с благодарностью принял предложение и попросил допустить к ним местных лекарей – сирийца Сулеймана ибн Дауда и яхуди Мусу бин Маймуна. Тем временем слуги

внесли скромный полевой обед. Король указал на стол:

– Эмир, окажите мне честь, будьте моим гостем. У меня египетский повар.

Айюбид невольно бросил голодный взгляд на дымящееся блюдо баранины, но принялся отнекиваться. Этих басурман всегда приходится уговаривать. Наконец согласился, учтиво поблагодарил, попросил только, чтобы накормили и его оставшегося снаружи евнуха-раба Каракуша. За столом молодой человек тоже умел себя вести: ополоснул руки, пробормотал свои негодные молитвы, терпеливо, опустив глаза, дождался, чтобы хозяин закончил свои, и только после понуканий и увещаний взял с блюда небольшой кусочек мяса, хоть руки его и тряслись от голода. Амальрик, который сам чрезвычайно любил поесть, не выдержал, стал подкладывать гостю наиболее жирные и вкусные куски. Юсуф слабо отказывался:

– Облака вашей щедрости и снисходительности щедро поят мою нужду, благородный аль-Малик Морри.

Настроение завоевателя Александрии исправлялось с каждым проглоченным куском и с каждой похвалой гостя.

– Вам нелегко пришлось во время осады, а? – спросил он с искренним участием.

– Нелегко, – просто согласился эмир, – но я бы скорее умер от голода вместе со всеми остальными жителями, чем сдал бы вам город без приказа исфахсаллара Ширкуха, хоть мне и было очень жалко жителей.

Король с любопытством разглядывал недавнего противника:

– Мы зовем вашего дядю Сираконом. Он необычайно умелый и отважный военачальник, и я заметил, что он пользуется безграничной преданностью всего своего войска. Даже мы, франки, отдаем должное Горному Льву. Поистине, мне жаль, что мы вынуждены враждовать. Если бы все мусульмане были такими, как ваш дядя и вы, Юсуф, мы бы давным-давно договорились.

Юсуф вскинул на короля меланхоличные глаза цвета угля:

– Ваше величество, вы замечательный человек, благородный и достойный, вы незаслуженно добры ко мне и милосердны к пленным и раненым, и я испытываю к вам благодарность, уважение и приязнь, но... – Он подождал, пока драгоман перевел

и продолжил: – Но мы никогда не сможем договориться, потому что мы правоверны и покорны Аллаху, а вы, какими бы достоинствами вы не обладали, у вас нет главного – вам не открылся свет истины, высокородный и достойный аль-Малик Морри. И вы забрали у правоверных то, что дорого нам, как сын отцу, как возлюбленная страстно влюбленному, как дорога человеку зеница его ока – Аль-Кудс. Поэтому мы будем усердствовать на пути Аллаха, покуда любой ценой не заберем у вас нашу святыню обратно и не изгоним всех франджей из Дар аль-Ислама, земель Ислама. – Улыбнулся мягкой улыбкой: – Впрочем, местные христиане смогут продолжать жить под нашей властью, как жили всегда.

Прямота и спокойная убежденность сарацина подкупали, хоть король не понимал, как мог искренний и разумный человек упорствовать в столь чудовищных заблуждениях и питать столь необоснованные надежды.

– Мусульмане, даже сунниты, даже ваш повелитель Нуреддин, прекрасно заключали с нами мирные договоры!

– Мусульмане договариваются с кафирами либо для того, чтобы спасти себя, либо чтобы выиграть время, набраться сил и тогда напасть на вас.

– Вот поэтому мы и считаем вас коварными!

Юсуф улыбнулся и лицо его вновь из печального преобразилось в открытое и доброе:

– Обещаю, что всегда буду договариваться только на условленный срок и постараюсь никогда не нарушать заключенного соглашения. – Подумал и прибавил: – А если придется нарушить – предупрежу.

Виночерпий наполнил кубки. Эмир от вина не отказался, однако лишь омочил в нем губы. Он был умен, этот племянник Льва, а рассудительностью напоминал королю его самого. Амальрик ответил столь же откровенно:

– А я обещаю вам, что вы никогда не сможете захватить город страстей Иисусовых, и ради этого я сделаю все, что в моих силах. Но это не мешает мне тоже испытывать к вам искреннюю симпатию, эмир. Оставайтесь моим гостем до вашего отбытия в Сирию, в Александрии для вас теперь небезопасно. Мы постараемся быть учтивыми и внимательными хозяевами.

Ваш недавний пленник Арнульф из Турбесселя послужит вам личным телохранителем, чтобы никто не вздумал оскорбить или задеть вас.

– С удовольствием останусь, уважаемый аль-Малик, ибо испытываю полное доверие к вам, и кроме того, от моей смерти вам не проистекло бы ни малейшей пользы.

Амальрик закатился таким смехом, что заколыхалась даже грудь:

– Даю вам слово христианского рыцаря, что пока вы мой гость, я не сделаю вам ничего дурного.

Да какой был бы толк в гибели молодого и неопытного Сираконова племянника? Но редкий случай расположить к франкам родича и пособника своего противника король упускать не собирался. К тому же новый знакомый и впрямь вызывал невольную приязнь. Поэтому, когда эмир признался, что голод заставил жителей Александрии съесть всех лошадей, его величество тут же преподнес эмиру в дар выносливого и послушного дестриэ. Про Амальрика болтали, что он прижимист, и он сам первым признавался, что корыстолюбив, но корысть – она разная бывает, за иную и драгоценного коня не жалко. У Юсуфа на глаза навернулись слезы, он явно расстроился, что у него не оказалось ответного равноценного дара:

– О, аль-Малик Морри, мне пришлось помогать голодающим, и у меня не осталось средств даже на закят, обязательную милостыню, – пробормотал он смущенно. – Все, что я могу предложить, это мои клюшки для поло. Это очень хорошие клюшки. Я ведь в Сурии был постоянным партнером султана Нур ад-Дина в этой игре.

– Мой друг, если вы будете столь добры, преподнесите мне такой дар, который не может сделать никто другой: уговорите Нуреддина проявить милосердие к нашим северным принцам, которых он держит в Алеппо: смягчить условия их заключения. – Эмир превозносил Амальрика, и ему было приятно в ответ продолжать поражать гостя заботой о ближних.

– Обещаю вам это, – улыбка вновь преобразила серьезное лицо Юсуфа. – Я много всякого слышал о ваших обычаях, но впервые наглядно убедился, что франджи могут быть щедрыми, благородными и милосердными, великий государь.

Король покраснел от приятного смущения. С каждой минутой гость нравился ему все больше:

– Не сомневаюсь, что вам пришлось выслушать полно наветов на нас! По вашему мнению, мы высокомерны, глупы, грязны и невежественны! А между тем в западном мире процветают науки, искусство и ремесла, мы ценим свободу, мы не поклоняемся правителям как божествам и не ввергаем подданных в рабство. Истинный рыцарь беззаветно предан сюзерену, защищает вассалов и благороден с врагами. Он должен быть учтивым, сдержанным, сострадательным и щедрым. – И наставительно подчеркнул: – Помните, друг мой, нет лучшего средства завоевать сердца, чем безграничная щедрость принца.

Недальновидные люди, упрекающие Амальрика в стяжательстве, не понимали, что монарху необходимо иметь средства, из которых он потом может осыпать своими милостями! Но басурманский эмир согласился:

– Да, Пророк сказал: «Когда щедрый оступается, Аллах берет его за руку!»

– Ммм... Аллах за руку? Ну это, наверное, только тех, на ком креста нет, – Помазанник потрогал висящую на груди реликвию и, успокоившись, продолжал: – Христианский рыцарь обязан помогать обездоленным и защищать бессильных, и если мы уступаем вам в чем-то, – Амальрик подставил кубок кравчему и подмигнул гостю, – так только в количестве жен, но зачем иметь много сварливых жен, когда можно иметь сколько угодно ласковых возлюбленных?

Довольный, гордый собой и всеми прочими латинянами король лихо опрокинул кубок, пока драгоман переводил.

– Хвала Аллаху, облагодетельствовавшему нас Исламом, он заповедовал каждому мусульманину все то, что у вас предписано только рыцарям! – лукаво заметил гость.

– Э, неееет! – Амальрик покачал пальцем, чуть заикаясь от приятного волнения. – Рыцарь должен обладать не только совершенно незапятнанной честью, но и иметь ясное понимание. У него должно быть два сердца: одно крепче алмаза, а другое мягче воска, и превыше всего он должен всегда стремиться совершать поступки, которые принесут ему славу,

и ценой жизни избегать поступков, способных опозорить его.

Эмир уточнил:

– Значит, вы никогда бы не нарушили свое слово?

– Никогда! – король решительно икнул.

– Даже слово, данное мусульманину? – теперь Юсуф смотрел серьезно, словно поймал гяура в ловушку.

Его величество снисходительно усмехнулся, прощая неведение язычника, пояснил:

– Если рыцарь дал слово свободно, по собственной воле, то, разумеется, он должен его держать! Без нас мир погрузился бы в хаос. Есть, конечно, святые обязанности христианского рыцаря защищать Церковь, Веру и Господа, которые мусульманам недоступны, но даже вы, сарацины, не отказываете нам в умении сражаться. Вон я с пятьюстами рыцарями и пятью тысячами латников захватил Александрию с пятьюдесятью тысячами жителей. А что, по-вашему, делает нас столь доблестными воинами?

Юсуф ждал ответа, приподняв брови, и монарх торжествующе грохнул кулаком по столу:

– Да то, что костяк нашей армии состоит из рыцарей, и только рыцарям дано сочетать в бою ярость во имя Господа со строжайшей дисциплиной. Ну и Животворящий Крест, конечно. Как африканские слоны оживляются для боя при виде крови, так и рыцари, вассалы Христовы, воодушевляются, видя Животворящий Крест и вспоминая о Страстях Господних. Мы никогда не знали поражения, если шли в бой под этой святой реликвией.

Король откинулся на стуле, любясь впечатлением от своих слов. Гость миролюбиво заметил:

– Нам никогда не понять, как две сбитые крест-накрест доски смогли бы сделать вас такими же многочисленными, как последователи Пророка, и осушить море, отделяющее вас от ваших собратьев в странах Дар аль-Харба, но я запомню ваше предупреждение насчет Креста.

Амальрик отмахнулся:

– Пока существует вечная Ромейская империя, вам с нами не справиться! Но вы, мой друг, вы тоже обладаете немалой долей рыцарских достоинств: вы мужественно сопротивлялись

нашей осаде, вы учтивы с врагом, вы умеете сдерживать свои порывы, вы пришли ко мне просить о других! – Подумал, и великодушно добавил: – Будь вы христианином, вы могли бы вернуться в достойнейшего рыцаря!

Королю уже казалось, что если он докажет преимущества рыцарства, то грядущая победа латинян станет очевидной этому обходительному и приятному родичу Сиракона, а тем самым и неприятному Сиракону, а вслед за ним и ненавистному Нуреддину:

– Если вас интересуют наши обычаи, то мой коннетабль, прославленный Онфруа де Торон, с удовольствием расскажет вам все об обязанностях и требованиях чести.

Конечно, христианнейший монарх не сомневался, что молодой, незнатный курд жаждал узнать как можно больше о рыцарях, потому что даже в глазах врагов воины Запада являлись необыкновенными, чуть ли не мифическими существами. Недаром сам император Ромейской империи увлекся их несравненными обычаями и пытался подражать им!

– Аль-Малик Морри ибн Фулк, я тронут и принимаю ваше предложение с таким же чистым сердцем, как вы его сделали. И я постараюсь всегда, когда смогу это исполнить, не подвергая опасности священный джихад, действовать по отношению к вашим людям так, как требует того честь.

Амальрик откинулся от стола, распустил передавивший брюхо пояс. Он был доволен. Пусть этот Юсуф всего-навсего один из множества эмиров в армии Сиракона, он все же племянник Горного Льва, и, впитав правильные понятия, молодой львенок невольно расположится к латинянам. Так у защитников дела Господня окажется доброжелатель в стане врага.

Юсуф гостил в королевской ставке до отбытия сельджукской армии из Египта и за эти несколько дней со многими баронами свел приятельство, с некоторыми из них обменялся дарами и на всех произвел наилучшее впечатление. Прощаясь со своим хозяином, признался:

– Аль-Малик Морри, до сих пор я был лишен всякого честолюбия и никогда не жаждал большего, чем быть простым и верным исполнителем повелений моего господина. Сказать правду, даже в походе на Миср меня принудил участвовать мой

дядя. Я не искал ни подвигов, ни завоеваний. Но ваши слова о том, что рыцарь должен стремиться к славе, запали мне в сердце. Отныне я намереваюсь добиваться героических свершений, и для врагов мое сердце будет тверже алмаза. Но я постараюсь смягчить его ради достойных милосердия.

Доблестный Онфруа II де Торон так расчувствовался, что, расставаясь, преподнес гостю отличный меч. Собственноручно опоясал эмира и наполовину в шутку, а наполовину всерьез воскликнул: «Вставайте, шевалье Саладин!», назвав Юсуфа по его почетному прозвищу.

Сиракон с его полчищами и племянником покинул Египет, а Амальрик привел свое войско к Каиру, где должен был получить от Шавара первые сто тысяч слитков золота и оставить в городе небольшой гарнизон, его командующим Амальрик назначил Гуго д'Ибелина, нынешнего супруга Агнес де Куртене.

Когда латиняне увидели, что Каир беззащитнее распеленатого младенца в колыбели, они возликовали. *Deus vult!* – этого хочет Бог. А хочет Он, – и как Ему такого не хотеть? – чтобы отныне несокрушимый Утремер простирался от Ливанских гор до Йемена и Нубии.

– Сир, эта земля в наших руках, – потер руки образцовый рыцарь, коннетабль Онфруа де Торон.

Но король всегда был благоразумным и осторожным, он видел не только возможности, но и их последствия, он всегда по семь раз отмеривал, просчитывал все за и против и действовал, только убедившись, что бездействие окажется губельно. Обмануть Шавара с Сираконом и завладеть Каиром легко, но как удержать его?

– Мы пожали руки с халифом, я дал слово, – отмел искус его величество.

Однако бароны не уступали. Каждому было ясно, что когда ворота крепости распахнуты, следует въезжать в них, а разобратся, нужна тебе эта крепость или нет, легче изнутри:

– Шавар – нечестивец, а халиф – вообще сын дьявола, – сыпали они неопровержимыми доводами, – договор с ним ничего не стоит. Другой возможности завладеть Египтом может не случиться, а от этого зависит судьба Латинского королевства! Если

мы не захватим Вавилон, то Сиракон уже весной непременно вернется, и нам придется заново воевать с ним.

Амальрик любил диспутировать и поэтому возразил своим верным соратникам вдумчиво и терпеливо:

– А если захватим, Сиракон вернется немедленно, и придется защищать Каир, а мы не можем себе позволить длительную кампанию на берегах Нила, в то время как Нуреддин угрожает Триполи.

Филипп де Милли, сеньор Наблуса, в сердцах бросил перчатку оземь:

– Мы уже понесли на севере огромные потери, и сам граф Триполийский в сарацинском плену. Все эти жертвы будут оправданы, только если мы захватим страну фараона!

Онфруа де Торон мрачно добавил:

– Ради этого Египта я пожертвовал своим Балинасом, а теперь мы уйдем с пустыми руками?

Король покраснел от невыносимой жары и досады, напомнил:

– Ммммессеры, мы выполнили то, что намечали – предотвратили падение Египта в руки Нуреддина, у власти дружественный нам Шавар, – кто-то пробормотал «дрянь редкостная», но король сделал вид, что не расслышал этой, в общем-то, верной оценки своего союзника, и продолжил: – Вавилоняне во всем нам ппппокорны и будут выплачивать каждый год огромную дань. Неужто мы хотим рисковать всем достигнутым?

Бароны хотели рисковать и не сдавались. Отойти от Каира им было труднее, чем азартному игроку покинуть карточный стол в разгар везения. Они наперебой убеждали помазанника не упустить редчайший случай. Каждый из них ставил на кон жизнь и свободу ради этого Египта, и вот он – лежит перед ними, беззащитный, как птенчик в гнезде, как муха в паутине, как одновневный жеребенок. Этот колосс на глиняных ногах слаб, как старая куртизанка. Отказаться и уйти было бы даже не грехом, а хуже – невиданной глупостью! Гуго д'Ибелин воскликнул:

– Ну не для того же мы собрали всеобщее ополчение, наложили на все королевство десятину и полгода месим тут пески, чтобы теперь все подарить нечестивой собаке Шавару?

– Я готов отрубить себе руку, которая касалась руки ха-

лифа! – верный Гуго Кесарейский потряс негодной рукой, ввергнувшей франков в нарушение Божьей воли.

Бароны с жаром поддержали Гуго, все они тоже были готовы отрубить ему руку, лишь бы овладеть страной, в которой золота имелось больше, чем песка. Их суверену было больно поступать противно советам и желаниям вассалов, но он видел дальше их слепой жадности и потому не мог пойти на неоправданный риск, обводил взглядом, протягивал руки, убеждал:

– Мессире, как только я сочтаться браком с какой-либо из родственниц василевса, и мы заручимся помощью ромеев...

– Василевс тянет переговоры с вашим сватовством уже два года и не станет нам ни в чем помогать, пока вы полностью не пожертвуете суверенитетом Антиохии, – указал Жоффрей Фушо с прямою тамплиера.

Магистр ордена госпитальеров Жильбер д'Эссайи, влезший в изрядные долги в надежде возместить расходы египетскими трофеями, хлопнул в досаде перчаткой по бедру:

– Моих пятьсот рыцарей и пятьсот туркополов хватит, чтобы завоевать всю Нильскую пустыню! В наших руках окажутся несметные богатства страны фараонов и морские пути с Индией и Африкой, и пусть потом хананеи попробуют их забрать! Много они смогли Святую Землю отнять? Вот тогда Мануил родную дочь пришлет вам на самом быстроходном дромоне!

Но Амальрик колебался. Он был дальновидным правителем, обладавшим острым, подозрительным умом, любившим действовать наверняка и потому старавшимся избегать опасных безумий, которые его недалеким приближенным казались удачными возможностями и геройскими подвигами. Напомнил в отчаянии:

– Захватим сейчас Каир, будем вынуждены воевать с Нуредином на юге и на севере одновременно.

– Ваше величество, от Мануила нам придется ждать помощи дольше, чем вина от еще не посаженной лозы! – убеждал своего суверена Гуго д'Ибелин, которому предстояло гнить в гарнизоне паршивого Каира, пока в столице у Агнес не будет отбоя от желающих развеять ее одиночество.

– И когда нам вновь удастся объявить арьербан и снова взыскать десятину?! Следует брать посланное небесами. Лучше

жалеть о сделанном, чем о несделанном, – сокрушался Гуго Кесарийский, который видел роскошь халифского дворца и потому знал, что Амальрик собирается отойти от распахнутых райских ворот.

– Правы тамплиеры, что отказываются участвовать в египетских кампаниях. Только ослабили Заморье, потеряли незаменимых людей, север забросили, а чего ради? – безнадежно вторил Магистр госпитальеров Жильбер д'Эссайи. – Что значат эти жалкие сто тысяч динаров в сравнении с исполнением Божьей воли, когда ясно, что из Египта можно выжать во сто крат больше?!

Свиту растолкал патриарх Иерусалима Несль, с кряхтением опустил перед венценосцем сначала на одно колено, а потом, морщась и опираясь обеими руками о посох, согнул и второе, склонил митру до земли:

– Сын мой, Иисус дал вам Египет и уповаet на вас одного. Испуитель рода человеческого и Пресвятая Дева льют в небе слезы и молят, чтобы вы не бросали Землю Гошен, в которую Они когда-то бежали, ибо без нее погибнет, не устоит и Гроб Святой. Разве не завещал Иосиф эту страну своим братьям? Разве не обещал Господь семени Давида всю землю от Евфрата до реки Нила? На вас Божественной благодатью возложено выполнение долга примерного христианина.

Король закусил губу: Господь обещал, а спрашивают с него, с Амальрика! И именно Несль унизил монарха, потребовав от него развестись с Агнес де Куртене в качестве условия восшествия на престол. Вот и теперь он пытается заставить государя танцевать под свою дудку! На лицах приближенных читалось одно: решишь, Амальрик, решишь! Но монарх – не искатель приключений, которому нечего терять, не шальной ловец Фортуны, он облечен огромной ответственностью за Латинское королевство, он связан соглашениями и договорами, и на сей раз им придется послушаться своего суверена, никто не заставит помазанника действовать вопреки его собственному разумению. Амальрик склонился к святому отцу, пытаясь поднять его, оба потели и пыхтели, но пастырь упирался, выворачивался из королевских объятий, оседал грузным телом:

– Сын мой, клянусь Крестом Животворящим, на себя возьму

весь грех нарушения договора! Сам отмолю его! Немедленно пошлем посланников к Римскому Понтифику, Святой Отец разрешит вас от обета! Вы губите Землю Христа, сын мой! Опомнитесь!

Амальрик уступил – оставил упрямого клирика валяться в пыли. Но уступить и совершить безумство – захватить Каир – он не намеревался. Его армию, а с ней и весь Утремер, может погубить одна-единственная оплошность. У Нуреддина не считано сельджукских собак, он может одновременно атаковать Антиохию, Триполи, Иерусалим и франкскую армию в Египте, а у защитников Гроба Господня всего полторы тысячи рыцарей, его войско не может надолго застрять в нильских песках. Амальрик непременно завоюет фатимидский Вавилон, недаром ведь Господь обещал! Но только заранее все обдумав, запланировав и заручившись помощью греков или сицилийцев, не опрометчивым насकोком. Не говоря уже о том, что король Иерусалима должен совершать славные и почетные деяния, а не те, за которые придется у папы индульгенцию вымалывать.

И была еще одна причина, почти невесомая, ничего не решающая, нелепая настолько, что король в ней даже самому себе не решался признаться: нестерпимо было представить, что молодой эмир, перед которым он похвалялся достоинствами и честью своих людей и который так восхищался «аль-Маликом Морри», сменил бы уважение на презрение.

Франки оставили небольшой гарнизон для защиты благоденствующего в гареме Шавара и покинули бессильный халифат.

Поистине, горе тем, чей правитель ценит собственную честь выше, нежели пользу государственную.

* Будь моим (англ.)

Елена Джеро

БУДЬ МОИМ

– И-э-а-о-у...

Звуки казались цветными шариками, сплетающимися в бусы. Они обматывались вокруг шеи, с каждым оборотом сдавливая все сильнее.

– И-э-а-о-у...

Удавка превратились в бумажную ленту с непонятными значками. Они проявлялись один за другим, словно военная шифровка, и вдруг обернулись кардиограммой. Зубцы всплывали и обрушивались вниз, увеличивая амплитуду.

– И-э-а-о-у.

И оборвались безмолвным штилем.

– Пять минут до эфира, – скомандовал усиленный динамиками голос откуда-то сверху. Движение пушистой кисточки по щеке прекратилось. Гример пожелал удачи и исчез прежде, чем Алекс открыла глаза.

Свет. Белый. Холодный. Слишком много, словно не в теле-студии, а в операционной. Или в морге. Патологоанатом-ведущий сложил губы трубочкой, растянул, высунул язык.

– И-э-а-о-у.

Почему он смотрит на нее, делая все это? Словно ее нет.

Ниоткуда появилась ассистентка, положила на стол серебристую коробочку с логотипом «Be mine[®]», придуманным самой Алекс. Два треугольника – стилизованные буквы «В» и «М», но, по мнению Майка, они символизируют равенство. «Ты сделала то, что не смог ни один политик!» – эту фразу

Алекс слышала от него каждый раз, когда пыталась отказаться от интервью. Она ведь не глава корпорации, а всего лишь квантовый физик. Лабораторная мышь. «Вот поэтому все и хотят тебя!» – парировал босс. Все – это пользователи. Покупатели. То есть, боги.

– Пожалуйста, мэ.м.

Ведущий с безразличным лицом протягивал раскрытую коробку. Два черных кольца на бархатном ложе почему-то напомнили нарисованные глаза. Алекс сняла одно с подставки и медленно надела на палец. Кольцо со щелчком сжалось, подстроившись под ее размер.

– Десять секунд до эфира, – сообщил голос свыше.

Как раз. Ведущий надел свое и усталился в мигающий огонек камеры.

– Семь. Шесть. Пять.

Студия теперь казалась мастерской художника. Сосредоточенный и отрешенный, маэстро готовился положить первый мазок на чистое полотно. Волосы, падающие на лоб, добавляли его профилю что-то мальчишеское. Он резко повернулся к ней, и прядка с малым опозданием прыгнула на чуть прищуренные глаза. Художник улыбнулся, слегка прикусив губу, кивнул и повернулся к камере ровно на счет «один».

– Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Как это было?» и я, ее ведущий Ричард Уайт.

Какое красивое имя, Ричард!

– Сегодня у нас в гостях человек, который без преувеличения перевернул мир. Точнее, перевернула! Встречайте – лауреат Нобелевской премии дама-командор Королевского Викторианского ордена изобретатель трансформера мисс Алекс Росс!

Раздались аплодисменты, хотя зрителей в студии не было. По своим предыдущим выступлениям Алекс знала, что запись хлопков включают, чтобы гости вовремя делали паузы и оживляли кадр. Улыбнувшись, она показала несуществующей публике руку с кольцом:

– Здравствуйте.

Тембр чуть глубже, согласные мягче – для него. Ричард смотрел на нее блестящими глазами. С гордостью, с обожанием, с

интересом. Подарил ей полувздых-полунамок и снова вернулся к камере.

– Еще пять лет назад невозможно было и помыслить об управлении любовью. Признаемся, мы вообще не знали, что это такое. Физиологи говорили про дофамин и серотонин, химики – про двафенилэтиламин, психологи – про нервное расстройство. Но никто из них понятия не имел, что именно является триггером к выработке гормонов, отчего вдруг сдают нервы, и главное – почему невозможно запустить эти процессы по собственному желанию? Было невозможно. Пока аспирантка Хьюстонского университета не взялась за дело. Алекс, как вам в голову пришла идея трансформера?

Он опять смотрел на нее, инстинктивно покручивая кольцо. Волнуется.

– Вообще-то сначала такой идеи не было. Я просто изучала волны мозга, и наткнулась на новое излучение, индивидуальное для каждого человека. Сообразила, как его измерить, а уж потом попробовала устроить резонанс.

– Любовь – это резонанс, друзья! – воскликнул Ричард. – Раньше его устраивал наш мозг, когда хотел, с кем хотел и насколько хотел. Многие из нас могут подтвердить, что это происходило в самых неподходящих ситуациях, с неподходящими людьми и на совершенно неподходящие сроки. Вы еще помните муки неразделенной любви? Я вот помню. Знаю, трудно поверить...

Он сделал страдающее лицо, и сразу же грохнули аплодисменты. Прекрасный актер. Но Алекс все равно хотелось сделать какой-нибудь утешающий жест, погладить по спине или хотя бы взять за руку.

– ... думали, Алекс?

Ну вот, она пропустила вопрос. Надо сосредоточиться.

– Ценю вашу скромность, мисс Росс, но наши зрители, – Ричард махнул в пустоту рукой, – желают знать, о чем вы думали, конструируя первый трансформер? Вы хотели сделать миллионы людей счастливыми?

Если бы! Она хотела научного руководителя. А он ее – нет.

– Да.

– И вы это сделали!

На мониторе сбоку включился ролик, который Алекс знала наизусть: женщина в кругу подруг режет торт с кремовой цифрой «40», очкарик подпирает стенку на дискотеке, беременная девушка ждет перед телефоном, и самый нелепый эпизод, как муж возвращается из командировки...

Ричард подлил воды в ее стакан.

– Если вы не против, Алекс, я спрошу о самом ярком личном опыте с трансформером.

Перед глазами тут же возник этот опыт, пыхтящий на атласных простынях. Он не хотел расставаться со статуэткой «Оскара» всю ночь. Ей это казалось забавным. Какой ужас!

– Тогда мне придется соврать вам, Ричард.

Он понимающе улыбнулся, качнул вихром.

– О родителях можно?

– Окей.

Реклама заканчивалась – очкарик говорил невесте «Будь моей». Ричард блестящим взглядом оглядел темную студию.

– *We mine*. Два волшебных слова. Но действительно ли они означают вечную любовь, или это всего лишь временная влюбленность?

Алекс посмотрела «зрителям в глаза», краешки губ дернулись, пауза длилась ровно столько, чтобы зритель успел засомневаться. Один из трюков Майка.

– Любовь будет вечной, если зарядить аккумулятор.

Ричард захохотал одновременно с овацией. Его смех был приятным – недолгий и искренний. Или нет?

– А если все-таки не заряжать аккумулятор? Любовь пройдет?

Алекс развела руками.

– Аккумулятора хватает надолго, так что не сразу. Но может, как и обычная любовь. Ведь даже после измены чувства не иссякают в тот же миг. И чем больше времени трансформер индуцирует любовь, тем дольше будет идти обратный процесс. Поэтому если вы надеваете новый трансформер на пару часов

** Аманиты или амиши – протестантское религиозное движение. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства.

в кабинете зубного или даже на несколько дней, если это необходимо по работе, ваша любовь к супругу не угаснет! К другим людям вы будете чувствовать лишь легкую симпатию.

Она опять предъявила публике кольцо, на этот раз маэстро приставил и свою руку, нарочито играя бровями. Алекс мысленно похвалила себя – эту тему Майк велел непременно поднять из-за недавней статьи в «Таймс». Слишком многие были еще обеспокоены вопросами морали.

– Но индуцированная любовь... – задумчиво произнес Ричард, буравя взглядом зрительские души, – настоящая она или не очень? Есть мнение, что искусственное изменение сознания – это наркотик. Что скажете, мисс Росс?

– В таком случае придется назвать наркотиком и другие вещи, изменяющие сознание. Разве книги не рождают в нашем воображении новый мир, в котором мы живем до последней страницы? Картины, которые переносят нас в другие реальности, музыка, открывающая простор мечтам! А фильмы? Один фильм способен поменять жизненный маршрут миллионов людей!

Хлопки заглушили ответ ведущего. Он улыбался, кивал и показывал рукой на гостью, после чего аплодисменты усиливались. Наконец, тишина снова позволила говорить.

– Трансформер – это как самолет после телеги, – продолжила Алекс. Надо было закрепить мысль яркой картинкой. – Он ведь настоящий, хотя еще несколько веков назад его сочли бы богом. Или дьяволом. Но самое главное, это необратимо: после самолета нельзя вернуться назад, если, конечно, ты не аманит**.

На этот раз Ричард не дал овациям шанса. Выпрямившись, он поднял вверх указательный палец и перешел в наступление:

– Однако плюсов без минусов не бывает, не так ли, мисс Росс? Вот вы привели в пример самолет. Верно, в пункт назначения попадешь очень быстро, однако пропустишь все, что мог бы пережить, выбрав путешествие по земле. Не попробуешь фирменное блюдо в придорожном кафе, не заночуешь в лесу, не потеряешь кошелек, не обретешь друзей, ничего этого не будет. Процесса не будет. Только результат. А можно ли высоко ценить то, что далось слишком просто?

Он сделал трагическую паузу и посмотрел на нее, красуясь. Хорошо, до чего же хорошо! Подготовил ей прекрасный трамплин перед главным аргументом.

– Вы правы, – кивнула Алекс и повернулась к камере. Брови озабоченным домиком, в глазах суровость и жалость, пополам. – Но что насчет тех, кто не доедет? Тех, кто потратит двадцать лет на дорогу и поймет, что это неправильное направление? Тех, кто заблудится и потеряет веру... Может, им лучше сесть на самолет?

Она развела руками и разрешила сжатым губам дрогнуть только после рукоплесканий:

– У всех есть выбор.

Безупречное туше. Майк будет доволен!

Маэстро взял ее руку, чтобы были видны оба их кольца.

– У нас есть выбор! У американцев. А еще у жителей Канады и большей части западной Европы. Однако недавно стало известно, что и восток потихоньку сдается компании «Be mine». Верно, Алекс?

– Мы начали поставки в Польшу и Чехословакию, и, будем надеяться, переговоры с Россией тоже пройдут удачно. Как раз сегодня я лечу в Москву.

– О! Желаем удачи, – Ричард скрестил пальцы, предлагая зрителям сделать то же самое. – На родине. Вы ведь родились в России?

– Да. Мои родители эмигрировали, когда мне было три года. Я знаю только «водка», «новый год» и «я ни гавару паруски».

Они немного посмеялись. Конечно, это была неправда – язык она понимала, и даже могла сносно объясниться, но шутка про водку всегда работала.

– Говорят, это уже не та Россия, о которой вам рассказывали родители.

Алекс пожал плечами. Пока были живы, ее родители не то что говорить, даже слушать о родине не желали. «Эта ненормальная страна, – утверждали они, – которая никогда не изменится».

– Рад сообщить, что водку пьют уже не все, и медведи по Красной площади больше не гуляют. Как вы считаете, улучшатся ли отношения между нашими странами благодаря «Be mine»?

– Я оптимистична. Судя по нашему опыту, трансформер действует и на политиков.

– Да, но русские не такие как наши!

Они хохотнули в унисон. Интервью получалось живое, легкое. Как приключение. Как игра.

Бабочки в животе порхали до аэропорта. Потом сдохли. Низкие тучи, казалось, стремились теснее прижаться к земле. Алекс почти вбежала в спасительный терминал, горящий разноцветными огнями, и сразу направилась в зал отдыха.

Поужинать не получилось: заказала пасту с морепродуктами, однако съела три креветки и отодвинула тарелку. Еда была безвкусной, резиновой – иногда после трансформации такое случается, но проходит через пару часов. На телеэкране шло утреннее интервью, уже со зрителями. Записанные непонятно когда, они хлопали, улыбались и хмурились идеально в тему. Алекс заметила, что несколько соседей по залу смотрят прямо на нее.

«И не скрыться никуда, – подумалось грустно, – и никогда». Майк говорит, что нелюбовь к публичности у нее из-за синдрома самозванца, который атакует всех гениев – они, мол, уверены, что созданное ими недостаточно хорошо.

Но он ошибается. Алекс в величии трансформера не сомневалась.

Она всегда выбирала скорость, технологии и комфорт: двенадцать часов до Москвы в личном купе, с кроватью и большим телевизором. Между кино и сном Алекс собиралась почитать московские журналы, чтоб расшевелить в памяти одеревеневший русский язык. Стюардесса выбрала светские сплетни, самую неинтересную тему. Хотя какая, собственно, разница? Глаза заскользили по странице.

«Жена знаменитого актера ушла к любовнику», «Звездный брак подошел к концу», «Невеста разорвала помолвку из-за брачного контракта». Ничего, скоро «Be mine» изменит и ваши заголовки.

*** Турбулентность. Он страдает аэрофобией. (англ.)

– И-у, и-у, а-а-а, мама-а-а! – вдруг послышалось неподалеку.
– Блин. И-у, а-а, мама-а-а!

Алекс выглянула за перегородку. Пассажир из соседнего купе, расставив в стороны руки, стоял перед стюардессой и старательно тряся. Та смотрела на него с приятной улыбкой, за которой читались нехорошие мысли.

– Turbulence. He suffers from aerophobia^{***}, – перевела Алекс отчаянную пантомиму. – Ви бояться летать, да?

Человеческий самолет опустил крылья и хлопнул себя по лбу.

– Турбулентность, точно!

Перегнулся через перегородку между их кресло-кроватями первого класса, протянул руку:

– Александр. Алекс.

– Очень приятно.

Алекс вложила в его ладонь свою. Повисла пауза. Русский сиял как ребенок, встретивший Деда Мороза, и руку не отпустил.

– Мисс Росс, – подсказала стюардесса, – что вам будет угодно?

– Шампанского, пожалуйста.

– А мне водки! Водка, плиз! – откликнулся русский и поцеловал руку. – Очень приятно, мисс Росс.

– Александра. Алекс, – разрешила американка, изучая соседа. Медведь с детскими глазами и «Роллексом» на запястье, в вороте рубашки – здоровый крест. Звать ее «Алекс» наотрез отказался, ему больше нравилось «Саша».

– Турбулентность, Сашенька, раз на раз не приходится, – рассказывал он, выпив стопку залпом и заказав еще, – капитан вчера объяснил.

– Вчера?

– Да я на одну ночь прилетел только, – русский махнул рукой. – Проспорил. Я самолеты не очень. Короче, никогда не летал. Посмотрел, который рейс с кроватью, ну, чтобы спать. Получилось, Хьюстон.

– Ви сумасшедший? – уточнила Алекс.

Медведь пожал плечами.

– Я честный. Раз проиграл – надо лететь.

Она смотрела на его серьезное лицо и изо всех сил пыталась не расхохотаться.

– И как вам понравилась Америка?

– Не понравилась, – сразу признался великан и даже нос сморщил. – С фасада все красиво вроде, но как-то не по-настоящему. Люди улыбаются, а на самом деле наплевать им на тебя! А если кто не улыбается, жди беды. Вон, меня даже обокрасть пытались! Только не вышло.

Он предъявил красные костяшки пальцев со сбитой кожей.

Увлекательный зверь. И к тому же носитель языка. Гораздо лучше, чем светские сплетни. Она покопалась в сумке и вынула коробочку с двумя треугольниками – свой личный комплект.

– Будь моим!

Медведь устался на золотые кольца, лежащие на бархатной подставке, потом медленно поднял глаза на Алекс. Прошла целая вечность, прежде чем он моргнул, почесал макушку и сказал серьезно: «Хорошо».

Через минуту неуклюжий попутчик превратился в самого желанного мужчину на свете. Но вместо того, чтоб продолжить беседу, он завалился в ее купе и начал целовать.

Алекс не сопротивлялась. Она последовала за ним ввысь, вдаль, в вечность. Они проваливались в бесконечную темноту космоса и выныривали к сверкающим звездам. Они бродили в туманностях и играли с метеоритами до тех пор, пока Млечный Путь не привел их в незнакомую галактику, новую, неисследованную, в которой не было ничего, кроме них – двух путешественников, держащихся за руки.

– Говорит капитан. Просьба вернуться на свои места и пристегнуть ремни безопасности. Посадка через тридцать минут.

Их пальцы были сплетены до самой земли. Саша думала, что получит трансформер обратно после посадки, но Алекс не снял кольца, даже когда они все так же, не разрывая рук, миновали таможенный контроль и вышли в огромный мраморно-стеклянный зал.

– Приветствую, Сан Ваньч, – подскочил лысый тип и перенял у Алекса тележку с чемоданами. Саше кивнул и спросил, куда подвезти.

– Домой, – ответил за нее Алекс, и Саша уверенно прошлагала мимо господина, держащего в руках табличку с ее именем. Сегодня ведь пятница. Впереди два выходных.

– Сегодня ведь пятница, Майк! – говорила она в телефон из темно-оконого джипа. Указатель с надписью «Владимир» пролетел мимо и скрылся в ночи. – Впереди два выходных. В понедельник приеду сразу в офис.

– Мне нужен отпуск, – сообщила она генеральному в понедельник с утра. – Нет, причину объяснить не могу.

Майк все равно не поверил бы. Потому что трудно поверить в то, что существуют люди, которые не слышали про трансформинг. Еще сложнее – в то, что они заключают помолвку с первого взгляда. И уж совсем невозможно представить себе, что, поняв эти две вещи, лауреат Нобелевской премии дама-командор Королевского Викторианского ордена изобретатель трансформера мисс Росс не уехала немедленно из странного города Владимира.

Она честно решила рассказать правду. Только вот правильный день для признания все не наступал. Может, оттого, что все остальные дни были правильными: лесные дни, с шепотом молодых берез; речные дни, с хватающими весла лилиями; базарные дни, с запахом яблок и кваса, и банные, с заунывной песней про мороз. Но она знала, что однажды придет и последний, с билетом в Хьюстон. День, когда до Владимира доберутся трансформеры «Be mine». Сколько еще ждать? Месяц? Два? Три?

«12 недель» – высветился на тесте приблизительный срок. Саша смотрела то на две полоски, то на два треугольника на кольце, то в старинное зеркало. Голая женщина в позолоченной раме – раскрашенное лицо, застывший фонтан волос. А позади раскинуло по кровати рукава белое с жемчужными вставками платье.

Саша присела рядом, погладила вышитые узоры, медленно, осторожно взяла на руки, словно боясь, что нитки разойдутся в любой момент. Когда глаза вернулись к зеркалу, голая женщина уже превратилась в невесту. Она дотронулась до Шашиной руки, зажмурилась сильно-сильно и вышла из рамы.

– И-э-а-о-у, – бубенцы кареты казались цветными шариками, сплетающимися в бусы. Они обматывались вокруг шеи, с каждым оборотом сдавливая все сильнее. Стены домов превратились в ленту с непонятными значками. Они проявлялись один за другим, словно военная шифровка, и вдруг обернулись кардиограммой. Зубцы берез всплывали и обрушивались вниз, увеличивая амплитуду.

Пока не оборвались в безмолвном притворе. В церковных сумерках торжественно плыл священник со свечами в руках. Таков здешний обряд: сперва обручение, затем венчание, а потом будет уже слишком поздно.

Саша медленно сняла трансформер с пальца.

– Алекс, эти кольца, – голос в натянутой тишине гремел как крик, – не настоящие.

Пусть выгоняет. Из церкви, из сердца, из страны. Лучше так – пока не связаны. Ничем и никем. Так – честно.

– Помолвочные! – встрепенулся Алекс, стащил свое кольцо и сунул в карман пиджака.

Возврат из волшебного мира занял всего мгновение. Трансформация пока действовала, но любовь уже не была бессмертной. Она сделалась обычной, как пять, как сто, как тысячу лет назад.

Вокруг растекался терпкий дым благовоний, темный храм отступал перед свечами, молитвы превращались в заклинания. Смогут ли они помочь?

– Имаши ли произволение благое и непринужденное, и твердую мысль, пояти себе в мужа сего Александра егоже пред тобою zde видиши? – включился в ушах певучий голос священника.

Имеет ли она твердую мысль взять себе мужа, зная, что счастье может закончиться? Что оно скорее всего закончится? Оборвется, сгорит, утечет, оставив воспоминания и боль. Так происходит почти со всеми, кто любит обычной любовью. Почти всегда. Почти...

Но почти – это ведь не значит точно! Ведь существует вероятность, что у них все будет по-другому? Теоретически ведь такое возможно?

– Да.

Татьяна Рашевски

СЛЕПОЙ БАНДУРИСТ

Крымская баллада

И кому пришла в голову бредовая идея добираться на электричках? Дни в августе в нашей степи еще теплые, порой даже жаркие, трава на лугах выжжена и вытоптана, как рваная цинковка, но ночи стали по-осеннему холодными, пахнут мокрым сеном, на скользкие скамейки вместе с тусклым светом оседает роса. От полотна к перрону поднимаются пары с привкусом лыжных ботинок – запахом дальней дороги.

Первую пересадку сделали в Валуйках, следующая – Макеевка. Куда нас везут, мы с Ольгой пока еще плохо себе представляем. Все решают мужчины. Их с нами четверо, но это ровно ничего не значит. И не только потому, что девушек сперва оказалось пять, с нами – семь, плюс по пути, в Осколе, внезапно прикнули еще какие-то три Наташки из области, кажется, Орловской – словом, нашего полку продолжало прибывать, покуда не насчитало одиннадцать дам. Но, повторюсь, дело не в этом. А в том, что из этих четырех было решительно не на кого положить глаз. Мы с Ольгой, перебрав всех по пальцам, поняли это еще до начала похода.

Ольга была совсем молода, и ей срочно нужно было замуж. Поэтому, когда холостой сосед этажом ниже, рыжебородый богатырь Игорь, пригласил ее тоже, мол, присоединяться, поначалу восприняла это как сигнал. Однако, присмотревшись, поняла, что этого слишком взрослого и слишком серьезного для нее человека как женщина она не интересуется, и тотчас же сама перестала им интересоваться. Для меня подобные габариты, признаться, тоже были где-то за гранью амурного восприятия.

Вторым по весу – как телесному, так и в смысле организации поездки, шел другой бородач, Фима. Этот на женщин вообще не реагировал. Хотя на него реагировали многие. Набивались в лучшие подружки к младшей сестре. Некоторые считали его женоненавистником, а, может, и того хуже. Правда, ходили слухи, что он довольно долго бегал за Лизой – мальчишеского типа, из хорошей татарской семьи, когда та была еще школьницей, и что чем решительнее Лиза ему отказывала, тем более упорно и неистово Фима ее добивался. Говорили, что именно из-за нее он тогда на год бросил университет и уехал пожить к родственникам в Тамбов. Я же давно поставила на Фиме жирный крест, и, можно сказать, теперь он мне стал даже немножко неприятен. Ни общих тем, ни общих интересов. Обрюзг, зарос бородой. Словом, это был уже совсем не тот человек, который когда-то на университетской турбазе позвал меня поиграть в бадминтон. А к старым чувствам я никогда не возвращаюсь. Тем лучше. К тому же, Лиза тоже сегодня здесь, среди нас – вот и пускай им.

Оставались – близкий Фимин друг Лешка, ехавший не сам по себе, а в одной палатке со Светой, подругой Лизы, и вечно одинокий, тоненький, некрасивый Тема, которому, как и всякому человеку, несомненно, хотелось любви и тепла, но для женщин он всегда оставался только другом. Здесь же была и Надя, его бывшая неразделенная любовь. Но о Наде за многие годы создалось впечатление, что мужчины ее не интересуют вовсе. На все предложения и признания она лишь делала удивленные глаза и пожимала плечами. Когда окончится поход, Надя уедет в Америку поработать программистом – сначала нелегально, а потом выйдет замуж за американца.

Поняв, что нам здесь в определенном смысле ничего не светит, мы с Ольгой приняли решение расслабиться и получить максимум удовольствия от моря, солнца и кипарисов. К тому же, отсутствие мужчин как класса исключало между нами возможность какой-либо конкуренции.

Когда ты не влюблен, ты внутренне свободен. Ты надеваешь самые удобные босоножки на носки, обрезаешь под корень больше не модные джинсы, кое-как повязываешь самошитую шелковую блузку с сиреневыми разводами, на шею вешаешь

чехол фирмы “Кодак”, в который влезает фотоаппарат-мыльница, паспорт и деньги, крепишь к карману шорт кассетный плеер. Из ушей торчат провода – и ты улыбаешься чему-то своему, время от времени пританцовывая на ходу – потому что слушаешь свою любимую музыку, совсем не похожую на ту, что привыкли слушать они.

Они слушают бардов. Благодаря чему, собственно, поход и начинался со Старого Оскола, куда остальная компания съехалась несколькими днями раньше на фестиваль. Я прибыла в Оскол со своим рюкзаком уже под самый конец, ибо высокой страсти к жанру КСП давно не испытывала, а если честно – не испытывала никогда, просто однажды перестала притворяться.

С тех пор как окончательно разлюбила Фиму. А разлюбила я его сразу после откровенного разговора под горой за зданием университета, куда, чтобы не стоять в глупой позе, а как будто бы куда-то двигаться, мы спустились в лес к роднику. Вернее, до самого родника мы так и не дошли – все выяснилось гораздо раньше, говорить стало не о чем, оставалось только повернуть назад и подниматься по разбитым каменным ступеням под сводом то ли лип, то ли ясеней – какое мне до них было дело! Ведь подниматься всегда труднее, чем наоборот. Чем, например, упасть. “Упасть в любовь” – говорят англичане. Влюбиться. Все равно как вляпаться или наступить на грабли. Ноги наливались тяжестью и не желали идти дальше. Возможно, они хотели спросить что-то еще, но ответ был слишком однозначен, чтобы нуждаться в разъяснениях.

Когда человек не влюблен, он внутренне свободен. Он смешной, распушенный и не играет словами. Нужно хорошо запомнить это состояние, чтобы при случае правдоподобно воспроизводить. Для пущей убедительности еще можно часто и громко смеяться. А потом снова смеяться – уже над тем, как ловко удалось всех одурачить.

Смутно мелькали желтые и розовые арки железнодорожных станций, окошки билетных касс, ларьки с кока-колой и сосисками в тесте, бабушки с пирожками в дверях вагонов, облезлые лавки и бледные разводы фонарей за грязными стеклами. Рюкзаки со стандартным набором: спальник, тушенка, сгу-

ценка, пакетик растворимого супа и кило крупы – так распорядился Игорь о том, что найдешь не в любом гастрономе – день ото дня странным образом теряли в весе, ни на грамм не опорожняясь. Минимальный бюджет полуголодных странников уходил на кока-колу и привокзальные сосиски с горчицей. Перед отходом в обратный путь пронесенное на спинах добро будет высыпано на корм птичкам и роздано нищим.

Впрочем, в единственный вечер в Осколе я попыталась было развести костер, но Игорь посоветовал “перекусить что-нибудь у себя в палатке”. Мы с Олей поели плавленный сырок с огурцом.

В Оскол Оля уехала со всеми лишь для того, чтобы не заблудиться в одиночку, а так-то у нее в плеере играла почти та же музыка, что и у меня; правда, ее в каждом новом городе еще интересовали уличные панки – довольно странный вкус, учитывая, что сама Оля из семьи доцентов-математиков и на панка внешне не тянет.

От ключевого пункта – Симферополя, где была съедена очередная порция сосисок, а условные мужчины, очевидно, что-то заподозрив, обменяли деньги и срочно купили на всех обратные билеты, кое-как добрались до Евпатории.

* * *

Внезапно потянуло солью и тиной. Воздух расширился, стал большим, прозрачным и теплым. Розовато садилось солнце, за спиной потянулись золотистые тени. На пляжный песок, вблизи от тихо набегавших волн, под дырявую сетку ограды брошены расплющенные палатки и отдана команда чуть-чуть поплавать и залезать в спальники – прямо под открытым небом. Утром снова в путь.

Там-то, на берегу, под затухание последнего луча, я сообщила Ольге, что влюбилась.

Понятно, что я не собиралась ей говорить, в кого. Мне нужен был зритель. А любопытная Ольга пусть помучается. И Ольга честно мучилась. Помимо того, что ее начала беспокоить и своя задача – ведь Тема такой добрый и умный, к тому же работает программистом – даром что некрасивый, но ее красоты хватит на двоих! – она изо дня в день наблюдала, взвешивала и снова

перебирала по пальцам. Иногда отчаивалась и спрашивала напрямую: такой-то? Но на каждый вопрос получала один и тот же ответ, возможно, лишь с небольшой разницей в интонации. Выбора не было, и, как человек, мыслящий широко, она даже заподозрила, что это может быть девушка. Вот, например, одна из Наташек, тех, что из области – у нее очень красивая фигура. Конопатая широколицая Ксюха – вообще какая-то деревенщина, хоть и вся из себя – не она. О, а вон та девчонка такая малоприметная, просто серая мышка – ее зовут Анечка. За время похода мы обе поймем, что Мышка – очень хороший, возможно даже, самый лучший из нас человек, и Ольга будет сокрушаться, как ей не повезло с внешностью.

Порой я захожу на фейбсук с фейкового аккаунта и просматриваю профили людей из прошлой жизни. Ну, чтобы не думали, что они меня слишком волнуют сами по себе. Из чистого любопытства. Бескорыстного интереса к работе времени. Судя по фото, Фима, Игорь и Лиза найдут себе подходящие партии. У Светы с Лешкой будет крепкая семья и двое детей, пока его смерть – нелепая, случайная – перелом, ошибка врачей – не разлучит. Видела Мышку. У нее очень элегантный вид и финская фамилия.

Я тоже мыслю широко и согласна с Ольгой, что у Наташки красивая фигура, и нам обеим нравится ее разглядывать как произведение искусства – но нет, не она. И вообще не женщина. Это единственное, в чем я готова ей поклясться. Задача усложняется. А нашего Мистера Икс мы отныне будем называть N.

Я не помню, когда мне показалось, что N прекрасен. Должно быть, еще где-то в электричках, когда одна из нас схватила простуду, а вторая – то есть я – почувствовав ее приближение, решила, что тому не бывать и, такая же, как все, голодная, проглотила всю имевшуюся в сумке “Кодак” аптечку. Простуда миновала, но удар аптечки был велик, и ехать с того момента я не могла даже сидя. N заботливо выбирал для меня в каждом вагоне лучшую скамейку и разгонял прочь возмущенных теток – ишь, мол, тут, разлеглась!

Следующим пунктом был мыс Тарханкут – каменная выемка в скале, с сонмом медуз в темно-синих волнах и отсутствием

пресной воды. Условные мужчины порой куда-то уходили и возвращались с полными баклажками, но, чтобы не свихнуться от жажды, этого, к сожалению, не хватало. Сонные мухи странной пестрой породы то и дело липли к телу, и их было почти невозможно согнать. Развести костер оказалось не из чего – под ногами нашлось лишь два тоненьких сучка и одна щепка. И все время хотелось пить. Мы с Олей, запасаясь пустыми бутылками, вылезли наверх, в голую степь, и успели пройти несколько метров. Но Игорь нас поймал и строго вернул на место. Мало ли, потеряемся.

– Сиди, рисуй комиксы про нас, – повелительно сказал Н.

И я рисовала комиксы про нас. И все смеялись, и я вместе со всеми.

Фима тем временем облюбовал деревенскую Ксюху и упражнялся с ней в любви. Судя по всему, лишился девственности. Впрочем, я, как бывалый солдат, заметила, что поначалу он пытался поиграть пыльным хвостом некой Ленки. Но когда встревоженная Ленка начала слишком часто звать его по имени – Ну-ну, попалась очередная! Как и я после бадминтона! Погоди, милая, как только ты среагировала, он тут же сделает ноги и будет бежать от тебя на край света! – возникла Ксюха. Пожалуй, ей легче всего не наобещать лишнего. Непонятно, красивая она или нет. Оля говорит, что у нее “такой народный ротик” и смеется.

Ксюху все жалеют: “Бедная! Ведь Фима ее совсем не любит! Он ею пользуется!” Я ее тоже очень жалею и улыбаюсь ей от души.

Но, кажется, я переиграла. Ксюха возомнила меня лучшей подружкой и лезет с откровениями. Мне с ней неинтересно. Пора сваливать.

Ольга битый день уговаривала меня не отправляться в четыре утра со всей компанией в Ялту, а выспаться и идти дальше под руководством доброго Темы. К счастью, мы не одни – с нами бывшая Темина любовь Надя. На остатки общественных денег Тема купил нам арбуз и билеты на автобус до Черноморска. Карманных почти не оставалось – все истрачено на сосиски. И это мы еще взяли из дома больше, чем нам советовали. Но, вроде, в Ялте нам обещали сколько-то вернуть.

Небольшой курортный городок Черноморск. Еще одна ночевка на пляже.

– Тема, пожалуйста, я помню эти места. Когда мне было девять лет, мы здесь отдыхали большой семьей. Был и мой троюродный брат из Москвы, примерно в эти дни он и его жена должны сюда приехать, пойду поищу. Не надо провожать, найду сама.

Но Тема не отпустил и пошел вместе. Пляжный тир, белые мазанки из туфа – в отличие от Симферополя, с которым я знакомилась, можно сказать, заново, здесь за пятнадцать лет почти ничего не изменилось. Мы с Темой нашли дом. В нем я никогда не жила – только вечерами играла с другими детьми в беседке. Помнится, наша семья никогда не садилась здесь даже за стол. Говорящая на непривычном языке старуха в выпяченном вперед фартуке широко растопырила колбасообразные руки, точно боясь пропустить нас с молодым человеком дальше калитки. Брата с женой нет, будут на следующей неделе. Свекровь московской родственницы я узнала, а она меня – сказать не могу. Слишком примитивные лица трудно читать.

Однажды родственница, профукав приличного мужа, спохватилась и срочно рванула на курорт в поисках нового. И вот, нашла. Низенького, уродливого, слегка пьющего. Какая разница – главное, не “брошена”, не одинокая, есть с кем идти по улице под руку. Привезла в Москву, сделала ему работу и прописку – ведь нужно, чтобы муж зарабатывал. Сын был еще совсем маленьким и мечтал об отце. Увидав дядю в яркой рубашке, кинулся к нему на шею: “Мой папочка, мой попугайчик!” – попугайчики были его детской страстью. С годами попугайчик жестоко запил, а при разводе отжал у них с матерью половину квартиры у метро Университет.

В каждом походе, по обыкновению, рождаются свои шутки и мемы. Одним из них у нас было “неглиже”. Уходя из Черноморска, Ольга делилась впечатлениями. Оказалось, что Тема не только добрый парень и хороший программист – а что и со всем остальным у него тоже в порядке! Море, ночь – у Ольги было достаточно времени, чтобы проверить!

И снова забегу вперед. Оля с Темой поженятся почти сразу после похода. Родят красивую дочь. А через год – разбегутся в разные стороны, создавать крепкие семьи и новых детей. Перед свадьбой она признается: “Я ношу ему на работу пирожки. Ведь в жизни я совсем не такая, но чего не сделаешь ради любви!” Позже мама ее учила: “Оля, покорми мужа!” И Оля бежала к холодильнику в поисках упаковки крабовых палочек.

А потом – снова Симферополь. И звонки из телефонной будки в условленное время на условленный номер – ведь не было еще ни вотсапов, ни интернетов, ни эсэмэсок. Проводные телефоны – и те считались роскошью! А первые мобильники появятся лишь лет через пять, с такой абонентской платой, что если ты можешь себе это позволить – значит, ты очень крутой олигарх. Обычные состоятельные люди, вынужденные приобретать их из крайней необходимости, научатся формулировать мысль за десять секунд, чтобы вовремя отключаться.

Компания, одетая во все чистое, встретила нас в Ялте и деловито объявила, что сняла квартиру и мы должны еще какие-то деньги, которых у нас нет. Общим собранием создан новый фонд и расписаны долги по возвращении в город. Ведь банковские карты тогда тоже – если и были, то либо у иностранцев, либо у очень крутых олигархов.

“Квартирой” оказался частный дом с фруктовым садом и фанерными постройками, до того косыми и блохастыми, что в них было страшно войти, и потому, по уже сложившейся привычке, мы расстелили спальные прямо на земле, под яблонями. Страшнее всего было ходить ночью в туалет без фонарика или хотя бы зажигалки – света в доме почему-то не было, но судя по запаху – как бы во что не вляпаться. В одной из невидимых комнат дремал вечно пьяный хозяин. Единственным плюсом был шланг с родниковой водой – ибо по всей остальной Ялте вода в домах, и даже в гостиницах, выдавалась строго по расписанию – на два часа в сутки.

Наутро, пешком в Ливадию, умытые и принаряженные, мы пересматривали бюджет, и, составив в уме формулу, я убеждала N, что вчерашние расчеты нуждаются в правке. N соглашался. На нас смотрели как на равных, шепчась: “Они – одной крови, они обсуждают деньги”. Я чувствовала на себе его

взгляд. Другой из мужчин, выглядывая из-за каждого куста, корчил рожи, изображая персонажей из “Собаки на сене”. У ворот на камне сидел старый слепой бандурист в длинной рубашке, похожей на тогу; струнные звуки плыли над парком и искажали реальность. Мы торжественно спускались под сводом увитых кустарником арок по мраморным ступеням Ливадийского дворца. Дворцовые фонтаны били нам свой салют.

Последняя стоянка была в окрестностях прибрежного поселка Симеиз, на поляне среди поросшего соснами склона горы. Спать продолжали все так же в ряд, под открытым небом, разбив единственную палатку, чтобы сложить в нее рюкзаки. Каждый день условные мужчины уходили в поселок и из нового фонда вечерами устраивали нам дегустацию вин – Массандра, Бастардо, Каберне Совиньон. И снова нам повезло с водой – неподалеку обнаружился родник. К нему выстраивались очереди из поселчан с ведрами и кастрюлями – в домах Симеиза, как и в Ялте, воды не было. Волосы свалились от морской соли, затылки чесались. Я оказалась единственной, кто рискнул помыть голову в источнике – он был ледяным. Зато волосы теперь – мягкие и красивые. Наклонившись за котелком, N вымазался в саже. Я несколько раз показала ему, где вытереть. N столько же раз вытер мимо, и, наконец, подставив нос, закрыл глаза и перестал дышать. Оля это заметила и решила, что он в меня влюблен. Но вот в кого влюблена я – на эту тему она продолжала загибать пальцы и строить догадки.

Очередным утром мужчины и с ними большинство девушек ушли за вином. Не будучи хозяйственной – скорее, наоборот, я все же решила, что пора, в конце концов, что-нибудь поесть. Порывшись внутри вещевой палатки по рюкзакам, нашла несколько картошин, соленый огурец, луковицу и штук двадцать пакетиков одинакового супа под названием “Пикантный”. Сходив за водой, почистила картошку и забросила продукты в котелок. К приходу компании суп был готов. Народ просил вторую, третью, а кто и четвертую порцию.

– Путь к сердцу мужчины лежит через миску! – со смущенным пафосом провозгласил N, вытирая дно булочкой. Ольга это тоже отметила.

К ночи, после дегустации вин, лежа рядами в спальниках и глядя в небо, во что-то играли и чему-то смеялись. Внезапно Оля попросила: “Спой!” Это была странная просьба. Потому что, несмотря на наличие слуха, я не умею петь. Тем более авторскую песню. Однажды, еще во времена КСП, правда, попыталась, в результате умерла со стыда и решила, что больше этого делать не нужно.

– Не могу, – ответила я ей.

– А надо, – произнес с другого боку голос N. Сам он, впрочем, никогда не пел – только слушал. И, возможно, с его стороны это вообще была шутка, о которой он тут же и забыл. Но со мной – то ли от вина, то ли от звезд над головой, что-то произошло. Это была известная песня. Спустя двадцать лет обе стороны – языка оригинала и его перевода – узрят в ней политический смысл и кровавое пророчество. А тогда это была просто песня о слепом бандуристе, о его любви и смерти. Я знала, что она нравится Ольге. Для нее нужен сильный низкий голос. И этот голос я услышала и не узнала. Мне он не принадлежал. У N вырвалось испуганное: “Кто это?” Другие тоже спрашивали: “Кто?” На фразе “Теперь пройду и даже не узнаю” Ольга хихикнула.

В середине ночи я почувствовала, как моими волосами играет чья-то рука, дотянувшись через одного человека. Играет долго. Затем, очевидно, поняв, что не сплю, словно бы ошибка:

– Анька, ты?

Равнодушно, по-пацански:

– Неа.

Рука убралась. Вот только Мышка лежала от него с другой стороны – ведь она тоже спрашивала “Кто?” И мытая голова здесь была у меня одной. И волосы явно короче.

Весь день перед отъездом, разбредясь на кучки, гуляли по Ялте, среди непривычной глазу геометрии фонтанов, темных кипарисных стрел и плотной стриженной зелени – ощущение зимнего сада под небом. На берегу загребали ладонями мокрую гальку, на коже белыми разводами высыхала соль. Вдыхали легкие запахи хвои, дынь и жареных баклажанов с чесноком на рыночных прилавках. Смешивались с праздной толпой курортников. Разглядывали на лотках сувениры: рако-

вины, похожие на пороссячи уши – в которых всегда “шумит море”, лакированные дубинки из дерева, котята и птички, кораблики с парусами и крашенные бусы из ракушек любых сортов – в детстве я любила их находить сама; переводные картинки на плоской гальке, портреты в профиль, вырезанные из черной бумаги – счастье, что на всю эту пошлость у нас не осталось денег! Вытирай с нее потом пыль, не решаясь выбросить.

Зажглись фонари, мы спустились в порт. В лицо подуло водорослями и рыбой. Мы остались наедине с Лизой – невольной я заметила, что мы с ней чем-то похожи. Она мне открылась. Для нее эти две недели были адом. Ей каждую минуту приходится улыбаться и изображать радость. Она любит Лешку и была уверена, что он позвал ее в этот поход для себя. Фима ей как мужчина никогда не нравился – он назойливый и слабый. Ей до сих пор стыдно смотреть в глаза его родителям – ведь из-за нее он пропустил год учебы! А Лешка сильный – такой, как она. Ясно, что Светка оказалась просто более доступной, к тому же вероломной подругой. Но она не покажет, как ей больно. Чем больнее, тем веселее она будет прыгать и дурачиться. Я была ее зрителем, почти как моим – Ольга. В конце набережной показалась компания. Лицо Лизы напряглось.

– Идут! – предупредила она. – Надеваем маску радости!

И, отчаянно переигрывая, принялась приветственно размахивать руками и громко смеяться.

Про N я ей ничего не рассказала. А Ольге о том, кто это был, признаюсь значительно позже, когда все кончится, теперь уже по-настоящему. Когда, после возвращения в город и накрытого стола в честь окончания похода, N – правда, на этот раз ненадолго, всего на месяц – бросит учебу и уедет пожить к родственникам в Тамбов.

Эстер Кей

ОРЛИК

Тихий снег падал на живую волну прохожих, на афиши и ларьки Крещатика, на утолщенные пушистой белизной контуры деревьев. В отражении витринного стекла Орлик увидела свое лицо, измененное и уточненное гримом и, в результате этого умелого изменения, будто чужое, чрезмерно красивое. Больно было видеть его таким красивым и никому не нужным. Она пошла дальше, осознав свою одинокость и не желая в нее углубляться.

Существует ли на свете один человек, который бы это лицо узнал и полюбил, даже совсем не приукрашенное – и даже не именно лицо, а внутреннее содержание, им выражаемое, душу, сущность, натуру ее? Или... такого человека просто нет?

Орлик зашла в универмаг, четыре этажа которого неспешно выдали ей некую унылую закономерность: те же самые товары, чередуясь и меняя расположение, заполняли излишне большое, ненужное пространство магазина. Товаров первой человеческой необходимости, простых и добротных, не было... зато всевозможные сувениры, экстравагантные одеяния, цыганские блески и обилие мистических знаков на предметах любого назначения, а также бурно представленная книжная продукция, по большей части бульварная – все это наводило на мысль, что помещение заполняется товаром, завозимым неталантливой мафией, не допускающей притока здоровой торговли в этот чертог частного предпринимательства. Сердце посетителя уставало от вида нулей, стоявших, как охранники, рядом с цифрами цен, и покупать ничего не хотелось...Шел 1993 год.

Снег на улице выдавался первоклассный и недорогой, чистенький и радующий.

В подземном переходе у метро музыканты грелись лирической своей работой – струнами, строками, трубными звуками. Романс перекрывался хриплым ревом проповедника, ратующего за что-то, аккордеон сменял студенческий перебор гитары. Продавцы газет, снадобий, гороскопов неумело пытались завлечь прохожих каким-то призраком надежды и спасения. Кафетерий, полный привозных сладостей, играл с народом все ту же глупую шутку трех ноликов – каждый шоколадный батончик стоил не меньше тысячи купонов (украинских дензнаков нового времени).

Эскалатор внес Орли внутрь котла с поездами, называемого метро. (Откроем читателю настоящее имя этой юной израильтянки, Орли, ибо попытка поставить слово «Орлик» в форму внятного падежа превратила бы его в мужское имя – в то время как оно лишь прозвище, ласково данное этой девушке киевскими детишками, которых она обучала в хабадской школе, для чего и была прислана сюда из соответствующего семинара в Израиле.)

– Обэрэжно, двэри зачыняются... Наступна станцыя – майдан Нэзалэжности... – донеслось до ее непонимающего слуха.

В школе, до которой она добралась на метро, ее сразу же обступили ребяташки, загалдели, объясняя предстоящую постановку спектакля на Пурим... Она с трудом навела порядок, дала им диктант на легком иврите, потом устроила заранее заготовленную викторину с помощью карточек, прилеплявшихся к доске. В этом, пятом, классе преподавать еще было можно, а вот в десятом – полная деградация. Ребята уже ничего не знают и не хотят знать – во всяком случае, ничего, связанного со школьной программой. Зато истории о Баал-Шем-Тове, фрагменты «Тании», а для девочек – современные израильские песни – вполне подходяще. Так она и делала: садилась, окруженная мальчишками, и рассказывала им на ломаном русском о сотворении мира и о борьбе двух душ в теле еврея, а затем, отпустив мальчишек играть в футбол, устраивала с девицами урок пения на иврите. Один рослый десятиклассник, казалось ей, был в нее влюблен... или просто очень, очень внимателен к

ее объяснениям – так жадно их ловил. Потом его семья выехала в Чикаго. Ее саму удивляло, почему она так чутка к этим нюансам, почему так ждет к себе внимания. Ведь ее родители были хабадниками. Она получила прекрасное хабадское воспитание, так откуда же эти лишние мысли в голове?

Итак, она подсознательно искала любви и проявляла к этой теме больше интереса, нежели любая из ее подруг по классу, по школе, по семинару, хотя внешне казалась такой же смиренной, как они, и ее черные продолговатые глаза глядели вполне невинно. Но настоящая любовная история началась у нее не в Киеве, где она провела зиму и весну, а позднее, летом, в жаркой, грязной, наглой Одессе, куда отправилась она после телефонного запроса секретариата Ребе. Увы, у Орли не было того, что называется на языке хабадников «машпия» – то есть опытной наставницы, без предварительного обсуждения с которой, в идеале, девушки не должны принимать никаких жизненных решений. Так получилось, что прежняя наставница ее разочаровала – Орли показалось, что она неспособна хранить доверяемые ей тайны – а новой она пока не нашла...

Переезжая в Одессу, она действовала на свой страх и риск, да и до этого, в Киеве, была очень одинока – особенно после отъезда своей подруги Ривки, с которой делила малюсенькую квартирку на Оболони. К Песаху та, естественно, пожелала вернуться в Израиль – кому же охота в праздник голодать на Украине! А Орли по разным причинам предпочла домой не ехать. Во-первых, школьный год еще не закончился. Пусть и сумбурное это обучение, и мало что стоит такой учебный процесс – но зато дети видят перед собой живого носителя хабадского мышления, человека Ребе (каковым она себя считала)... А кроме того, Орли не очень любила тот семинар, в котором училась – ей казалось, что она ничего не потеряет, если вернется на свой второй курс спустя еще несколько месяцев, как и предполагалось по плану. Голодать ей все же немножко пришлось, но она отдавала себе отчет, что многие из тех киевских детишек, которых она обучала Торе и заповедям, голодали (не из-за кашрута, а из-за бедности) еще больше. Однажды она проводила до дома свою ученицу, обедавшую у нее в субботу, и зашла вместе с ней в небольшую квартиру, где во всем хо-

лодильнике имелась... лишь одна серая картофелина в кожуре, покинуто лежавшая внутри алюминиевой кастрюли. «Мама спит, – сказала девочка, – а я не буду света зажигать, пока суббота не выйдет...» Орли погладила ее по голове... Они сидели в темной квартирке, дожидаясь, пока выйдут звезды, и говорили о скрытых цадиках, о том, как те втайне творят добро людям.

И вот, завершив учебный год и обменявшись адресами со всеми ученицами, Орли внезапно получила предложение от одесского раввина поработать в женской йешиве, которую он только что организовал.

А по приезде ее тотчас согрел восхищенным мужским взглядом один из нерелигиозных друзей раввина и, пока она отказывалась есть клубнику непомытыми руками и объясняла галахическую сторону этого вопроса (причем раввин ей доказывал, что есть разные воззрения на этот счет), этот самый Славик успел разглядеть всю прелесть ее фигуры и лица, после чего с жаром ввязался в дискуссию об отношении к влажным фруктам.

Не прошло и недели, как она с удивлением отметила, что этот Славик ей очень нравится, несмотря на свой зачаточный иврит, хождение по городу в коротких штанах, отсутствие бороды и кипы, полное незнание законов Торы... Орли преподавала нескольким школьницам еврейскую традицию (этот класс носил громкое название женской йешивы) и во второй половине дня учила русский язык, захаживала в культурный центр, смущенно глядела на все происходящее там. Вот – пары, кружащиеся под еврейскую музыку самым некошерным образом, вот – сохнутовские вожатые, увлекающие детей довольно пустыми играми, вот – клуб «Что? Где? Когда?», комната, где вечно смеются, курят, вольно общаются между собой парни и девицы. Орли решила выпускать хабадскую стенгазету и увлекла своим проектом учениц: они вместе с ней сочиняли, писали красивым шрифтом, вырезали, приклеивали, вешивали... За газету ее невзлюбила директорша центра Мира, чье мышление было абсолютно светским, а энергия – неиссякаемой. Вскоре Славик выпала роль Орлиного защитника – он уберегал ее от яростных нападков Миры, недовольной появлением в городе симпатичной представительницы ортодоксального иудаизма, и

экономного Рувена, не любившего в иностранцах и иностранцах проявлений барства и боявшегося опустошения вверенного его попечению продуктового склада.

Орли, плачущая и беззащитная, вызывала у Славика безумное желание самому стать бородатым хабадским мужиком, который был бы ей под стать и не дал бы ее в обиду... просто-напросто женившись на ней. Была бы она его женой – никто бы на нее и пикнуть не посмел. Так ему представлялось в радужных мечтах. Он забывал о том, что совершенно к этой роли не готов... Что вся его компашка, коллеги по «Мике» (валютной фирме), уютные матюжки, милые сердцу вечера, кассеты, балдеж, подруги, полная терминов ласкательной физиологии речь – это все не вяжется с Орли никак, никак, никак. И дочка Коринка, оставленная у вторично вышедшей замуж русской жены, так сильно знобит его сердце любовью к ней, что вряд ли он сможет когда-либо бросить Одессу и улететь в Израиль. Все это (ощуаемое как препятствие, но сознательно отодвигаемое) он отставил временно на второй план, увлекшись невозможным: дружбой с Орли.

...И начались безумные проекты, громоздкие во время кратких встреч в доме мучимого своими проблемами раввина, который не поощрял, но и не пресекал эту влюбленность, разве что высказался пару раз скептически... И вот уже Славик бормочет слова молитвы, накручивает тфиллин, стоя (по-прежнему в коротких штанах) возле стола в синагоге... В родительском доме, где проживает, он ничего более не ест.

Его бросает то в жар, то в холод от происходящих в нем изменений – он никогда не думал, что будет принимать всерьез все эти ритуалы... И прежний круг друзей распадается, и он учит иврит, и читает все доступные кошерные книги на русском, чтобы было хоть о чем поговорить с рассудительной Орли. И, в свою очередь, начинает приобщать иностранку к русской литературе, рассказав ей очень увлеченно историю о двенадцати стульях с продолжением. Он даже показал ей старый фильм, знаменитого «Золотого теленка» с Юрским, где лицо Бендера так театрально-выразительно и где он так одинок на фоне масс: вот она, еврейская избранность. А замечание насчет датчан, убивших своего принца – Гамлета? Разве это не ответ всем

тем, кто упорно мстит евреям за нелюбовь к Йошке? Даже если предположить, что он был казнен по решению еврейского суда, то какое дело до этого всему миру? Славик пояснил специально для Орли, что в этой книге и в этом фильме, по его мнению, есть так много Торы, как будто... Но он увидел, что она не понимает. Она раньше вообще не видела нормальных фильмов, только учебные и с Ребе. Он умолк и грустно улыбнулся, ощущив пропасть, разделявшую их.

Так проходило лето...

И вот в один престранный эрев-шабос вдруг случается что-то, что эту пропасть резко сокращает.

В просторной, принадлежащей общине, квартире, когда его возлюбленная беседует на кухне с поварихой Светой, переспрашивая русское слово «вареники» и с улыбкой повторяя его вслух, – с плиты, поскользнувшись от неосторожно придвинутой к ней сковороды, сваливается громадная кастрюля с этими самыми варениками, в ней вскипавшими, и рухает вместе с Орли на пол, под истошные крики поварихи, едва устоявшей на ногах. В этом липком, сладком, дымящемся кипятке она скользит, пытаясь встать – и вот уже подхвачена и прижата к белому боку поварихи, уведена в ванную, усажена под струю холодной воды – и стоны ее становятся все слабее, а затем совершенно стихают. Наступает суббота, повариха, вызвав скорую и сняв белый запачканный розовым фартук, уходит домой. Орли, лежа на кровати в комнате для гостей йешивы рядом со столовой, ожидает прибытия машины скорой помощи...

Ноги горят, ноют, ломают... Входит Славик и, с легкостью преодолевая ее словесное сопротивление, припадает к изголовью ее кровати. Он быстро и невнятно объясняется в любви, но трогать ее не осмеливается, понимая, что нездоровье – не оправдание греха, и только нежными взглядами пытается облегчить ее плачевное положение... Зато когда два дюжих медбрата из скорой хотят свести Орли под руки вниз по лестнице, он яростно сопротивляется, объясняет им, что она – религиозная израильтянка, после чего относит пострадавшую на руках к машине совершенно самостоятельно. В больнице ей прокалывают пузыри на вспухших от ожога ногах, и потом в течение трех недель она медленно выздоравливает, регулярно прове-

дываемая Славиком, в маленькой, удаленной от центра, дешево снятой практичным завхозом Рувеном квартирке. Туда же к ней приходят ученицы – трое девушек, которых она обучает хасидизму. Романтичная влюбленность в нее Славика ничуть не порочит ее в их глазах – для Одессы в этом нет ничего компрометирующего. Орли усваивает точку зрения Одессы на свой роман, не видит в этом почти ничего предосудительного. Славик считается ее женихом, и она уже подумывает о том, чтобы сообщить своим родителям интересную новость.

Папа Орли заведовал в муниципалитете отделом водоснабжения, мама работала в Организации Женщин Хабада и, в отличие от отца, была очень сильна в соблюдении заповедей Торы и держала всю семью в русле Любавича. Поэтому Орли для начала поговорила с отцом – милым, мягким, ничего ей, как правило, не запрещавшим. Рассказала, что у нее тут началась какая-то необыкновенная история... молодой человек хочет сделать тшуву, стать религиозным и жениться на ней... Попросила ничего не рассказывать матери и, облегчив душу, поведала трубку.

А потом начались странности. Славик пропал...

Вызванивать его по домам друзей, по «малинам» было крайне унижительно... Потом, когда он снова объявился, Орли почувствовала, что уже не может, не опасаясь охладить отношения, расспрашивать его так свободно – где он бывает, что у него с кашрутом и другими заповедями, как движутся его уроки по изучению иудаизма... Все это как-то утратило внутренний смысл. Она поняла, что он сдал позиции, в душе уже отказался от нее и только для видимости, чтобы не обидеть больную, еще приходит общаться.

Она не выдала своих догадок – только поставила его в известность о своем скором отбытии в Израиль.

Он снова преисполнился нежности, предложил по телефону запросить у Ребе благословения на их будущую совместную жизнь (Орли побоялась это делать), потом очень трогательно проводил ее в путь, пытался было подарить на прощанье колечко с аметистом – но она, зная, что кольцо – слишком обязывающий подарок, не взяла его. Так и объяснила. Они расстались с туманными авансами на будущее и чувством какого-то общего

недоразумения, вызванного этим самым кольцом. Кольцо – это уже обручение, это серьезно. Она это знала.

Когда же она вновь оказалась в своем родном городе, Иерусалиме, среди подруг, пышно и респектабельно выходящих замуж за приличных молодых людей, с ощущением полного уважения и к себе, и к законам Торы – Орли вдруг стало обидно, что она так унизила свое звание девушки, свое хабадское происхождение, вообще всю свою женскую суть тем, как легкомысленно повела себя там, в Одессе... И хотя ничего у нее с ним не было, даже прикосновений, кроме вынужденно-оправданных, по пути к машине скорой помощи, – но роман все же далеко выходил за рамки кошерного официального шидуха, когда девушке предлагается встреча с человеком, равным ей в основах мировоззрения, подходящим ей по возрасту и образу жизни...

Это стало обжигающим кошмаром – вспоминать все, связанное с Одессой. Орли не могла останавливаться глазами на фотографиях Ребе, потому что, судя по его доброй улыбке и свету на его обращенном к ней лице, Ребе считал ее хорошей, а она знала о себе, что вела себя плохо, и несоответствие этих двух представлений вызывало стыд, который испытывать было неприятно, и она просто отводила глаза от портрета... Осознавала свою глупость, свою вызванную этой опрометчивостью оторванность от Ребе. Ведь кто, в сущности, гнал ее в Одессу? Не кто, а что: жажда приключений. Разве хасид поступает так, мчится за новизной ощущений неведомо куда? А все эти любовные чувства, настоящая игра с огнем... На чьей ответственности все это в итоге окажется?...Ей становилось страшно, хотелось с кем-то поговорить, принять полное решение о раскаянии. Но она все откладывала это на «попозже». Так проходило время.

Орли уже было совсем отреклась от прошлого, как вдруг... ей позвонил Славик и сообщил, что завтра прилетает в Израиль. И не просто так прилетает, а к ней.

Настаивая на каких-то своих особых правах, он вынудил ее скрыть от родителей сумасшедшую поездку в Тель-Авив, включавшую ожидание его рейса, суховатую встречу в аэропорту, бессмысленное блуждание с чемоданами у моря, опоздание на

иерусалимский автобус, ночевку у знакомых Славика в Тель-Авиве и мучительное непонимание друг друга наутро. Спали они в разных комнатах, и вообще весь внешний этикет блюли безусловно – но была все же в этом приключении понятная наглость, если принять во внимание стиль жизни, к которому была приучена кошерная девушка Орли, никогда не предполагавшая, что вдруг докатится до подобной конспирации, снова пойдет так покорно за этим уже внушавшим ей кое-какие подозрения одесситом.

Кончилось все очень, очень плохо – она принимала его ухаживания в Иерусалиме, чувствовала нарастающую потребность близости, ржавые звенья в цепочке вранья становились все более хрупкими, и родители уже не раз пытались устраивать с ней воспитательные беседы... а ей хотелось лишь одного: понять, искренен ли он? Действительно ли в нем еще горит тот первый порыв тшувы, который в Одессе поначалу казался таким настоящим? Или это уже фальшивка, подделка под чужую игру, объясняемая лишь физическим его влечением к ней? Иногда ей казалось, что и в этом, втором, варианте есть своя прелесть. Пожениться в раввинате тайком от родителей, а потом постепенно приучить его ко всему... он бы все принял, ведь Тора – это прекрасно! Это только кажется, что трудно ее соблюдать... Уж она бы его убедила. Разве любящая женщина не сильнее любых привычек мужчины, разве не способна она переделать его целиком?

...Увы, лишенный какого бы то ни было контроля над происходящим, безденежный и светский Славик чувствовал себя в религиозном районе Иерусалима очень плохо. Хорошо ему бывало лишь у обыкновенных своих, нерелигиозных знакомых, к которым он то и дело срывался, чтобы расслабиться. Там он предпочитал ночевать, там смотрел телевизор, слушал разговоры о трудностях абсорбции, о безнадежных поисках престижной работы... ел то, чем его угощали и вовсе не был принципиален. И свой спектакль с Орли он так и не доиграл – на нервной почве обострились некоторые имевшиеся у него хронические болезни и он угодил в иерусалимскую больницу с весьма неприятным диагнозом в тот самый вечер, когда она ему окончательно отказала. Она ничего не узнала о его нездо-

ровье... А поскольку он был туристом, то оплатить три дня его пребывания в больнице пришлось одному другу, который немедленно после Славкиного отлета эти деньги востребовал с родителей Орли.

Гордая дочь, узнав об этом, не могла позволить, чтобы и в самом деле родители понесли такие расходы – и тотчас устроилась на работу, чтобы постепенно внести всю сумму платежа (благородный друг согласился на отсрочку)... А Славик, восстановивший здоровье после приступа, но подбитый, обозленный, так и не добившийся ровно ничего от своей неприступной красавицы, прибыл в Одессу и с тех пор ходил по улицам осторожно, как раненый, об Израиле отзывался с загадочным негативизмом и очень ценил свою работу в банке, потому что с особенной остротой понимал теперь, что в Земле Обетованной с работой – не фонтан. Радовался своей получке, с которой сразу же отделял деньги на подарки любимой дочери. Иногда, поговорив по телефону с какой-нибудь подружкой, шел на холостяцкие вечеринки. Все стало по-прежнему в его жизни, и больно было от приземленности, и не было сил пытаться взлетать снова. А раввина к тому времени уже прислали другого – совсем официального, образцово-показательного, к которому приближаться Славику ничуть не хотелось.

А Орли замерла, перестала жить и чувствовать, только работала и училась, работала и училась... «Я никогда не найду того, кого мне надо», – думалось ей.

Б-г думал иначе, но до поры до времени не открывал ей Своих намерений. Чувствуя себя неадекватно среди чистых, как лебеди, хабадских подруг, Орли решила на смелый шаг: попросилась в заведение для «баалот-тшува» в Цфате – «Махон Альту». Это, конечно, не пансионат «Небесные ласточки», но это и не колледж для совсем молоденьких, неопытных: скорее, наоборот. Там ее приняли с распростертыми объятиями и сразу предложили работать мадрихой, ответственной за работу с девушками. Она не производила впечатление человека, носящего в себе душевную рану, была общительна, спокойна, дисциплинирована. Умела и потребовать выполнения заданий, и проследить за всем, что надо, и в то же время не была сухой начальницей, вызывала симпатию.

Ее очень полюбили и учителя, и подруги. Свахи с ног сбивались, предлагая самых разных парней на шидух. После двух лет неудачных проб все поняли, что ей, очевидно, нужно что-то совершенно из ряда вон выходящее.

Той осенью в Цфате объявился Мантула – гер, да еще из русских, да еще разведенный... Он выглядел неплохо, приобрел репутацию старательного студента, и все же... По стандартной логике свях его кандидатуру нелепо, немыслимо было предложить девушке с такими прекрасными «выходными данными», как израильтянка Орли из преуспевающей хабадской семьи. Его и предложили в действительности какой-то другой студентке Махона, но та девица, встретившись с ним, почему-то решила, что вот Орли, а не ей, он бы очень подошел, и рассказала об этом своим друзьям. Тогда загоревшиеся этой идеей Элизер и Эстер Герцог, русскоговорящие хабадники, проживавшие в Цфате, по-свойски устроили Исроэлю встречу с Орли – и встреча не обманула ожиданий.

Мантула к тому времени возымел обыкновение вести себя до ожесточенности строго, своих мнений ни о чем вообще не высказывать, а только цитировать святые книги и с помощью цитат разрешать все жизненные вопросы. Орли это забавляло так же, как и его старательный подбор слов на иврите, особенно попытки поставить глаголы в правильную грамматическую форму – будто нельзя понять фразу, если глагол в ней употреблен слегка неверно! Да и смотреть на нее он избегал, чтобы уж точно быть уверенным, что на сей раз (ведь первый его брак кончился крахом) – женится не на красивых ногах или еще чем-нибудь внешнем.

Она без особого труда поняла, что за этой завесой суровой напряженности кроется большая душевная ранимость и нежность. Гуляя с ним на второй встрече по мокрому парку, она подняла отороченный мехом капюшон, и Мантула все же успел заметить при этом ее внимательные глаза с пушистым оперением черных ресниц, покрасневшие от холода щечки и носик, красивый изгиб губ, нежный подбородок – и тут же предложил зайти в холл какой-нибудь близко расположенной гостиницы. Так они и сделали, согрелись в креслах освещенного лобби, и ей пришлось в голову открыть ему свое неплохое знание русского языка, ошарашить его вопросом:

– Может, возьмем чего-нибудь попить, а?

Услышав вольную русскую речь, Мантула обмер. Не поверил своим ушам. Как это возможно? Она же – Орли Бухник, сефардская девчонка из Иерусалима, дочка коренных израильтян!

– Я в России работала, – с неожиданной глубокой хрипотцой произнесла Орли. – На Украине, вернее.

– Что же ты сразу не сказала... – растаял он, – я-то тут му-чаюсь, на иврите...

Она показала ему безумно родной, но он подавил это ощущение и призвал себя к бдительности. Купил в баре втридорога кошерную шоколадку с орехами, гордо попросил на иврите графин с водой и два стакана, что и было выставлено немедленно на занятый им и его дамой столик в лобби.

Увидев, что общение на родном языке чрезмерно сближает его с новой знакомой, Мантула сделал усилие и все же вновь перешел на иврит. С абсолютной отстраненностью он порасспрашивал Орли об ее взглядах на брак, о родителях, о братьях и сестрах, о профессиональной ориентации и о личной биографии. Она отвечала с нежной усмешкой, покачивая сережками при наклонении головы. Как-то запросто, легко разболтала ему историю со Славиком (на которого была очень обижена), что вызвало Исроэля на ответную откровенность. Рассказал ей о своей бывшей жене и уловил в своем пересказе немалую долю сходства с чувствами, о которых говорила Орли. Оба были измучены в своем любовном прошлом одним и тем же: стремлением подогнать нравящегося человека к определенному образу жизни, и несовпадение внутренних ритмов души и интеллекта обрекло эти попытки на неудачу. Теперь Б-г их свел, бороться больше ни с кем не надо, убеждать, тянуть партнера за собой к сверкающему идеалу – не придется. Они, вероятнее всего, пойдут по жизни на ногу. Стоит попробовать.

Таков был итог второй встречи.

– А есть ли у тебя машпия? – спросил Мантула на следующей встрече. У него самого, разумеется, был наставник – Элиэзер Герцог, с которым он постоянно советовался. А Орли не знала, что и сказать. Стыдно: сама из хабадской семьи, и работает, можно сказать, на руководящей должности в хабадской

школе, а машини по-прежнему не имеет. Она объяснила ему, как это получилось, что отношения с наставницей просто не сложились. «Ну, так найди новую», – пожал плечами Мантула. «Не нахожу пока». «Значит, не ищешь как надо. Не может быть, чтобы указание Ребе было невозможно исполнить».

Мантула, к ее изумлению и даже обиде, отказался выходить с ней на следующую встречу, решил свидания вообще прекратить до тех пор, пока она не доложит ему об успехе своих поисков. «Я не могу плыть на корабле без паруса, без ветрил, без капитана – и тебе не советую...» Орли медленно вдумывалась в эти его слова и постепенно соглашалась. Да, верно. Свой собственный разум – это, конечно, прекрасно, но без машини – нельзя.

Тогда она взвесила несколько возможностей, поговорила с женой директора Махона и нашла с ней много общего. Поначалу хотела попросить ее порекомендовать кого-то другого, а к концу беседы пришла к выводу, что сама же директорша и может стать ее машиной. Это был очень теплый, живой, открытый человек. К ней всегда можно будет прозвониться, забежать, не чувствуя натянутой официальности. И ничего, что у нее много других дел. Иной раз вопрос решается двумя-тремя словами, не надо долгих прений. А две-то минуточки, чтобы поговорить, у миссис Розенблюм всегда найдутся: пока она жарит шницели, пока распечатывает свои материалы для уроков, да мало ли когда!..

Славик же вел поначалу в Одессе прежнюю жизнь. Много читал. Перечитывал «Собачье сердце» и с холодком ужаса видел в Шарикове... себя самого. Вот он – бродяга, шалопай, ничем не выдающийся пошляк, любимый пестрыми компаниями, в которых даже и острить-то никогда не умел и только составлял симпатичный фон, на котором блистали другие. Вот – звездный час его встречи с благородной девушкой из Израиля, взявшейся вправить ему мозги. Вот – отхождение после первого шока и наркоза влюбленности, боль отвыкания от старого образа жизни и первые неумелые шаги в новом имидже: тфиллин, кашрут, кипа на голове, мучительный страх забыть благословение на тот или иной вид пищи. На двух ногах, как человек, проходил он все же недолго. Не выдержал и снова опу-

стился на четвереньки. Потом опять залаял. Попытался еще немного походить как человек и пообщаться на уровне культурного пласта, именуемого Торой и заповедями – и опять сорвался, только теперь уже как-то страшно, позорно, заставив других страдать, попав в больницу, вынудив девушку платить за него, сжегши мосты во взаимоотношениях с той самой, высокой, прекрасной...

И вот – он снова Шарик. Спит на половичке, питается собачьей едой и мысли имеет соответствующие. «Утвердился я в этой квартире...» Доволен минимальным комфортом, покоем, привычной колеей. Оставьте меня в покое, я никому ничего не должен, я не создан для всех этих напрягов, я просто славный малый, у меня нет сил на все это возвышенное!

...Когда он узнал об Орлином замужестве, то с облегчением вздохнул. Даже почувствовал себя довольным. Все, окончательно ясно теперь, что то было – не его.

На другой неделе он бодрой походкой подошел к равнину и попросил дать ему попользоваться тфиллин. Мальчики из йешивы тут же налетели, стали всячески ему помогать – он их послал негрубо, но убедительно, и в одиночестве, по старой памяти правильно, накрутил ремешки на руку. Думал при этом о том, что – вот, впервые может сам себя уважать. Потому что этот его шаг не продиктован никаким внешним желанием понравиться кому бы то ни было. Будет ли он двигаться дальше? Может, и будет. Но только в своем собственном темпе, чтобы никто не навязывал, не дергал, не подгонял. Например, можно будет что-нибудь поучить иногда вместе со свежесрезанным Гринбергом, любителем губерманских стишков, вечно окруженным сонмом гарикопоклонников. С гариками вприкуску и Тора пойдет. А иначе – увольте.

Славик вздохнул при мысли, что есть еще какие-то деньги, которые он должен своим знакомым в Израиле, а взять их пока неоткуда – и у него снова испортилось настроение.

Он с трудом прогнал шариковскую грусть и решил, что напишет Ребе...

А написав, получил в книге «Игрот Кодеш» с помощью переводчика следующий ответ:

«Есть человек, жизненная активность которого равняется ак-

тивности растения и даже камня („цомеах о домэм“). И это очень больно, когда венец всего сотворенного, то есть человек, сотворенный руками Б-жьими, позволяет себе существовать на уровне безмолвия цветка и минерала. Следует мобилизовать все свои душевные силы (а их десять, и это – внутренний „миньян“) на то, чтобы распознать и раскрыть в себе величайший, заложенный Творцом, потенциал истинного сына Израиля».

Славик был сбит с толку этим письмом: ничуть его Ребе не похвалил, не подбодрил. Только укорил за бездействие.

Одесса-мама тоже не гладила по головке. Жить в ней стало тяжело. В родительской квартире что-то угнетало его, к дочке всякий раз не набегаешься, остается – работа и компашки. Тора, честно говоря, даже вприкуску с гариками не «пошла» – слишком живо и остро было в памяти связанное с Орли незрелое тогдашнее стремление войти в религию, и непрошенные воспоминания ранили.

Изучать Тору он не смог, но... шабат и кашрут внезапно потянули его к себе. Он записал к себе в тетрадку, уточнив у знающих людей, все, что можно и что нельзя делать, и как-то стройно, будто поезд, всеми вагонами своей души, всем составом, двинулся в направлении кошерного образа жизни.

Активисты общины были удивлены. Вот он, тот самый Славик, которого они прежде должны были снисходительно подбадривать, подхвалять... но почему-то он теперь ни в чем таком не нуждается, идет своим, совершенно самостоятельным, путем, молится независимо от миньяна (вернее, своим внутренним «миньяном», как Ребе ему написал), в своем темпе, не любит ничьих советов, не очень охотно выходит к чтению Торы и в целом как бы сделался мрачновато-целеустремлен. Знает, чего хочет, и не желает ни помощи со стороны, ни проявлений любопытного внимания. Между тем законы выполняет неукоснительно – те, которые знает. А что не знает – придет время, спросит, и только тогда будет готов воспринять. Только когда сам о них спросит.

В один прекрасный день Славик увидел приезжего шойхета за работой. Заинтересовался. Привлекло его ощущение святости ритуала – курица шла под нож, как невеста под хупу, в свя-

ценном трепете, без ужаса и страха. Как будто ее ожидало поднятие, возвышение, а не гибель. По хасидуту выходило, что так оно и есть: кошерный забой приносит возвышение тем искрам, которые заключены в физическом.

Славику захотелось научиться шхите и он стал расспрашивать, что надо знать, чтобы стать шойхетом? Ему ответили, что обучиться надо практическим навыкам обращения с ножом, разновидностям захватов и зажимов птицы, обработке точильных камней, всем связанным со шхитой и бдикой(проверкой) законам. Глазомер, хладнокровие, сильные пальцы – у него имелись, и приезжий шойхет, посмотрев, как тот впервые сделал курице «тфису» (захват), не преминул ему это заметить. А недостававшее ему знание законов пришлось приобрести, переехав для этой цели в другой город, где имелся постоянный шойхет. Славик бесстрашно оставил свою работу, нашел в себе силы переменить профессию. Через год обучения и отрыва от одесской жизни он почувствовал себя по-новому, не таким замороженным, усталым, а – вроде как простым, рабочим парнем, эдаким грамотным еврейским пролетарием с прекрасными навыками забоя птицы. Испытывал гордость – профессия ведь важная: связана с халахой, еврейская профессия!

В культурном центре встретил однажды милейшую еврейку, проводил ее пару раз домой после организованной трапезы шабата. Начал за ней ухаживать с соблюдением дистанции, как верующий человек (да он таким уже и был). Она – нерелигиозная. Но, влюбившись, оказалась преданной, приладилась к Славкиным устремлениям. Он изложил ей свои взгляды на жизнь – она не имела ничего против религии. Им справили хупу. Он продолжал в чем-то оставаться прежним, но в основном, в приложении умственных и физических сил, распорядке дня – все согласовывал с Торой.

Порой сбрасывал с себя серьезность, резвился, пересказывал жене чужие остроты, слушал любимую музыку на кассетах, сохранял кое-что из прежних увлечений, хобби, но был очень собран на уроках Торы, а на шхите вообще выкладывался на все сто. Жену любил спокойной и доброй любовью. Когда пошли рождаться дети, то он стал ее еще больше ценить. Но именно ценить, не любить страстно. И он знал, что это чувство

никогда не вернется и не будет им больше испытано – страстная любовь к женщине. И ему не надо было. Он радовался, что может в полной мере проявлять заботу о дочери и ему не мешают это делать, что жена считается и с прочими его привычками, что дом ухожен, что денег хватает и что есть уважение со стороны членов еврейской общины, хорошие хабадские и нехабадские друзья.

Раз ему приснилась Орли. Но не как желанная, а в дымке потустороннего и мистического. Во сне он говорил с ней, с собой, о ней, о себе, то диалогом, то монологом... «Хорошо ли тебе?» – Да. «Простил ли ты мне?» – Да. Все. Кроме того сумасшедшего месяца, за который я сделал скачок в иудаизм и чуть не сломал себе шею... Я помчался за тобой, а ты рассеялась, пропала куда-то... Я обнимал дым. Потом в дыму появились контуры новой жизни. Теперь, знаешь, я выгляжу и веду себя как обычный хабадник, режу кур и здоров душой как никогда. Я рад, что вернул тебе деньги за лечение. Ты была, отказывая мне, права, во всем права. Я не мог тогда стать религиозным и очень хорошо знал это... Я смог сделать это потом – только полностью абстрагировавшись от тебя, намного позже. И в этом есть большая правда. И это – выше земной любви. Когда все у человека – по Торе, то это состояние столь самодостаточно, что уже глупо мечтать о любви. При этом образе жизни получаешь эмоции гораздо более глубокие, чем романтическая любовь, – прочные, цельные, добротные. Я чувствую себя строителем, в то время как предыдущая жизнь была сплошной разрухой.

Как мне нравится чувство досконального выполнения всех заповедей. Как оно плотно и мощно выстраивает изнутри мою личность. Знаешь, если бы я тебя сейчас увидел, я бы даже не поздоровался. Ты – не в числе людей, за которых я отвечаю, ты – чужой человек, если смотреть согласно Торе, и нет никакой причины считать тебя близкой. Было, да прошло.

Растворись же окончательно, Орлик, в сизой дымке, где почему-то плавают вареники и летает белая повариха, где скорая помощь уже ни к чему, а тот рубаха-парень в коротких штанах, который пожирал тебя глазами, теперь убивает с каждой зарезаемой курицей частицу своего чувства к тебе и скоро уже лик-

видирует оное совершенно. Я смотрю на покорную птицу, аккуратно лишаю ее жизненности и при этом думаю – чем, в сущности, я лучше ее и почему имею право это делать? И моя кровь – а жизненность, как известно, в крови – холодеет от мысли, что все мы – в руках Всевышнего, как курица на капорес. А знаешь, дед мой Шрага был красный комиссар: неудивительно, что всего спустя два поколения правнучка его – гойка. То есть моя дочь. Но зато у него есть и новорожденный правнук-еврей – мой сын. Еврей, слава Б-гу, и тоже назван Шрагой. Комиссарские игры кончены, круги замкнулись, я прорвал оборону противника – своей животной души – и забил гол в его ворота. Но... почему-то оборачиваюсь посмотреть, хлопаешь ли ты в ладоши.

Растворись-ка, Орлик, в дымных клубах моей сигареты, пропади, ведь я так хочу быть праведным. Я знаю, прошлое цепко, но и оно высветляется некоторым усилием разума. Раввин говорил – не бери жену на вырост. А я взял. Сам сделал ее религиозной. Потихонечку научил всему, что знал. И я доволен собой и – даже люблю ее, как изделие рук своих. И мы с ней изо дня в день проходим всякие интересные сложности, драматические моменты, которые нас сближают. Мы друзья и партнеры по жизни. Я никогда не смотрю на нее, как смотрел на тебя. Она меня вообще за такого не знает. У нее много замечательных качеств, радующих меня и приносящих пользу семье и обществу.

А ты, Орлик, знаешь меня другим. И этот другой давно зарезан – самой что ни на есть кошерной шхитой. Не стоит над ним плакать. Он был порочный одессит, не плативший долгов. Он работал в конторе, похожей на «Рога и копыта», он грезил Израилем, как Остап грезил Рио, он был побит твоей холодностью, как тот – румынскими пограничниками, и долго полз по снегу обратно в Союз. Понимаешь, о ком я говорю? Ах, Орлик... Но он нашел свой миллион – Тору, он нашел его и даже пустил в дело, стал хозяином большой, большой фирмы, целого завода, целого предприятия. Хозяином самого себя...

Знаешь, я вчера перечитывал Бабеля, думал про Беню Крика и сильно обижался за него и горевал о нем. Ты, конечно, не знаешь, что такое биндюжник. Я не рассказывал тебе о на-

летчиках и конокрадах, потому что ты бы все равно не поняла, только посмотрела бы на меня укоряюще. Знаешь, Орлик, в этих жестоких одесских историях есть столько добра. Какая добрая душа у еврея, если он сильнее всего боится убить человека, совершая бандитский налет!

Еврей играет, еврей резвится. Б-г хочет, чтобы мы были лучше всех, а мы не всегда согласны. И тогда Всевышний делает нас такими, что мы, честное слово, хуже всех. Потому что середины нам не дано. Либо круто вверх, либо отвесно вниз. Вот, Орлик. Я говорю с тобой уже совсем как посторонний человек, просто вижу в тебе умного воображаемого собеседника и при этом приписываю тебе способность меня понять – способность, которой на самом деле у тебя нет. Вообще говоря, я тебя совсем не знаю. Ты получила иное воспитание, читала иные книги, слушала другую музыку, училась в другой школе, где даже мальчишек-то не было, и видела совсем другие взаимоотношения в своей семье, не такие, как я в своей. И ты всегда была чиста и целеустремленна, религиозна и добра. Только поиски любви у тебя оказались немного запутанными. Я заморочил тебе голову. Но видишь – и это привело к выполнению воли Всевышнего в итоге. Ты вышла замуж за русского еврея и благодаря мне теперь можешь поддерживать с ним разговор даже о... 12 стульях. А я бросил богему («беема» – животное, животный образ жизни! Не отсюда ли «богема»?) и твердо встал на ноги как соблюдающий Тору еврей.

Познакомиться с творчеством Эстер Кей вы можете, приобретя ее книги: "Маршал", "Учебник по каббале", "Эстер", "Каббалисты Црфата".

...И вот я прощаюсь с тобой, Орлик. Наша история промелькнула, как одробрной исевадза блегадере биве зало. что твоя правда и те идеалы, которые ты представляла и воплощала, действительно подтвердились потом всей жизнью, всем последующим ходом событий. Если бы не ты, я бы все еще работал в «Мике», ходил в коротких штанах, ел некошерное, пребывал бы в мирке уютных матужков и гариков и не понимал бы, отчего так несчастен.

Нет, я не закрываю глаза и на то, что в религиозном мире тоже не все гладко и что есть всякие люди. Но главное, что свое дело я делаю, от этого на душе спокойно. И моя жена, по сути, гораздо ближе мне, чем был или мог бы быть кто-то другой... просто я в ней так уверен, что моя любовь не вспыхивает, горит

себе ровнехонько и поэтому ощущается как дружеская привязанность. А если бы я имел основания хоть чуточку приревновать ее, я уверен, ощутил бы настоящее пламя. Но не нужно экспериментов! Оставим все как есть и закончим излияния, не будем размазывать белую кашу по чистому столу. Меня ждут куры, которых я должен обработать прилежно и терпеливо – кто знает, быть может, в прошлых жизнях я грешил тем, что, как Паниковский, скручивал гусям и курам голову не слишком вежливо?.. На сем прервались навеянные сном размышления Славика... Он взял точильный камень, провел ножом, приглядевшись и проведя ногтем, уловил на лезвии некое подобие шероховатости... Курица высунулась из ящичка и, вздохнув, расправила крылья. Занятый подготовкой ножа шойхет вызывал у нее чувство доверия, и, глядя в его доброе бородатое лицо, она знала, что зарежет он ее лишь для ее же блага.

Евгений Коган

ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Наше недоумение происходит от того, что мы всегда склонны относиться к бессознательным душевным процессам, как к сознательным, и забывать о глубоком различии обеих психических систем...

Зигмунд Фрейд, «Из истории одного детского невроза»

Не дело, чтоб низшие силы одерживали верх. Должен побеждать разум...

Михаил Зощенко, «Перед восходом солнца»

В кустах игрушечные волки

Глазами страшными глядят...

Осип Мандельштам, «Сусальным золотом горят...»

1.

Сергей стоял перед зеркалом и приглаживал густые блестящие усы. Он посвящал усам много времени. Он знал – люди прежде всего обращают внимание на его усы, и только после этого смотрят ему в глаза, и потому Сергей ухаживал за усами, может быть, даже более тщательно, чем следовало. За усами и за прической – он густо смазывал волосы бриллиантином, чтобы те ложились ровной, аккуратной волной. Люди, которые

встречались с ним, сначала смотрели на его усы, потом поднимали взгляд к его глазам, а видели волну блестящих волос, такую аккуратную, словно она была отлита из гипса самым умелым мастером. Пять лет назад умер его отец.

Сергей часто вспоминал отца. Они редко виделись – детство Сергея прошло под присмотром неграмотной бабки, она была вся седая, с морщинистым лицом очень старой женщины, хотя она не была старой – маленький Сережа не знал, сколько ей лет, но она была много старше его матери, а все женщины старше матери казались ему глубокими старухами. Он любил водить пальцами по морщинам, скрывавшим лицо бабки, которая сидела рядом с ним все его детства, и, когда он трогал эти морщины, глаза старухи лучились слезами. Ее сын умер совсем маленьким, много лет назад, когда Сережи еще не было на свете, и касания пальцев мальчика уносили ее далеко в прошлое. Она любила Сережу.

Сережина мать болела. Женская болезнь – о таком не говорили. Мать была молода и красива, но, ослабленная постоянными недомоганиями, все чаще лежала в кровати в своей комнате. Ее посещали врачи, много врачей. Но иногда она выходила из дома, и как-то взяла сына с собой – она чувствовала себя лучше и провожала доктора до станции. Шел мелкий дождь, Сережа держал мать за руку и старался сохранить в памяти каждую минуту, которую находился рядом. Мать жаловалась доктору, и Сережа запоминал ее слова. Ему было шесть лет, и то, что он услышал, он помнил потом всю жизнь.

Тогда же Сережиного отца начали мучить головные боли. Боли были такими сильными, что, казалось, раскалывали голову пополам, и она лопалась, словно спелый арбуз, а перед глазами плыли радужные круги. Потом головные боли исчезли, и радужные круги тоже, оставив после себя серый мрак. Отец Сережи стал погружаться в этот мрак, и мальчику казалось, что он видит, как мрак сгущается. Однажды он зашел в отцовский кабинет – отец стоял, окруженный этим мраком, и мрак становился все гуще, превращался в кисель, готовый поглотить того, кто внутри, и того, кто снаружи, и весь мир. Сережа так испугался, что потом долго не мог заснуть, а все видел какие-то тени вокруг, и морщинистая старуха, похожая на призрак, гладила

его по голове, ее лицо серым пятном выступало из темноты, и от того становилось еще страшнее, но Сережа боялся сказать об этом, потому что думал – едва он издаст хоть один звук, как мрак, который просачивался через щель под дверью, поглотит его, и, только когда старуха ушла, тихо прикрыв за собой дверь, он всхлипнул, тихо-тихо, а потом провалился в липкий, густой как кисель, сон.

Сережина сестра, старше его на два года, спала в другой комнате, среди ярко разодетых кукол и блестящих с потолка звезд. Она любила этих кукол, любила подбирать им красивые платья, расчесывать их неестественно белые прямые волосы. Она была красивой и упивалась своей красотой. И, вместе с красотой, в ней уживалась такая энергия, какой бы хватило на двоих. Мать и отец удивлялись, откуда в девочке столько энергии, и покупали ей все новых кукол, и она засыпала среди них, таких красивых и ярких, с аккуратно расчесанными волосами, и ее волосы тоже были аккуратно расчесаны. По вечерам она заставляла младшего брата разбирать ее игрушки, аккуратно раскладывая кукол, пока сама расчесывала волосы какой-то одной, на вечер превратившейся в любимицу. Если кукла ломалась, или у нее рвалось платье, или изящная вазочка, стоявшая на полке, словно бы сама падала на пол, своими тонкими, изящными пальчиками старшая сестра указывала на младшего брата, который безропотно принимал наказание за то, чего не совершал, потому что думал, что так устроена жизнь. Сестра засыпала и видела во сне блестящие звезды, и полные синей воды озера, и бабочек, порхающих над цветами. Каждую ночь ей снились цветы и озера, и она улыбалась во сне. Мать и отец говорили, что Сережа должен был родиться девочкой, таким он был тихим и послушным, а его сестра – мальчиком. Они говорили об этом редко, убедившись, что никто их не слышит, но Сережа слышал. Он вообще многое слышал – и запоминал, пока его сестра спала под блестящими звездами или бегала среди цветущих деревьев сада. И в ее комнату мрак из отцовского кабинета е просачивался.

Летом морщинистая старуха исчезла, а незадолго до этого в дом взяли чопорную гувернантку – молодую англичанку, худую, с прямой спиной. Ее бесцветные волосы были стянуты на за-

тылке тугим узлом, а все до единой маленькие, похожие на надоедливых жуков, пуговицы ее жакета были застегнуты. Когда она склонялась над Сережей, чтобы в очередной раз задать ему свой глупый вопрос, мальчик чувствовал застарелый запах алкоголя – не такой, каким пах отец, когда, давным-давно, возвращался из клуба, где проводил вечера с друзьями, а другой, кисло-сладкий, приторный и противный. Гувернантка не любила грустную морщинистую старуху, за спиной называла ее ведьмой, и глаза старухи становились все прозрачнее, а морщины все глубже. Вскоре бабка исчезла, оставив после себя воспоминания об умершем в детстве сыне и сгусток мягкой, податливой грусти. Сережа видел, как этот сгусток медленно плывал по комнатам, на ночь зависая над его кроватью, пока не растворялся в воздухе.

Той ночью мальчик плакал во сне, а потом – не проснулся, но вынырнул из какого-то кошмара, которого не запомнил. Он плакал все утро, не мог успокоиться, и тощая гувернантка ругала его на своем языке. И, незадолго до обеда, Сережа взорвался, разлетевшись по дому крошечными острыми осколками. Он кричал, молотил руками по воздуху, он был уже за тем порогом истерики, когда не помогают ни холодная вода, ни обжигающие пощечины. Он успокоился сам, так же неожиданно, но теперь он был другим человеком – где-то глубоко в нем задела злость.

Он родился в самом конце декабря. В их семье его день рождения праздновали вместе с Рождеством. Рождественский обед накрывали в гостиной, бесснежный мороз за окнами тискал сжимал виски, а свечи гостиной отбрасывали игристые тени, и пахучая елка сверкала серебряными шарами. Сережа всегда получал два подарка – традиционный рождественский и специальный, на день рождения. Это был единственный день в году, когда его безоговорочно любили все, и даже отец, которого мучала бессонница, а в моменты редкого сна посещали кошмары, который почти не ел, лежал в постели, глотал какие-то таблетки, выписанные ему серьезными бородатыми врачами, и становился все бледнее, – в этот день даже отец, сменив халат на выходной костюм, покидал свою пропахшую бессвязными мыслями комнату, чтобы присоединиться к семье.

В тот год, когда в доме появилась англичанка со скверным характером, под Рождество Сережа, как обычно, сидел за столом, в своем самом парадном костюмчике, с красивым бантом, но, в отличие от предыдущих годов, мальчиком уже давно владело дурное настроение. Настроение его окончательно испортилось с самого утра, он словно был опутан дурными предчувствиями. Его мать всю ночь стонала от своей боли где-то в глубине живота, отец утром был бледнее обычного, англичанка так стянула волосы на затылке, что ее виски посинели, и только сестра была, как обычно, весела и довольна – в ее снах серебряные звезды снова отражались в голубых озерах. Но каждым из собравшихся за рождественским столом владели дурные мысли, и даже сестра перестала улыбаться так самоуверенно – Сережа угрюмо оглядывал семью, и свечи отбрасывали расплывчатые рваные тени, которые, переплетаясь, становились похожими на уродливых пауков. Когда настала очередь подарков, и мальчик получил лишь один сверток, не очень аккуратно перевязанный красной лентой, он возненавидел всех, кто был вместе с ним в этой жарко натопленной комнате.

Ночью к нему пришел волк из книги, которой он боялся больше всего на свете. Волк, стоящий на задних лапах, шагнул со страницы, широко разинув пасть, и Сережа закричал так, как не кричал никогда. На крик прибежала англичанка, завернутая в плед и такая бледная, что ее почти не было видно в полумраке комнаты. За англичанкой, едва волоча ноги, явилась мать – ее опять мучали боли, поэтому она была больше занята собой, чем глупым ночным испугом сына. Но первой в комнате оказалась проворная сестра – она увидела орущего от ужаса брата, увидела на полу раскрытую книгу, увидела шагнувшего из нее волка и что-то такое про себя поняла, как раз в тот момент, когда в дверях появилась англичанка.

С тех пор волк с разинутой пастью преследовал Сережу, где бы тот ни был. Он присоединился к другим страшным живым существам, которые, так получилось, начали казаться мальчику опасными. Однажды, в погоне за бабочкой, он засмотрелся на желтые полосы ее крыльев, и внезапно почувствовал такой страх, что у него свело члены, и он, задохнувшись, чуть не упал. Он стоял, дрожал и не мог отдышаться.

Он стал бояться бабочек, он стал бояться пауков и жуков, муравьев и гусениц. Он не пытался победить свой страх – наоборот, отступал перед ним, одновременно мучаясь и получая едва различимое удовольствие. Казалось, без этого страха не существует жизни.

Когда англичанка водила его в цирк, он увидел, как бьют лошадь. Лошадь кричала и пыталась разорвать веревку, которой была привязана, но у нее не хватало сил, а бородатый мужчина с темным лицом продолжал бить ее, и она продолжала кричать, и мальчик, который не мог оторвать от этого зрелища глаз, вдруг тоже закричал, и заплакал, и стал молотить своими маленькими ручками по воздуху – истерика была такой сильной, что Сережу пришлось увести из цирка, и англичанка очень ругалась на своем языке.

Тем же летом Сережа наступил на гусеницу. Он шел по дорожке сада и о чем-то думал, поэтому не заметил омерзительное зеленое чудовище, медленно ползущее куда-то. Он наступил на гусеницу и почувствовал это – почувствовал, что крошечной зеленой жизни, которая еще секунду назад могла угрожать ему, больше не существует. Он поднял ногу и увидел, что на дорожке остался едва заметный мокрый след. Сережа сглотнул подступившую тошноту. Страх не ушел, но мальчик понял, что может причинять боль.

В его комнате было много икон. Его отец, глубоко верующий человек, когда отвлекался от навязчивых мыслей и головных болей, требовал от семьи преклонения перед Всевышним. Матери, занятой женскими болями, было не до молитв, сестру не трогали, чуть ли не ежедневно задаривая куклами, и бремя божественного приходилось нести Сереже. Ежедневно перед сном он брал скамеечку и обходил комнату, останавливаясь перед каждой иконой, совершая молитву и целую святых в их дряхлые лица и пустые бездонные глаза. Мальчик не верил в Бога, боялся и ненавидел Его, представляя всемогущего старика, о котором ему рассказывали, кучей коровьего навоза и приходя в ужас от этих мыслей, которые, как ему казалось, внушал ему дьявол, в которого мальчик тоже не верил. Он старался отогнать от себя дурные мысли, но они овладевали им всякий раз, когда он видел на улице кучки засохших экскре-

ментов, в которых узнавал Святую Троицу, и это пугало его, как и внешний вид безногих, слепых, заживо гниющих калек, раскинувших свои болезни по пыльной мостовой, – в них Сережа видел прямую опасность для себя, потому что верил, что болезни бездомных и нищих могут быть заразны, и тогда он придумал ритуал, призванный уберечь его от болезни – при виде нищих и больных он с силой выдыхал воздух, словно стараясь очистить легкие, оставив внутри лишь звенящую пустоту. Это помогало, но страх не уходил.

Сейчас, стоя перед зеркалом и приводя в порядок и так аккуратные усы, Сергей думал об отце. Он принадлежал отцу – так говорила старуха с морщинами вместо лица: он принадлежал отцу, а сестра принадлежала матери. Сергею это нравилось – он любил отца и прощал ему частые перепады настроения, головные боли, вспыльчивость и то, что большую часть времени тот проводил в своей полутемной комнате, испытывая постоянное раздражение от яркого солнечного света, слишком громких звуков и всего того, из чего состояла жизнь усадьбы. Лишь потом, когда Сереже исполнилось восемь, после сцены в цирке, когда бородатый мужчина с серым лицом избивал лошадь, мальчик почувствовал, что боится отца. Про мать он не думал.

Воспоминания об отце внезапно помутнели и пропали, а вместо них пришли воспоминания о сестре. Сергей явственно увидел картину из собственного детства – вот они, маленькие, сидят на полу в комнате сестры, и сестра рассказывает что-то об одной из служанок, а потом придвигается к брату и засовывает руку к нему в штаны... Сергей поморщился и закрыл глаза, отгоняя навязчивое воспоминание. Но оно не уходило, а, наоборот, становилось все отчетливее и сменилось другим, в котором сестра была голой, она красовалась перед зеркалом, разглядывая себя, а потом увидела брата, который смотрел на ее отражение, и закричала. Сережа испугался ее крика, а она подбежала к нему, голая, и ударила его по лицу, и тогда он тоже закричал и заплакал, и на крик явилась англичанка, которая дала ему пощечину, а потом стала бить его по попе, а он продолжал плакать, чувствуя, как боль обиды уходит, и приходят ярость и страх. Он понял, что ненавидит сестру.

Он ненавидел сестру все детство, боялся и завидовал ей в юности. Повзрослев, сестра стала еще более красивой – она занялась естественными науками, писала стихи, пользовалась популярностью у мужчин и женщин. Сергей помнил, как общался с ней, завидовал ее успехам, ее красоте, ее умению легко сходиться с людьми, ее улыбке, ее светлым, словно позаимствованным у кукол из детства, волосам. Когда во время одной из поездок – кажется, в Германию или в Россию, – она, потерявшая веру в себя, одинокая и несчастная, свела счеты с жизнью, приняв какой-то яд, Сергей, к собственному ужасу, почувствовал, что ему не жаль сестры, скорее, наоборот, он рад, что ее больше нет. Он никому не говорил об этом чувстве и ненавидел себя за него, но все равно, даже спустя годы, ощущал удовлетворение. И не мог простить отца, которому нравились ее стихи.

Сергей стоял перед зеркалом. Его ухоженные усы блестели, прическа была словно отлита из гипса рукой мастера. Сергей глубоко вдохнул и шумно выдохнул воздух, стараясь освободить легкие, чтобы внутри ничего не осталось. На мгновение ему стало легче, но потом его опять, как всегда, накрыла волна тревоги и беспокойства. Он посмотрел в зеркало. Из зеркала, широко разинув пасть и горя красными воспаленными глазами, на него шагнул огромный волк.

2.

Миша сидел на подоконнике и смотрел через мутное стекло на улицу. Стекло было непрозрачным из-за дождя, который мелкой моросью уже третий день царапал город. «Нечего и говорить, что подобные настроения или проповедь подобных настроений может оказывать только отрицательное влияние на нашу молодежь, может отравить ее сознание гнилым духом бездейности, аполитичности, уныния... – слова стучали в его висках сгустками затвердевшей крови. – А что было бы, если бы мы воспитывали молодежь в духе уныния и неверия в наше дело? А было бы то, что мы не победили бы в Великой Отечественной войне. Именно потому, что советское государство и наша партия с помощью советской литературы воспитали нашу молодежь в духе бодрости, уверенности в своих силах, именно

поэтому мы преодолели величайшие трудности в строительстве социализма и добились победы над немцами и японцами...» У Миши дрожали руки. Он ждал ареста.

В нем сложно было узнать бывшего солдата, хотя армейская выправка сохранилась, как и любовь к порядку. Чемодан, стоявший у Мишиных ног, был собран аккуратно, ничего лишнего: шерстяные носки, носовые платки, свитер грубой вязки, бумага, карандаши. Он знал, что бумагу и карандаши отнимут, но отказаться от них не мог. Даже уезжая в эвакуацию из охваченного немским голодом города, он упаковал с собой тетради с рукописью незаконченной книги – тридцать тетрадей, восемь килограммов, пришлось отрывать коленкоровые обложки, чтобы взять в самолет еще хоть что-то, но все равно получились эти злополучные восемь килограммов, и уже там, в эвакуации, Миша очень сожалел о сделанном выборе. Правда, книга получилась, и теперь он ждал ареста – в том числе и из-за нее.

Он не думал о писательской карьере – в детстве он с восторгом наблюдал за марширующими солдатами в красивой военной форме, а потом, когда началась война, и сам стал солдатом, через год оказавшись на фронте. Во время обучения – сначала в военном училище, потом ускоренные курсы, потом обязательная штабная работа, – он приобрел солдатскую выправку и уважение к внешнему виду. Всегда аккуратно одетый, гладко выбритый, причесанный, с большими глазами и светом, словно исходящим от его лица, всегда с прямой спиной, с боевыми наградами и ранениями, он безоговорочно приветствовал крушение старого мира и остался на фронте – уже на другом, но все на том же. От красивой военной формы остались лишь воспоминания, вся жизнь теперь была покрыта пылью долгих дорог и ржавчиной людского горя. От военного училища сохранилась лишь осанка, которую не смогло согнуть даже тяжелое отравление газами и приобретенный порок сердца. Только теперь приходилось чаще, чем раньше, переводить дыхание.

В детстве Миша не мечтал о военной службе. Счастливое детство сулило счастливую юность, и подростком Миша не пытался размышлять о будущем. Но потом, вместе с черными снами, пришла скука – скука и меланхолия. Миша много читал, но везде видел обман. Его любимый Кант твердил о том, что

меланхолия сулит думы о возвышенном, или что там он твердил, но вместо возвышенных грез приходили кошмары, или страх, или бессонница. Миша повесил над столом строки Софокла – кажется, Софокла:

*Высший дар нерожденным быть,
Если ж свет ты увидел дня –
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись родное небытия...*

В лоно вернись родное небытия, в лоно вернись родное небытия, небытия, небытия... Небытия...

Потом была война, газы, сердце, боль, снова небытие – Мишу не покидали мысли о смерти, вернее, о конечности жизни. Он видел слишком много смертей вокруг, слишком много крови, слишком много боли и страдания. И даже не думал о том, чтобы быть писателем. А потом пришли врачи.

Врачи окружили Мишу со всех сторон, словно почувствовав в нем потенциальную жертву – он ею и был, этой самой жертвой, готовой на все, лишь бы избавиться от болей, скорее, фантомных, чем реальных, хотя сердце, и правда, ныло и не давало заснуть – или оно болело от того, что сон не шел, от того, что Миша ворочался в постели, отгоняя навязчивые мысли, или задыхался во сне от фантомного газа войны и слышал рык большого зверя, который подбирался все ближе и ближе. Небытие, небытие...

Врачи лечили водой. Они были уверены, что водой можно смыть грязь и боль войны, поэтому главным советом дипломированных специалистов было – больше пить воды, чаще мыться, принимать ванны и отдыхать – отдыхать, чтобы забыть. И Миша ездил – на море, поближе к солнцу, подальше от страшных воспоминаний. Но вода не помогала.

Однажды, Миша как раз принимал очередные солнечные ванны на каком-то курорте молодой страны, он познакомился с человеком, узнав в нем себя. Себя, которому было еще хуже, – из одежды его новый знакомый предпочитал петлю, с помощью которой пытался сбежать от поглощавшей его тоски. Мише тогда показалось, что он нашел выход, вернее, что они вместе найдут выход – они будут разговаривать, беседовать, искать ответы на вопросы, которые мучали обоих, и справятся, спра-

вятся наконец с небытием, которое, кажется, поглощало все вокруг, которое затягивало, словно болото. Болото... Миша вырос в городе, который стоял на болоте и уходил в него, возомнив себя Китежем. Но город стоял на своем болоте, и небытие тоже никуда не уходило. А новый друг оказался пустым, словно мыльный пузырь, только без красивых радужных разводов. К тому же, он много курил, заставляя Мишу задыхаться.

Небытие не отпускало. Мерзли руки – чудовищно мерзли руки. Юноша, перенесший все тяготы войны, не мог выжить в мирное время – он страшно худел, он был даже не бледен – он был сер, как никчемная мышь, которую гонят веником с барской кухни, он совсем перестал спать, а когда засыпал, задыхался во сне. И тогда он просыпался, но ему снова не хватало воздуха, – в большом городе, охваченном новой жизнью, Мише не хватало воздуха для вдоха, а перед глазами клубился дым воспоминаний. У него было счастливое детство. И теперь он боялся смерти.

И тогда он стал писать. Он не хотел быть писателем, писатели были совсем другими – они были свободными людьми, красивыми и молодыми, они много курили, много говорили, они справлялись с небытием, в которое уходил город и мир. Миша был не таким, его лицо казалось слишком светлым, а глаза слишком большими. Но он много читал, он очень много читал – возможно, больше, чем все эти писатели, которые населяли город, уходящий под воду. А потом начал писать. Но он никогда не хотел стать писателем. Слова, черными буквами проступающие на белых листах бумаги, были способом справиться с небытием – возможно, не лучшим способом, но о существовании другого Миша не подозревал. И он стал писателем.

Сейчас, сидя на подоконнике, он смотрел вниз и видел, как город уходит под воду. Он уже давно это видел – еще в эвакуации он вдруг почувствовал, что и его город, и другие города, и весь мир уходят под воду. Сейчас, сидя на широком подоконнике и прижав раскаленный лоб к холодному стеклу, он осознал это физически – он в буквальном смысле видел воду, под которую уходят его город и весь мир.

Снизу слышались чьи-то шаги – Миша вздрогнул, потому что, то ли задремав, то ли задумавшись, он не заметил, как в

парадное кто-то зашел. Сердце сжалось от предчувствия беды. Шаги снизу медленно приближались, стало трудно дышать, а сердце, только что отдававшееся эхом в висках, вдруг замолчало, затаившись. Мимо прошел мужчина в костюме, у него было знакомое лицо, с его зонта капала вода. Миша кивнул ему вслед, но мужчина, казалось, даже не заметил серого человека, который сидел на подоконнике. Мише на мгновение почудилось, что он стал невидимым, но это было не так. Он бы очень хотел стать невидимым, но он знал, что это невозможно. «Только подонки литературы могут создавать подобные “произведения”, и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход...» Только слепые... Город слепых людей... Небытие...

Он сидел на подоконнике уже несколько дней. Дней? Или недель? Он не помнил, он потерял счет времени. Сразу после того, как он услышал эти слова, он пришел домой и собрал чемодан. «ЦК уверен, что недостатки в работе ленинградских писателей будут преодолены и что идейная работа ленинградской партийной организации в самый кратчайший срок будет поднята на такую высоту, какая нужна сейчас в интересах партии, народа, государства...» Бурные, продолжительные аплодисменты, все встают.

Миша знал, что за ним придут, и не хотел, чтобы его застали врасплох. Он пришел домой и достал с антресолей чемодан. Он задышался, он пытался не заплакать, он старался сохранить армейскую выправку. Он посмотрел в зеркало и на мгновение увидел себя в детстве – слишком большие глаза, слишком светлое лицо, потом по зеркалу прошла взволнованная рябь, и он увидел себя сегодняшнего – бледного, изнуренного, с потухшим взглядом, на войне он выглядел лучше. «Краше в гроб кладут», – кажется, так могли бы сказать герои его рассказов. Он помнил, что его любили. Он стал шевелить губами, вспоминая людей, которые его любили – которые могли бы сохранить эту любовь. Потом отошел от зеркала и стал собирать вещи. Шерстяные носки, носовые платки, свитер, бумага, карандаши, карандаши заберут, ну, ничего, все равно стоит попробовать, главное – чтобы его не застали врасплох, чтобы его не поднял с постели назойливый, в ключья рвущий перепонки стук в дверь. Он прошел войну, он был в мертвом от голода городе, он вывез

в эвакуацию тридцать тетрадей, которые чуть не убили его тогда, а теперь пытались довершить начатое, и он не хотел, чтобы его застали врасплох.

Он не хотел возвращаться в квартиру, теперь его вполне устраивал подоконник – слишком широкий и слишком высокий, ноги не доставали до пола, чемодан неподъемным грузом стоял где-то внизу. Миша не хотел возвращаться в квартиру, которая уже ушла в небытие, теперь ему хватало и подоконника.

Он боялся тигров. В детстве, когда мама водила его в цирк, он стал свидетелем страшной сцены – огромный тигр рвал зубами кусок сырого мяса, и кровь капала у него из пасти. Миша плакал, его пришлось увести из цирка, но тигры стали приходить по ночам, голодные тигры с воспаленными волчьими глазами, эти глаза всегда наблюдали за ним, не давая перевести дыхание.

Миша все время слышал далекий рык – вот и сейчас... У него дрожали руки и слезились большие глаза, которые стали еще больше из-за болезненной худобы. У него уже нет света в лице, его лицо больше никогда не будет таким светлым. Люди отвернутся от него. Город уйдет под воду. Надо сохранить осанку. У него было счастливое детство. Вон, внизу остановилась какая-то машина – ее плохо видно из-за дождя, но он все равно видит ее, эту машину. Миша стал задыхаться. Только бы они не застали его врасплох.

«Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения?» В лоно вернись родное небытия...

3.

Вокзал шумел толпой. Молодой человек со светлыми лицом и большими грустными глазами, расталкивая плечами снующих туда-сюда людей, протискивался по платформе. Его выдавшая виды шинель была в пыли, сапоги его были давно не чищены, а за спиной болтался мешок с нехитрыми пожитками. Лицо молодого человека было бледным – несмотря на то, что прошло уже немало времени, он все никак не мог прийти в себя после сердечного приступа – результат тяжелого отравления газами, – который поставил точку в его армейской жизни. Он думал о

мирной жизни, славе писателя и куске хлеба, потому что ничего не ел уже больше суток – поезда ходили без расписания, и он, боясь отстать, почти не выходил из вагона.

Он уже почти достиг конца платформы, когда внезапно шум стих. Молодой человек остановился. Вокруг него все также сновали люди, они толкали его и что-то говорили, недовольные тем, что он вдруг остановился. И, одновременно, он был не здесь. Нет, конечно, он оставался на платформе, только людей вдруг стало меньше, и все они были красиво одеты, и вокзал возвышался над ним, околдовывая своей имперской роскошью, не тронутой ни временем, ни обстоятельствами. Почувствовав чей-то пристальный взгляд, молодой человек оглянулся и увидел мужчину, лет на десять старше его. У мужчины были блестящие, слишком ухоженные усы и волна волос, словно отлитая из гипса рукой мастера. Мужчина стоял, в его руках был дорожный саквояж, лицо его сковывала бледность, а в глазах застыло беспокойство. На мгновение они встретились взглядами, и молодой человек поразили боли, застывшей в глазах мужчины с усами. Потом мужчина глубоко вдохнул, чтобы тут же громко выдохнуть, словно пытаясь освободить легкие, избавиться от воздуха и от всего, что мучило его. В его глазах молодой человек увидел застарелый страх – страх, к которому привыкаешь, потому что он становится частью жизни. Он увидел страх, а еще он увидел свое отражение – серая шинель, усталые глаза, запах долго путешествия. А потом он увидел – не увидел даже, а почувствовал, – как его накрыла тень огромного волка с разинутой пастью и красными воспаленными глазами. Молодой человек вздрогнул, зажмурился, а когда открыл глаза, его снова окружала бессмысленная суতোлка куда-то спешащих людей. Молодой человек повел плачами, словно ему внезапно стало холодно, или просто прогоняя морок видения, и двинулся дальше, в большой город. Впереди была долгая счастливая жизнь.

Необходимое послесловие

Замысел этого рассказа появился после прочитанной 24 августа 2016 года в книжном магазине «Бабель» (Тель-Авив) лек-

ции режиссера РАМТ Рузанны Мовсесян «Другой Зоценко». Текст основан на реальных событиях, вернее, на двух других текстах, которые можно считать документальными: первый – «Из истории одного детского невроза» Зигмунда Фрейда, второй – «Перед восходом солнца» Михаила Зоценко.

В тексте Зигмунда Фрейда речь идет об одном из его пациентов, Сергее Панкееве (1886-1979), помещике из Одессы; в книге «Из истории одного детского невроза» Фрейд не называет Панкеева по имени, а дает ему прозвище – Человек-волк.

Над автобиографической повестью «Перед восходом солнца» Михаил Зоценко (1894-1958) работал много лет, и именно ее, вместе с рассказом «Приключения обезьяны», упоминал секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов в выступлении по поводу Постановления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Отрывки из этого выступления цитируются в рассказе.

Зоценко, увлеченный трудами Фрейда, наверняка читал «Из истории одного детского невроза». Прямых упоминаний этой книги в его текстах нет, но в автобиографическом сборнике «Леля и Минька» литературоведы находят много пересечений с книгой Зигмунда Фрейда, о чем подробно изложено в статье Марии Котовой «Психоанализ и поэтика. Как сделаны детские рассказы Михаила Зоценко».

Сергей Панкеев и Михаил Зоценко никогда не встречались.

ПОЭЗИЯ

Ирина Каренина

ПОДАЛЬШЕ ОТ ДУРНОЙ ЛЮБВИ

* * *

Так ли, эдак, жива ли, едва ли,
Нелюбима, любима – один
Знает Бог, как стишков трали-вали
Домотали до ранних седин.

С неба облако сыпалось мелом
И тоской на затылок и лоб:
Голова моя мечена белым,
Горло полно обидой взахлеб.

Что тебе-то, дурак-пересмешник,
Сердца глупость, прощенное зло,
Мой седой, мой собачий лобешник,
Золотое, как время, чело!

* * *

Ну, создал дурой Бог соседку по купе
С обкромсанными флоксами в ведерке,
Из каждой чепухи творящую ЧП,
С лицом ржаным, подобно хлебной корке:

Так ситный, подгорев, рыжеет, ноздреват,
Так баба деревенская алеет,
Кричит проводнику, ссылается на блат –
Оставь, она иначе не умеет,

Лишь сына теребит – полей, мол, огурцы,
Терзает внучку драмой огородной,
И все-то у нее в округе подлещи,
А я и вовсе признана негодной.

Нам ехать только ночь, но, ненависть соча,
Дурной язык старухи быстро мелет –
И всем уже невмочь, попутчики молчат
И стелют подорожные постели.

Ни чаю выпить, ни в окошко поглазеть,
Ни на халат сменить тугое платье –
Сидеть, и от тоски и гнева розоветь,
И ждать Москвы, как снятия с распятья.

На фоне прочих бед, конечно, чепуха –
Тетеха, что бодливая корова,
И злых ее словес нелепая труха,
И неудобь передвижного крова.

«Пройдет, пройдет, пройдет...» – стучит, скрипит вагон,
Старуха смотрит в спину ядовито,
Когда ты покурить уходишь на перрон,
Случайно дверь оставив приоткрытой.

* * *

Переболею – и кончится, и уйдет
Вместе с простудой мутная пустота.
Лед на моих ладонях, и в горле лед,
Сердце и то – расколотый кубик льда.

Переболею – и выживу, не умру,
Заново буду учиться – любить, дышать...
Все, что забыла, вспомню и вновь сотру,
Выдам бумаге белой, карандашам,

Выпотрошу (пусть томит и зовет тоску),
Выпишу в столбик – и тут-то ему хана:

Все, что угодно, идет на прокорм стиху,
В топку души – на вечные времена,

Где кочегарит Бог, где немой пожар –
Только затем, чтобы в ночь выкликать слова.
Переболею – утихнут озноб и жар.
Буду жива.

ПОЛНЫЙ РОТ ПЛАЧА

1.

Набрав полный рот плача,
Молчала, глаза пряча,
Вздрагивала горячо,
Утыкалась в плечо...
Помнишь, как это было?
Подруга постель стелила,
Полыхала белым зима,
Печаль сводила с ума –
Платье нелепой кройки,
Города чужие и койки,
Понимающие друзья,
Мука: все это – я,
Руки мои под ветром,
Поезда-мои-километры,
Дороги-твои-мосты...
Счастье мое: ты.

2.

прокляты трижды проводы и провода...
Валентина Беляева

Боль – не порок, а тоска – беда,
Все бы ей убивать.
Долгие проводы, звезда в проводах,
Расстеленная кровать –

Чужая, с чужим и белым бельем,
Полные губы слез,
Да – по одной – на плечо твое...
Ноябрь к нам с тобой прирос,

Полные руки его щедрот,
Выронишь – так держись.
Лед мой оттаивая рот в рот,
Что ты давал мне – жизнь?

Что бы там ни, я еще дышу.
Солью семи потов
На языке своем дорожу,
Крестом из многих крестов,

Воздаянием за и памятью о,
Лучшим, что было здесь.
Так вот и помню тебя всего.
Так вот и снишься – весь.

* * *

Дернешь подальше от этой дурной любви –
Рук этих, губ и взглядов исподтишка,
Мысленно загадаешь: «Останови!»
Будет сосать под ложечкой: в дураках
Только б не оказаться в десятый раз,
Ибо вся жизнь твоя глупость и чепуха.
Что тебе надо от этих прозрачных глаз?
Кутайся в зиму, в сугробы ее, меха,
Меньше и больше все это того, что ты
Вынести можешь, не изменяя в лице.
Тихо качнешься на краешке пустоты:
Только б, сорвавшись, не умереть в конце,
Заново крылья вырастить из спины,
Вместо сожженных выстроить корабли...
Только бы те, кого все-таки ждешь с войны,
Хоть бы к кому, но живыми с нее пришли.

Ольга Журавлева

СОЛЬ

Ещё не прокричали петухи,
А свет уже забили перекрёстно,
Возможно – так рождаются стихи,
На стыке светотьмы ещё не поздно.
Возможность растопить невнятный сон
В безвыходности прожитой вечери,
Вот так и Он, уже приговорён,
В первоначальность сущего поверив,
Один в пустом запущенном саду
Бродил тяжёлой думой огорошен,
Толпой бредущих в сумрачном бреду,
На многие столетия отброшен.

Вот так и мы – тщеславием вольны,
Влияние вселенной отменяя,
Пытаемся вскочить на горб волны,
Горбатости своей не понимая.
И сбрасывая невозможный груз,
Безмозглой плоти, жаждущей удачи,
Брезгливо разрывая сей союз,
Солёными слезами волны плачут.
А потому, что вовсе не по ним,
Халявы приобщённая забота,
Тяжёлых дум прозрачноризый дым,
Трудов земли без крови или пота...

МАСТЕРСТВО

Ещё предполагала вьюга на мир обрушиться стремглав,
Когда тотемная зверюга периметром перешагав
Свои полночные волнения, дневную тень пересекла –
Подзацепило вдохновенье узором стылого стекла.
Пока пространство не накрыло от стужи помертвевшим сном,
И желтоватый свет уныло фонарь-удильщик под окном
Льёт, не печалится об этом двором переходящий кот,
Зрачком, прищуренным к рассвету предчувствуя круговорот
Событий доблестных и славных на грани скованных снегов,
Трусит маршрутом своенравных, не чувствуя иных шагов.
А ночь тиха, и только ветер от облаков простор раздув,
Пузырь Луны над миром вертит как виртуозный стеклодув.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ

Танец сброшенных покрывал
Завораживал, зазывал
Похотливым тягучим тлением –
То застенчиво отнимал,
То предательски обвивал
Тело пламенем исступления.

Жарких жестов призывный шквал
В чёрством мягкое донимал
Грациозней змеиной скрытости,
И пылал вожделенный взор
Искушений вкусив в упор
В пресыщенье не зная сытости.

И сгущался над головой
Вакханалии тяжкий вой
В перегаре сандала с мускусом.
И слагался порочный круг
Из девичьих распутных рук
Умощённых недетским умыслом.

Танец сброшенных покрывал
Только мёртвый не понимал,
Смертный, бледный, перетекающий,
Не сумев обуздать порок,
Отрешённо молчит пророк
В обречённом своём пристанище...

ЕДИНСТВО

Пуповину Луны затянула потуже Земля,
Да на ниточку, к пуговке Мира за шапки высот.
Словно с ярмарки радужной беглую призрачность дня
Раскрасневшийся в праздном усердии кто-то несёт.
И звенят в вышине обжитые пустые миры,
Отражённым свечением звёзд подтверждая своё,
И на пуговках держат свои голубые шары –
Отголоски космических саг про чужое бытё,
Красных, жёлтых, зелёных, холодных – других –
Дивным множеством радуги радуя глаз.
И откуда-то сверху устало взирает на них
Продавец запредельных уму невесомых прикрас...

ДОГМА

Художник не грунтующий холста
Рискует растерять и всю палитру,
Пока многозначительность чиста
Калитка в перевозданность приоткрыта.
А там за безграничностью такой
За вопиющей праздностью надежды
Угадываешь жесточайший бой
На равных демиурга и невежды
Один стремится миру доказать,
Что на износ работает натужно,
Другому, ни прибавить-ни отнять,
И ничего доказывать не нужно.
Один весь свет издёргает мольбой

И жалобными просьбами о Музе.
Другому по пути с самим собой –
Он сам с собой с рождения в союзе.
И жизненно звучат из-под пера
Надмирные отточенные звуки.
И голубя посредством топора
Умелые вытёсывают руки...

ОСКОЛКИ

Посвящается Марии Юдиной.

Обуглившись до чёрного сарказма
Слежавшись до осинового гнезда
С заштопанных знамён энтузиазма
С печалью смотрит тусклая звезда.
Осыпавшиеся, ничуть не колки,
Золотошвеей скрученные в нить,
Былой красы застывшие осколки
Навряд ли кто-то в силах оживить...

Иль бархата владением утешась
В пыли самозабвения веков
Необъяснимо с небосвода спешась
Не растеряв блистающих оков
Предназначенья гордого вкушая
Музейной боголепной тишины
Царит к себе иных не допуская
И за собой не чувствует вины...

ИМЯ ЖЕНЩИНЫ

Рах deorum

Несущая конструкция времён
Модель несуществующего мира
Под голубым гипнозом Альтаира

Владеющая множеством имён.
Загадка, что ответом антипод,
Задумка неуверенного Бога –
Всегда по кругу дальняя дорога,
Всё время с возвращением уход.
Не тайная – таинственная роль
Могущественней зова насекомых –
Владычица аллюзией влекомых,
Икона, источающая боль...
Волчица окровавленным клыком
Терзающая стонущее чрево...
Елена... Шуламифь... Мария... Ева...
Вскормившая планету молоком...

ПАРТИЯ

Кому расшифровывать правила древней игры,
Где честная белая пешка уже не нужна –
Когда изучаешь забытой Вселенной мира
Погода на улицах мира не так уж важна.
За этим стоять и стоять вездесущим богам,
Своих пантеонов собой пополняя ряды,
Намеренно свесив приманку удачи рабам
За вечные эти земные земные труды.
А где-то на грани где небо врезается в твердь,
Где чёрный самум засыпает уснувших в пути,
Сидят за решающей партией рыцарь и смерть
И думает каждый о том – как удачней пойти...

Игорь Губерман

ПОВОРОТ СУДЬБЫ

Очень горек судьбы поворот,
но кого призову я к ответу?
Ибо старость – она уже вот,
а обещанной мудрости – нету.

Я жил, как сущий обормот,
не слушал умного совета,
но был не жлоб я и не жмот –
спасибо генам хоть за это.

Бегут года, скудеет хилый ум,
душа намного меньше разговорчива,
и суетного мира вечный шум
доносится до уха неразборчиво.

Я виски пил под винегрет,
потом я съел сырок под виски,
и тут раскрылся мне секрет:
у Бога я не в общем списке.

На закате воеет ветер,
море плещет океанно,
очень жить на этом свете
хорошо и океанно.

Увы, но я думаю часто про это
и даже порой говорю:
последняя в жизни моей сигарета –
когда я её закурю?

Что нет меня, сухая весть
растает в воздухе мгновенно,
и все продолжают пить, и есть,
и трахаться самозабвенно.

Лишась высоких побуждений,
что характерны для юнца,
я много низких услаждений
вкусил по милости Творца.

Когда вокруг тепло и сухо,
достаток выпивки и песен,
то пир восторженного духа
всегда особенно телесен.

Я дарю свои книги друзьям,
выражая любовь и почтение,
не дарить их поскольку нельзя,
хоть и нету надежд на прочтение.

Кого всё время жадность гложет,
его мне очень жаль, беднягу –
он очень искренне не может
ступить без выгоды ни шагу.

Давили землю сапоги,
и шли поработители;

то Русь калечили враги,
то собственные жители.

Я вечером люблю смотреть кино,
при этом выпивая понемногу,
мне вечером на два часа дано
унять мою стабильную тревогу.

Мы склонны разделяться на команды –
по взглядам, по характеру, по разуму –
активно мы сколачиваем банды,
и просто называем их по разному.

Пускай с годами чахнет либидо,
а в мире правят прохиндеи –
со дна того, что мною выпито,
всплывают дивные идеи.

Я живу не празднично, но праздну,
чужды мне и левые, и правые,
и во мне журчат разнообразно
мысли то бредовые, то здоровые.

Кто за это должен быть в ответе? –
думает на небе грустный Бог:
самый страшный хищник на планете
слаб, некрупен ростом и двуног.

Являя сметку и проворство,
мы вечно в жизни что-то ищем,
в нас существует ген обжорства,
влиятельный не только в пище.

Ни с кем успехами не мерясь,
легко бренчу на хлипкой лире
и всё сильнее впадаю в ересь
дурного мнения о мире.

Все мысли куцы и обрывочны,
и смысла общего не видно,
и так они порою рыночны,
что мне перед собою стыдно.

Нет, я подолгу не грущу –
я знаю свой урок:
в тоске я сразу же ищу
стакан, бутылъ, сырок.

Мир не только театр, но и рынок –
два великих устройства мирских,
между ними глухой поединок
совершается в душах людских.

Безмолвствуя в позе покорства
и глядя ораторам в рот,
высоким искусством притворства
владеет забитый народ.

День не напрасно пролетел,
растаял и истёк:
я никаких не сделал дел,
но я стишок испёк.

Был наш век по особому скроен,
мы не слишком себя берегли:

чтобы рай на земле был построен,
миллионы под землю легли.

Когда вижу я звёздную россыпь
и луны удивительный свет,
утихает жестокая поступь
наступающих старческих лет.

Вторую мы бутылку почали
и бродим вилками в капусте,
и в мире снова нет печали,
тоски, предательства и грусти.

С одной мыслишкой нынче засыпаю –
о жизни и гулянии по ней:
что я песок мой старческий всыпаю
в песочные часы судьбы моей.

Все на свете иудеи,
самый щупленький еврей –
поддержатели идеи
об особости своей.

Пронзительные волны русской речи,
не слушая ничуть ничьи суждения,
во мне ревниво душат и калечат
убогие иврита насаждения.

Вдруг являются прежние боли –
только ночью: в каком-то бреду
снится мне, что я снова в неволе
и уже из неё не уйду.

Ел я устриц, креветок, улиток,
даже ел я лягушечью ногу,
и когда бы не Божий напиток,
я бы хрюкал, зайдя в синагогу.

Я сегодня думаю о бреде
многих исторических трудов:
в мире нет и не было трагедий,
где б еврейских не было следов.

Люди все живут прекрасно,
занимаясь жизнью личной;
одному давно всё ясно,
а другому – безразлично.

Тираж у бумажных понизился книг,
читают теперь со стекла,
а я-то к бумажным душевно привык –
у стёкольных нету тепла.

Когда плету я ахинею –
притом осознанно вполне,
то я от этого умнею
и лучше думается мне.

Везде, где дряхлеет система,
и явственен дух разложения,
всплывает еврейская тема
как выход из положения.

Я могу защищать моё мнение,
проявляя упорство активное,

но при этом нисколько не менее
я готов утверждать и противное.

Я жил в тюрьме, и в лагере, и в ссылке –
на пользу это всё пошло здоровью,
и я навек имею предпосылки
любить отчизну странною любовью.

Повсюду нынче много информации –
притом она всё гуще и упорней –
о некой хитроумной очень нации,
которая везде пускает корни.

Поскольку наша жизнь полна превратностей,
и волчий у фортуны аппетит,
предчувствие туманных неприятностей
меня порой изрядно тяготит.

Без тени стыдного смущения
уверен я, свидетель века:
кто счастлив от порабощения,
ещё не вырос в человека.

Бредут людские караваны,
большой идеей облучённые,
хотят земной достичь нирваны
бедняги эти обречённые.

Когда я на свою смотрю коллекцию,
висящую на стенах стайкой тесной,
то чувствую душевную эрекцию,
угрюмо вспоминая о телесной.

На склоне лет совсем не в тягость
отсутствие любых желаний,
я ощущаю Божью благодать,
когда лежу я на диване.

С меня смахнули пыль и плесень,
пить попросили в малых дозах –
я разговорчив был и весел,
а гости спали в разных позах.

Сомнением томится старый мерин:
езде то показуха, то игра,
и полностью ни в чём я не уверен –
сегодня ещё больше, чем вчера.

Поймут потомки, чья вина,
и страшно от того,
что сеет семя сатана,
а мы растим его.

В моё заветное шитьё
добавил я стежок –
впустил на долгое житьё
ещё один стишок.

Сегодня я в настрое элегическом
о предках размышлял в моём колене:
на древе этом генеалогическом
был некто с уникальным даром лени.

Живу сейчас рассеянно и дрябло,
в гостях то утомительно, то пресно,

одно лишь только чувство не ослабло –
что жить на свете этом интересно.

Мне холодно и тягостно зимой:
не то чтоб я в тепло душевно врос,
тому виной запомнившийся мной
сибирской зоны лагерный мороз.

Калечат лёгкие и сердце
моё курение и пьянство,
а если зорче присмотреться,
я отравляю и пространство.

Влюблённость – яркая утеха
в пути злокозненном земном,
мы добиваемся успеха,
чтобы потом жалеть о нём.

Земля мне вряд ли будет пухом,
но есть бессмертия залог:
стишков моих солёным духом
почистить можно котелок.

Память гаснет, как оплывшая свеча,
что забылось, то осталось неизвестно,
внук убитого и внучка палача
затевают нынче свадьбу повсеместно.

Так на небе милосердно решено:
чтоб не чувствовать душевной маеты,
большинство людей навек заключено
в скорлупу своей уютной темноты.

Александр Беляков

ТЕКСТЫ 16 ГОДА

подопытный болеет опытом
согласно первородным признакам
свернёт направо – станет роботом
налево – обернётся призраком
так битым делают небитого
четырёхмерные скитания
внутри простора неевклидова
смирительного как литания
попробуй избежать подпития
когда без всякого хотения
кривятся люди и события
под тёмным гнётом тяготения

* * *

в полночных залах
всегда по двое
вампиры смотрят кино немое
не ржут
не треплются
не зевают
безмолвно голод претерпевают

* * *

свадьбу справляли тридцать лет и три года
тлела зима когда начались поминки
с кухни вернулась краденая невеста
съела конфетку и обернулась ведьмой
хмурые предки с погоста пришли за водкой

на смерть стояли в подсобке тесть и свидетель
важность воздуха – семьдесят пять процентов
всё остальное – важность крови и почвы
вышел жених отдышаться и заблудился
виды вокруг чем далее тем пустыней
редкая тень перебежит дорогу
горизонт состоит из трещин
здравствуй худой мешок оскудевшей жизни
нам ли тебя вопрошать по поводу шила
если оно и так торчит отовсюду
просит начать сначала

* * *

ровно гудит генератор покоя
честная песня стесняется речи
солью земли перекормлен улов
входит воитель в costume изгоя
чаёт по-гречески чаю и гречи
скудное слово понятно без слов

* * *

перекрёстная вербовка
им конфуз и нам неловко
кто кого перековал?
чей безжалостней провал?
по утрам у агентуры
раздвоение натуры
пол-лица на пол-лица
заговариваются

но восходит издалёка
родовая подоплёка
будто слёзы или смех
враз уравнивает всех
помоги остаться в нетях
принимая тех и этих
в беспартийной нагоде

я – и эти

я – и те

* * *

безлюдные поля безмыслия
бескрайние леса бесчувствия
долевое безучастие
сердца ночи тишины
через поляну пробежало существо истины
жизнь усмехается в помехах как в мехах
минувшее мерцает как эпоха

* * *

оглянешься в прошлое –
как я всё это выдержал?
заглянешь в грядущее –
как я всё это выдержу?
так и вертишь башкой
добела накаляя подушку
о рай без памяти –
проснуться в настоящем!
довольно всякому пню
своей зевоты

* * *

в наши церебральные сады
мертвецы пришли из темноты
по демисезонному уму
дружно разбрелись по одному
иероглифическим лицом
светятся под каждым деревцом
не пытайся спрятаться от них
мёртвые живее всех живых

* * *

в роще подлежащих и сказуемых
пастбище вещей недоказуемых
лежбище чудес ненаказуемых
статикой фонетика не мается
развернётся и опять сжимается
с елисейским ветром обнимается

* * *

над полями реет белорыбица
ласковая точно богородица
светом наливается и лыбится

* * *

паданцев быстрые па
тучного ветра одышка
пугливая каста листвы
шелест небесных снастей
скрип земляных якорей
тихая песнь энтропии
зоркому сердцу
осеннее солнце
шепчет «живи»
музыка смолкнет
и музыкой станет
отсутствие оной

можно подумать
что всё состоялось
но лучше не надо

* * *

бог тишины отразится скоро
в зеркале мёртвого монитора
да не нарушит его тирада
сон телефонного аппарата
перебери секунды как чётки
перехитри режим перемотки
неповоротливо время кое
ищет покоя в чужом покое
так в закоулках пустых отелей
ватой становится эпителий
чтобы очнувшись под тёплым кровом
хворый почуял себя здоровым

* * *

слепой приводит домой
женщину-невидимку
жадно вдыхает её присутствие
внимает звуку совлекаемых одежд
начинает ласкать
и не верит собственным пальцам

им не обо что споткнуться
не во что погрузиться
поверхность анонимной наготы
всюду равна самой себе
как будто надувная
тогда он в отчаянии
пытается целоваться
и не находит её лица

* * *

захлопнув мою грудную панель
лечащий мастер подвёл итог:
процессор пожирают вирусы
оперативка не оперативна
периферия теряет свойства

но самое главное – вышел из строя
блок душевного равновесия
выход всего один
радикально упростить схему
замкнуть концы напрямую
через час интенсивной терапии
он оставил на блюде
ностальгический дух канифоли
и курган упразднённых деталей

освобождённый от лишнего
я навзничь упал на диван
и заснул с открытыми глазами
абсолютно счастливого человека

Илья Риссенберг

Пятая свеча

сквозь венозную дряблую пропись днепровские древности
глазомер перепёлки мертвець неотрывной мездры
и проклятья всецелого мира порукою верности
да мерцала бы взглезь биография детской игры
кроме искры в юдольном застолье ой вусмерть сокрою тьму
цельнокроенный опыт скрижальный разбита семья
послужила погасла и тленью светильному стройному
проливать неизбывное горе увы-бытия
неотымно с богемой бегомые бедоимущие
до свиданья добытчица млечная трель богачи
на интимное темя имён обратимые в будущем
где кричма на везде и нигде прилетели грачи
реактивная мегаломании дальняя линия
ни малейшего траура картовый шлейф матерей
вдохнови мя молитвенный тикр амальгамою инея
и за малую вотчину смертью твоей и моей
у тебя зоремётом прошиты заочные зошиты
хоть на утреню первой седмицы куда ни ушла
муштровать незаможных заносчивой хижей ну что же ты
и вторичная шторе сиротской душа весела

Перед молитвой

Спорт и политика внемлют ставкам
В небо седьмое вздымая купол
В зале хоральном гвалт

С-хватка за старое Только вас там
Видеть немое и думать глупо
Дома ли голова
Слово на-верное-горе Ною
Солнцетрясенье Овал этрога
Третий растёт из двух
Плоймя планида волна войною
Вырвал таблички из рук пророка
Сам абсолютный Дух
Цельносердечность одров подробных
Первосвященству вернула лишь бы
До/м/лг/у верна с Торца
В дар анфиладою недр надгробных
Светом вечерним всё ниже ближе
Каменный /ли/ве/к Творца
Тянутся годы изъять кому-то
Списочный код но куда подеть им
Селфи святых имён
Казней миньяну одна минута
Братьям по крови по праву детям
Славить живой Закон

* * *

Отведённая месту живому сужается суша
И по мере посмертного самоотвода весь ужас
Сегодняшний воду от воздуха предостерёт
Нисходя покрывало слепого зеркального л/и/ы/ка
Привиденью покойного вскользь отзывалось Владыка
Во р/ж/в/ах /ноче/почи/вало реальное зрелище грёз
Шевельнётся покутная слава покупки дешёвой
И разрывы душевные разве что сварки бесшовной
Скорбит огрубелая копия Дерабанан
Травмаря за-по-тело стеклыни тремтит крометочье
Искушеньем кукушки меч-тает мертва в камертоне
Скользит по губам гардероба скелет горбуна
Идеалы эпох полыхали бытийною Книгой
Хоронился от лагерной гибели ветхой обыгой
Шести трудодням богоданный Адам хаРишон

Поглощённое небом безоблачным эхо отвесно
Онеславлено самоотверженно инословесно
Впервые послышалось шороху Всё Хорошо
Супер

БЕЗДОМНОМУ АЛЕКСАНДРУ НА ЖИЗНЬ

с божеством кукушат векованье
нуждачное в чуженовости
множество аки слёз в океане
якшается в одиночестве
выдрало из парижа клоаку
натыренное излишество
скорчило пожилую собаку
на ровде рыдмя мальчишество
лапушку самогубец дворняжка
давай поживай за минимум
ныне же неумерший близняшка
по счастью неумолимому
свыше те путешествует символ
сапфирный огненаводчики
шастье нам посошок на мусиев
напёрсток треклятой водочки
примем брань матери безобманной
покинутый аки дома я
миною недовзорван сплунь манной
небесная македония
карта что твой географ горбата
работать и думать нечего
брат всем ближним молвит за брата
помилованья сердечного
наживо отошли в идеале
неведенья про неделанье
снашивал на втиши одеяле
воленье первопоследнее
шаткие да не валкие ёлкипалки
отъёкнулось вавилоново

свиток самоподобранной свалки
на царствие златословное

* * *

Брось престольные законы, взысующие тайн,
В не/п/б/осильную погоню...: о Господи, отстань!
Станет времени смириться, как смертник оросит
Берег /р/т/исовый, – смотришь я, как ситник моросит.
Краше каждая одёжка, короче бытия
Непутёвая дорожка, хорошая моя!
Круче Киева-Батыя, бандеровцу без ног
В руку ивушка-Атиква и тыквенный этрог.
На-планируя-с-планеты Престоле пересесть
В полусферные ланиты, исхлётанные вкресть.
Ни наивную эпоху, ни ивовую плеть
Не отпустит оплеуха Повинному во смерть.
И продавликает ровду кора-блик на двоих
Вдоль по Матушке по роду сугробников Твоих.

* * *

1

Война – вершина дней торжественных:
Да встрепенётся млечный Страх,
Чьей алчности кошерный жертвенник
Пинает женщина в сердцах.
Иссякнет скот, Престол опустится,
Алтарь захватит хищный зверь –
На что же дочь: не спит заступница
Скитаний, проторей, потерь!
Отмерена покою низкому
И приступу, ничком под стать
Ночному взойку материнскому,
Присутственная благодать.
Осенних снитий царство пресное
Зарубцевало Б-жий свет –
На облако семинебесное
Лучистый радугой завет.

Подобострастен вражьей прозою
Нестройных глин, полнощье вточь
По ангеличному прообразу
Возобно(в)ляю нищетой.
И вниз по матушке по реченьке,
И сокрушенью заподлик
Еврейской музыки варенички
Ревнивый вызнали язык.
Дубильны идолы искусные,
Днипром утоплен фимиам
Из талмудической дискуссии
О праведнице Мириам.
Любите ближнего, уродливы
К-оружью,-гр...адовы! – едва ль
Позвольте мне вдоволь, проводы,
В родную вглядываться даль.
Чело навечно угощается
Отменной столью золотой,
И в милом сердце мысль сгущается
Неу/м/т/олимой темнотой.

2

полнолуние хлеба тощего
получатель плачет нем
путемлечное сообщество
полюднело ни за чем
ах любовь моя венчальная
верить боже упаси
русь надежды и отчаянья
неве-личка в небеси
сознаваемые тучами
в свете сеянном извне
зречья дочерна обучены
вечно мёрзлой белизне
пни тропинку женской ножкою
ах мой праведник умо(л)к
и ещё немножко о(й)каю
днепр ничком и невдомёк

жизнью тёртому оконышку
первотрепетный дымок

* * *

Вернитесь из вечности, вещие птицы,
На верную гибель в бригадную голь
Украины, керувы восточной границы,
Чьё тайное имя Фантомная Боль!
Последними силами призванный воин,
Хранящими верность в неравном бою
Войне Третьехрамовой, мобилизован
Служитель всегда – и везде-бытию.
И время врагам растеряться, стереться:
Захмарная згинка, незримый снаряд
Творимых миров, материнского сердца –
И вот уже нелюдь, бездушья смердят.
Послушать их вопли, воистину дивно
Величье злотерпца: приемли, уволь –
Носящего втайне во имя Единства
Единое Имя – Фантомную Боль!
Горит Откровенье Синайской вершины,
И Хортицы вглубь – характерников Рух,
Возводят с-воители гимн Украины
На к-ноты огнём окровавленных рук.
Для пуль бесполезен планетный посредник,
Сквоженье скрижальное в жилах храня,
На небо вече-рнее в силах последних
Соб-рать полководцев победного дня.
Израиля стан, опалённого Слухом,
Тем более гибели фотоальбом
О постном, блокадном, от голода пухлом,
Ковёр-вертолёт – кроветворной пальбой
В подземку эпох, совпадающий пухом
С обыгой земною, и с Богом, и в бой
Бригада из рая! Эй, адовы, ухнем,
Фонтан тополиный, Фантомная Боль!

Виктор Голков
СЛАВЯНСКОЕ

1

Парусина листвы шелестит о своём и при штиле.
На оконном стекле отпечаток забвенья и пыли.
Время точность утратило, нет больше тонкости строгой,
Есть лишь чёрный будильник в пространстве каморки убогой.

Вдруг, повисшие в трансе , качнулись вперёд занавески.
И деревья, и город в окне, как старинные древние фрески.
Слышен ложек трезвон и ленивое звяканье блюда,
И горячие капли в желудок таинственный льются.

Может так же и в прошлом, забытом, ушедшем и старом,
Лился жгучий свинец на заливки свирепым татарам.
Может так же он лился и в глотки, пронзённые болью,
Пополам с кипятком, вперемешку с кровавою солью?

Как понять это время, загнавшее даты и страсти
В перламутровый вечер, разбивший пространство на части?

2

Боже, карающий и всемогущий,
Словно в подарок за грубую лесть,
Дал нам и воздух, и хлеб наш насущный,
Чтобы дышать, любоваться и есть.

Стали иконы от времени чёрными
И золотыми – верхушки церквей.

За облаками и высями горными,
Видно, забыл ты своих сыновей.

Нам и одетыми быть, и обутыми,
В каждой пылинке надёжность любя.
За месяцами, часами, минутами,
Видно и мы позабыли тебя.

Знаю, когда-нибудь выйдет назначенный
Срок, и скорбя мы на землю падём,
Чтобы молить, тыщекратно растраченный,
О милосердьё твоём.

ОСТРОВ СИРЕН

«Я вам повторяю: безумие это заразно,
ладонями уши от всякого звука замкните.
Меня не жалейте, вы к мачте меня привяжите –
хочу испытать я жестокую силу соблазна.

... вот странное чувство меня целиком охватило:
восторг и блаженство, печаль, обречённость, кручина.
Повеяло холодом – словно сырая могила
объятья свои раскрывает морская пучина.

Морские бродяги! Хочу я продать мою душу!
Бессмертная слизь, на разлуку с тобой уповаю!
Проклятую сказку про всеми забытую сушу,
где так и не умер – про Итаку я забываю».

Он больше не стонет, молчит безучастно и скорбно,
лишь насквозь от пота промокла льняная рубаха.
Хоть солнце в зените, но море по-мёртвому чёрно.
Лети, наше судно, от этого острова страха.

* * *

Церковь – белая невеста,
Век неведомо какой.

В переулках Бухареста
Время трогаешь рукой.

И когда проходишь мимо
На дряхлеющих домах
Спит оно несоскоблимо,
Как безумие в умах.

Тихо крестятся в трамваях
И в автобусах, – везде.
Там история прямая
Преломилась, как в воде.

В глубине его кварталов,
Где угрюмы этажи,
Длинный свиток распластала
Повесть истины и лжи.

Как под линзой телескопа
Померещилась живьем
Вся восточная Европа
В гордом сумраке своем.

* * *

Дождь прекратился,
стало светлей.
В плоть воплотился
мокрых полей.

Желтые краны
с лапами вкось,
как истуканы
вместе и врозь.

Черный кустарник,
ржавый песок.
Ветер-напарник
наискосок.

Жили, как крысы,
в тысяче стран.
Здесь кипарисы
и мертвый коран.

* * *

Там, где пыль на всех предметах
и один большой хамсин,
в черных стоптанных штиблетах
прихожу я в магазин.

И охранник, сгорбив спину,
смотрит в рваный кошелек:
что там – пуля или мина,
или яда пузырек?

Видит желтые монеты,
три ничтожных пятака.
Так чего опять на дне ты
ищешь, жадная рука?

Не араб я, это видно,
и не слишком-то богат.
РОЗА ДЯСТ
“ИМПЕРАТОРЫ И ЕВРЕИ”
Потому мне и обидно,

что ты мне не веришь, брат.

Главный сюжет книги – еврей в политике римских императоров. Суть ее – защита императорами еврейских религиозных традиций, что не мешало грабить евреев налогами и нещадно давить еврейских повстанцев.

В этом тихом, непрестанном гуле
Сны твои плывут
Книга состоит из научно-популярных очерков, основанных на документах и новейшей научной литературе. Каждый очерк – увлекательный рассказ из древней
Как тебя зовут?

еврейской истории.

Если враг к тебе подкрался ловко

В дьявольных салогах,

Издательство “Москва-Иерусалим”, 2013, 210 страниц.

Не услышишь, как вздохнёт винтовка

В четырёх шагах.

Обращаться к автору.

Тел. 054-7231203

Ничего не сделать, не исправить,
Смыслу вопреки.

А письмо домой к тебе отправить –
Это пустяки.

* * *

Бессмысленно, пожалуй,
судьбу без толку клясть.
Как лист несешься палый,
но разве это страсть?

И это вряд ли мука,
знакомая вполне.
Скорей всего, лишь скука,
осевшая на дне.

И нет опорных точек,
лишь темная вода,
да пара тонких строчек,
такая ерунда.

Виктор Хатеновский

В САРАТОВ, К ТЕТКЕ

* * *

День груб, нервозен, обездвижен.
Сдружились с пылью ордена.
Взрывная терпкость спелых вишен,
Как лоб, к руке пригвождена.
Вгрызаясь в чувственную мякоть
С восторгом бешеным, готов
Конквистадор смеяться, плакать,
Пешком отправиться в Ростов,
В Солнечногорск, в Саратов к тётке,
В прохладный сумрак, в синеву –
Чтоб где-то там без слёз, без водки
Из сердца выскоблить Москву.
Октябрь. Слякоть. Листопад
Флиртует с ветром. День обвалом
Надежд отмечен... Двое спят,
Укрывшись плотным покрывалом.
Ночная мгла не так страшна
Содружеству... В застенках рая
Жена, как смерть, ему нужна;
Ей нужен муж, как боль зубная.
Так – было, есть. Так будет впредь.
Вновь умертвив в октавах звуки,
Она рискует – растолстеть,
А он – состариться от скуки.

* * *

Передёрнув затвор беспросветной печали,
К ремеслу пристегнув взвод соломенных вдов,
Как младенца, шесть дней в колыбели качали
Расторопные улицы злых городов
Неустроенный быт, заскорузлость... Саратов,
Красноярск, присмирив кверху поднятый кнут,
В обездоленность лиц, в заторможенность взглядов
Даже видимость жизни уже не вдохнут.

* * *

Мгла простёрлась над табло,
Подтверждая многократно –
Здесь, бесспорно, не тепло,
Здесь по-взрослому прохладно
В межсезонье. Здесь с утра,
В борозду вгрызаясь просом,
Смерть впускает медсестра
К пехотинцам и к матросам.

* * *

С утра расцвела придорожная ива.
Возможно, чужую предчувствуя боль,
Природа сегодня так красноречива,
Что я над собою теряю контроль.

Забыты тревоги, бег в поисках хлеба;
Надуманый страх безвозвратно исчез.
Мне только бы видеть бездонное небо,
Рассвет и с туманом флиртующий лес.

Тадеуш Гайцы

С польского, переводы Александра Ситницкого

СКАЗКА

В гробу расписном Император Китая
смежил глаза, косые, как лодки,
волнистые косы в руке сжимая,
власы охраняли олени малютки.

слезы последние падали долу,
черный монашек склонился над лентой,
когда в башмачках небесных Лойола
еле стояла, плакала горько.
локон легкий Лойолы, легкий локон
к мертвому кимоно прижимал император,
и звенел колокольчик лилейной пряди
о, Лойола, Лойола, Лойола!
Будто зернышко риса, листик чая,
дождика капля, но прозрачней и легче.
ах, как играла она ночами
жезлом его больше самой игруньи!
песни из шелка пела такие,
что соловей внимал ей в клетке,
а Император, луны желтее,
щурил глаза, косые, как лодки.

пальцами локоны перебирая,
в гробу расписном остывало тело,
а Лойола

– с мандарина сдирала шкурки.

СКАЗКА ВТОРАЯ

Кони градом буланым
двоили топот в подобья –
а над ручьем за семью лесами
белопенные руки мыли
бледные пани
обуянные скорбью.
В ушах у них по семь радуг
семь сумерек над ресницами
в лесу за семью горами
над сонной водицей.
А в покоях стеклянного замка
у колон задумчивых цветы увядали,
воском стекая ярко
над гробом.
Яблоко в нем лежало
морщинистой лица,
душок был такой мощный
что прикрывали очи
стражи дворца.

А за окнами светлыми
на стульчиках золоченных
семь горбунков следили за поплавками –
фарфоровые короны склонились
пред паннами, обуянными скорбью.

* * *

Б. Лесьмян

Переводы А. Ситницкого совместно с Е. Калявиной

Есть я...

Есть я во мраке этом земном, и там еще есть я
В шуме звезд, в божьем тумане, где я не уместен,
Где воздух, сном дрожа на устах, играет нами,
И сам я все дальше и дальше за этими снами.

К себе я иду отовсюду, везде ожидаю себя я.
Тут я как песня спешу, там медлю, губы сжимая,
И, как молитву, я ту от скорби отторгнув, укрою,
Что сбываться не хочет, желая остаться собою.

* * *

Когда я несу страду своей жизни лесу,
Лицом не похож на того, кто лесом вскормлен.
Вижу, как бездна, скуля, мечется бесом,
О сучья ранил бескрайние свои скорби.

Сотрясаясь в зеленом, полном росы плаче,
Ужасаясь близости неба ли, смертной тоски ли,
О чём – неизвестно, не может она иначе –
На землю пасть, руки крестом раскинув.

Не зная, как должно спать, снов каких ради,
Болью принохиваясь – яра ли, лога ищет,
Ненадолго в покое забыться, с миром ладя,
Под безмерность свою приспособить жилище.

Чую голод босой ее, чую нагое отчаяние,
Бездомность ее, сколь бы листья ни шелестели.
Сквозь мутные стёкла рос предстаю очам её,
Кем-то иным – не тем, кто на самом деле.

* * *

Тадеуш Ружевич

1

в гостинице

жаворонок заливается

¹ В усадьбе в Смелове, где Мицкевич останавливался во время тайного приезда в великопольские земли в 1831 году, была служанка по фамилии Тястовська – «Тястося», в обязанности которой входило только приготовление кофе

на струне
под потолком
человек качается
черный
дни миновали
осенние зимние
весенние
есенина
слишком далекие
как туманность
как старомодная
страсть к женщине этой
губы которой
садились в ладони поэту
зыбкие губы
как мотылька крылья
ничто не вечно
и минуты сплыли
прекрасно
и страшно

2 щепка

В Смелове
Тястося¹
варит кофе
и аромат его дивный

² Адам Мюл – вымышленное имя, под которым Адам Мицкевич скрывался от прусской полиции.

³ Констанция Любеньська – подруга Мицкевича, сестра хозяйки дома, в котором он останавливался в Смелове. Некоторые исследователи утверждали, что именно она послужила прообразом Телимены в поэме «Пан Тадеуш».

⁴ Баублис – легендарный громадный 1000-летний дуб, посвященный славянским богам, служивший предметом религиозного поклонения, воспетый Адамом Мицкевичем в поэме «Пан Тадеуш»

струится по дому
господ Костоловских
от дуба Мицкевича
осталась щепка
щепка
из которой вырастает
за окнами дуб
мхом бородатый
пять столетий на шею
взвалил горбатый
я глаза закрываю
слышен скрип половиц деревянных
это к пану Мюлу²
крадется ночью
пани Констанция³
я усмехаюсь
не дай Боже подумать
чего плохого
после... Адам хотел
причислиться к сану духовному
на ладони щепка от дуба
ни ствола у дуба ни кроны
за окном шелестит дуб зелёный
живой могучий Баублис⁴
в дупле его недюжинном
веками долблённом
могли за ужином
двенадцать сойтись
к столу как в просторном доме
возвращаю щепку
сжимаю ладонь
выхожу
перебежал мне дорогу
кот учёный
падают листья с дерева
и меж временами препоны

3

при свете ламп чадящих

при свете ламп чадящих
мир выглядел иначе

лица живых умерших
и спящих
затылки сонные
головы юные друг к другу
склоненные

при свете ламп коптящих
человек был домашним уютным
крепче в радости
глубже в грусти
тени метались
отступив возвращались долгие
слова были теплее
тише
дом покачивался
уплывал с колыбелью и гробом

при свете ламп чадящих
бесконечность была конечна
время очерчено
замкнуто пространство
четырьмя стенами
только глаза закроешь
тут же очутишься

в четвертом измерении
только откроешь двери
тут же окажешься
на дороге в Эммаус

⁵ Бруно Шульц (1892–1942) — польско-еврейский поэт, художник, литературный критик родом из Дрогобычей, застреленный нацистским офицером во время оккупации.

заедает он печеную рыбу
хлебом и медом

жизнь проживалась
бредя спотыкаясь

при свете ламп керосиновых
когда завели часы и
на стене начертались знаки
рисованная поэзия Бруно⁵
Мане – Текел – Фарес

об этих лампах
чуть ли не все знал
поэт из Дрогобыча
«чуть ли не»
ведь всего никто
знать не может
ни о своем рождении
ни о смерти

когда я о нем думаю
и о его книге
вижу его
при свете лампы коптящей
с растущей тенью
простреленной головы
на стене

НОН-ФИКШН

Петр Люкимсон

ПОСЛЕДНИЙ БЕС

Жизнь и творчество Исаака Башевиса-Зингера
Литературоведческий роман

Глава 1. «Час зачатия я помню не точно...»

Согласно старым добрым канонам литературной биографии, эту главу следовало бы начать словами: великий еврейский писатель Исаак Башевис-Зингер родился 14 июля 1904 году в Радзимине в аристократической еврейской семье.

Но проблема заключается в том, что мы... не знаем точно, когда именно родился Башевис-Зингер, да и весьма приблизительно представляем себе, в каком географическом пункте Польши он появился на свет. И, таким образом, даже с самим фактом его рождения связана некая тайна.

В одних биографических справочниках в качестве места рождения будущего писателя называется небольшой городок Радзимин, в других – крохотное еврейское местечко Леончин, а в третьих и вовсе родина его деда со стороны матери Биллгорай.

Следует признать, что все три эти населенных пункта в равной степени могут претендовать на место рождения одного из самых загадочных писателей XX века.

Сам Зингер в книге «В суде моего отца», этого романа в новеллах о своем детстве и отрочестве, утверждает, что родился он на самом деле в Леончине, а в регистрационные книги вместе с младшим братом Мойше был записан уже после переезда семьи в Радзимин – отсюда, дескать, и берет свое начало вся

эта путаница.

Но если это так, то невольно возникает мысль об ошибочности того, что Зингер родился в 1904 году, как это значится в радзиминских архивах.

Весьма вероятно, что данное событие на самом деле произошло двумя, а то и тремя годами раньше. В те времена евреи вообще предпочитали заносить сыновей в запись актов гражданского состояния как можно позже – с тем, чтобы их реальный возраст превышал «документальный», пытаясь таким образом отложить на как можно более поздний срок призыв ребенка в армию. Благодаря этой уловке, многие еврейские юноши к моменту призыва были уже женаты, и это обстоятельство автоматически освобождало их от армейской службы.

Версия о том, что Исаак Башевис-Зингер на самом деле родился не в 1904, а в 1903 или 1902 году, впервые возникла у автора этих строк еще в начале 90-х годов, сразу после прочтения все той же книги «В суде моего отца». Думаю, у любого ее читателя невольно возникает ощущение, что автор (если считать эту книгу почти документальной автобиографией) был не по возрасту развит и смышлен, и именно так – как к куда более старшему по возрасту – к нему относятся родители. Если же принять во внимание временной сдвиг в один-два года, то все становится на места. Будущий писатель при этом по-прежнему предстает вундеркиндом, но все, что он рассказывает о себе, звучит уже куда более правдоподобно, чем рассказ о семилетнем мальчике, шутя осваивающем сложнейшие религиозно-философские тексты или отправляющемся по соседям собирать причитающиеся его отцу деньги.

Подтверждение этой версии я нашел в книгах официального биографа Башевиса-Зингера Пауля Креша и его секретарши и помощницы Дворы Менаше-Телушкиной – оба они утверждают, что на самом деле Башевис-Зингер родился 21 ноября 1902 года.

Как бы то ни было, со всей однозначностью мы можем сказать только одно: Исаак Зингер действительно родился в начале XX века в Польше в аристократической еврейской семье.

Его отец Пинхас-Менахем-Мендель Зингер был урожденным коэном, то есть потомком священников, служивших в Иеруса-

лимском Храме, и, одновременно, вел свой род от самого царя Давида: к этому легендарному еврейскому царю восходила родословная знаменитого «варшавского мудреца», рабби Иссерлиша, автора книги «Святое послание», внуком которого и был Самуил Зингер – отец Пинхаса-Менахема-Менделя Зингера.

Познания Самуила Зингера во всех областях иудаизма были столь велики, что при желании он с легкостью мог получить место раввина в любом городе Польши. Однако вместо этого прадед писателя предпочел посвятить свою жизнь изучению Каббалы – еврейского мистического учения, призванного постичь высший, тайный смысл Священного Писания.

Большую часть своего времени дед Исаака Башевиса-Зингера проводил в сосредоточенном погружении в каббалистические тексты, посте, молитвах и каких-то тайных подсчетах (видимо, как и многие каббалисты того времени, он пытался вычислить время прихода Мессии). Таким образом, все заботы по обеспечению семьи и ведению хозяйства легли на мать Пинхаса-Менделя – Тэмерл (Тамар). Впрочем, достаточно пролистать книги Мендель Мойхер-Сфорима, Шолом-Алейхема, Иццока-Лейбуша Переца и других классиков еврейской литературы, чтобы убедиться, что таком порядке вещей евреи того времени не видели ничего исключительного.

«В те годы, – писал сам Башевис-Зингер, – считалось вполне нормальным, что женщина рождает и воспитывает детей, готовит, ведет хозяйство, да еще и зарабатывает на жизнь. Наши бабушки и не думали жаловаться – наоборот, они благодарили Господа за то, что Он им дал в мужья ученых людей. Ближе к старости, когда бабушка уже не могла кормить семью, мой дед, наконец, согласился стать раввином».

Черты этого деда писателя легко просматриваются в его гениальном рассказе «Плагатор», а в сыне главного героя рассказа, тоже каббалисте и раввине, угадывается незадачливая и, одновременно, величественная фигура отца писателя раввина Пинхаса-Менахема-Менделя Зингера.

Незадолго до своей смерти Самуил Зингер сжег все свои сочинения, но те, кому довелось прочитать сохранившиеся чудом несколько листков из них, утверждали, что они были поражены глубиной и смелостью его мысли, открывающихся на них вели-

чайшими тайнами мироздания.

Жена Самуила Зингера Темерл также происходила из знаменитого раввинского рода, но, пожалуй, куда более знаменитой, чем все эти раввины, была ее мать Гинда-Эстер. Подобно всем другим еврейским женщинам того времени, Гинда-Эстер вела хозяйство и держала лавку по торговле ювелирными украшениями для того, чтобы прокормить семью. Однако одновременно эта женщина превосходила многих мужчин в знании не только Торы, но и Талмуда, а также еврейского религиозного законодательства – Галахи. Познания ее в этой области были столь велики, что, по словам современников, когда Гинда-Эстер пришла на прием к знаменитому раввину Шалому Бельцеру, тот лично предложил ей сесть и о чем-то долго с ней беседовал. Это была неслыханная честь, так как, по понятиям того времени, женщина вообще не имела права садиться в присутствии раввина, а тот, должен был, не глядя на нее, выслушать тот вопрос, с которым она к нему пришла, дать ответ и как можно скорее с ней распрощаться. Ну, а в присутствии такого великого авторитета, как Шалом из Бельца, стоять полагалось исключительно всем. Предложив Гинде-Эстер сесть, рав Шалом-Бельцер, таким образом, отдал ей дань уважения за ее глубокие познания в Торе, признал ее равной себе.

Кроме того, Гинда-Эстер явно была в определенном смысле феминисткой и никак не вписывалась в представления своего, да и сегодняшнего времени о глубоко религиозной еврейке. К примеру, она не только, как заправский раввин, принимала жен-

¹ Бес-дин (идиш; на иврите – бейт-дин) – еврейский религиозный суд при рассмотрении дел руководствующийся еврейским религиозным правом

² Арн-койдеш (арон ха-кодеш, букв. Ковчег Завета) – специальный ларь, в котором в Иерусалимском храме хранились Скрижали Завета с 10 заповедями; затем – специальный шкаф в синагоге, предназначенный для хранения свитков Торы.

³ Мезуза – пергаментный свиток с написанными на нем двумя отрывками из Пятикнижия в металлическом или деревянном футляре, прикрепленный к дверному косяку в домах ортодоксальных евреев.

щин и давала им советы по ритуальным и другим вопросам, связанным с соблюдением заповедей иудаизма, но и постоянно надевала поверх платья малый талит – специальную нательную рубашку с кистями цицит, которую носят только мужчины! Уже сам этот талит на женщине был по тем временам вызовом принятым нормам – и немалым вызовом!

Я намеренно столь подробно останавливаюсь на фигуре прабабушки писателя Гинды-Эстер, потому что именно она (а не знаменитая Люблинская дева, как часто принято думать), по всей видимости, и послужила прототипом образа Йентл – героини одного из самых знаменитых рассказов Башевиса-Зингера.

Черты Гинды-Эстер легко просматриваются и в образах некоторых других эпизодических героинь писателя – например, в образе прабабки Асы-Гешла – главного героя романа « Семья Мускат ».

Пинхас-Менахем Зингер в итоге оказался достойным потомком своих предков. Он рано проявил выдающиеся способности в изучении Торы в том широком смысле, который вкладывался евреями в это понятие. Он блестяще овладел всем корпусом текстов Священного Писания (ТНАХА), а также многочисленными комментариями к ним; был великолепным знатоком Галахи; столь же хорошо знал все трактаты Талмуда и большую часть времени посвящал анализу талмудических текстов, отсекая из них все новые и новые искры мудрости.

При этом Пинхас Зингер долгие годы был совершенно оторван от реальной действительности, не имел никакого понятия ни о коммерции, ни о каких-либо других областях жизни, и не

⁴ Хасидизм – мистическое течение в иудаизме, основанное после краха мессианского движения Шабтая Цви и резни евреев, устроенной казаками Богдана Хмельницкого. Основателем хасидизма считается ребе Исраэль Бен Элизер (1698—1760) из Меджибожа. Хасидизм обычно противопоставляется литовскому (митнагедскому) направлению в иудаизме. В отличие от последнего он ставит религиозный экстаз и непосредственный мистический опыт выше как талмудической учёности, так и аскетических практик Каббалы.

знал никаких языков, кроме идиша, иврита и арамейского. Вдобавок ко всему, он никогда не носил никакой одежды кроме традиционного еврейского лапсердака, так как считал, что еврей ни в коем случае ни в чем не должен походить на неевреев.

Будучи мастером литературного портрета, Башевис-Зингер часто придавал наиболее любимым своим героям внешние черты отца, и уж, само собой, они без труда угадываются в облике тщетно соблазняемого бесом раввина из «Тишевицкой сказки»:

«Окошко в бес-дине¹ раскрыто. Все, как положено: арн-кой-деи², книги, мезуза³ в деревянном футляре. Раввин, молодой человек с русой бородой, с голубыми глазами и рыжими пейсами, с высоким, в залысинах, лбом, сидит на своем раввинском стуле, кисэ-рабонес, углубившись в Гемару. Он при полном облачении: ермолка, пояс, филактерии, цицес...»

Согласно семейному преданию, отец Зингера был самым настоящим «маменькиным сыночком». После того, как почти все рожденные Темерл дети умерли, а оставшиеся в живых предпочли заняться торговлей и не оправдали ее надежд, всю свою любовь Темерл обратила на младшего сына, искренне веря, что он воплотит в жизнь ее самые заветные чаяния и станет знаменитым раввином. Темерл откровенно баловала Пинхаса и тряслась над ним, так что даже в жару он по настоянию матери ходил с перевязанным шарфом горлом. Пинхасу-Менахему было уже больше 20 лет (весьма солидный возраст для еврейского жениха), когда родители решили посватать его к Батшебе – дочери знаменитого билгорайского раввина Якова-Мордехая Зильбермана.

Это опять-таки было совсем необычное для того времени сватовство. Необычное, хотя бы потому, что проводшие всю свою жизнь в Томашове родители Пинхаса-Менделя были верными последователями хасидизма⁴, в то время как билгорайский раввин считался его противником.

Но нужно признать, что и Батшеба была не совсем обычной, даже необыкновенной для своего времени еврейской девушкой. Она не только знала иврит, но и могла, как уверяет Башевис-Зингер в своих автобиографических книгах, цитировать наизусть целый куски из ТАНАХа и Мишны. К 15 годам она прочла все книги в обширной отцовской библиотеке, то есть была

для своего времени и круга чрезвычайно образованной особой – ведь, в отличие от юношей, образование девушек у евреев, как правило, ограничивалось умением читать на идиш да знанием четырех действий арифметики. И, вдобавок ко всему, она считалась первой красавицей в Билгорае!

Когда 15-летнюю Батшебу спросили, с кем бы она хотела познакомиться – с сыном нищего каббалиста из Томашова, или богача из Люблина, – девушка задала тот вопрос, который был для нее главным: а кто из них учнее, то есть кто из этих двух претендентов на ее руку более сведущ в Торе? И услышав в ответ, что «томашовский», заявила, что желает для начала познакомиться именно с ним, и, если он придется ей по душе, то она выйдет за него замуж.

Когда же высокой, стройной Батшебе Зильберман представили полноватого, рыжеволосого Пинхаса-Менахема с его вечно перевязанным шарфом горлом, который, вдобавок, оказался ниже ее ростом почти на полголовы, многие думали, что смотринами все и закончится. Однако, вопреки этим мрачным прогнозам, молодые люди понравились друг другу, и дочь билгорайского реббе подтвердила свое согласие на свадьбу.

Так был заключен брак, в результате которого на свет появились сразу три знаменитых писателя, и один пусть и совсем не знаменитый, но самый что ни на есть настоящий раввин, закончивший свои дни в степях Казахстана, куда он был сослан как «служитель культа».

Так родилась еще одна еврейская семья, которой большую часть жизни пришлось терпеть голод и лишения, но в которой духовные и нравственные идеалы всегда ставились выше материального благополучия. И, как отмечают все биографы Зингеров, несмотря на то, что старшие дети Пинхаса-Менделя и Батшебы, писатели Исраэль-Иешуа Зингер и Эстер Крейтман, еще в молодости отошли от религии, оба они до конца жизни, порой сами того не сознавая и не желая, сохраняли верность тем принципам, которые восприняли в родительском доме.

* * *

Те же биографы любят заострять внимание читателя на том,

что родители Исаака Башевиса-Зингера не только внешне не подходили друг другу, но и обладали совершенно разными характерами и различными взглядами на жизнь.

Пинхас-Менахем был, дескать, типичным рохлей, романтиком, человеком не от мира сего, не знавшим ничего, кроме своих книг, и вдобавок легковым и склонным к мистике человеком.

Батшеба же, напротив, обладала практическим складом ума, была законченной рационалисткой и, несмотря на свою глубокую религиозность, пыталась во всех явлениях жизни разглядеть их естественные, а не некие мистические причины. Это «единство противоположностей» родительских характеров, их принадлежность к разным ветвям иудаизма (хасидской, то есть эмоциональной и мистической, и «литовской», то есть более холодной и рациональной) и определило, якобы, будущее их детей.

Старшие – Исраэль-Иешуа и Эстер-Гинда – выросли, как мать, рационалистами, и в итоге отошли от религии и стали убежденными материалистами.

Младший, Мойше, полностью оказался под влиянием отца и пошел по его стопам, сделавшись ортодоксальным раввином. А вот средний, Иче-Герц, будучи равно близок и к отцу, и к матери, так и застрял «на полпути», достаточно далеко оторвавшись от иудаизма в своем внешнем образе жизни, но внутренне оставшись глубоко религиозным человеком.

Дело даже не в примитивности, схематичности такого объяснения – дело в том, что оно неверно по сути!

Ярлык «рационалистки до мозга костей» своей матери приклеил опять-таки сам Башевис-Зингер, причем сделал это от имени отца во входящей в книгу «В суде моего отца» новелле «Почему кричали гуси».

В этой новелле, напомню, рассказывается о том, как мать будущего писателя отказалась поверить в то, что мертвые гуси кричат потому, что в них вселились души грешников. Вместо того чтобы поддаться всеобщему священному трепету, она просто извлекла из их тушек дыхательное горло, издававшее при нажатии эти странные звуки, и тогда Пинхас-Менахем-Мендель сказал среднему сыну: «Твоя мать вся в твоего деда, билгорайского раввина. Он великий ученый, но рационалист до мозга ко-

стей. Меня предупреждали перед помолвкой...»

Но в этом и заключается весь Башевис-Зингер.

Впитав с детства характерный талмудический стиль мышления, он во многих своих произведениях нередко выдвигает изначально некий вполне убедительно звучащий тезис, но только для того, чтобы затем всей логикой повествования выдвинуть не менее, а возможно, и куда более убедительный антитезис. Правда, в отличие от Талмуда, Зингер далеко не всегда приводит антитезисы к синтезу, предоставляя проделать эту работу читателю, но суть метода та же.

В том же «Суде моего отца» Зингер рассказывает, какое огромное значение придавала его «рационалистка»-мать своим снам, как из одного из таких снов она поняла, что ее старший сын дезертировал из русской армии, а из другого – то, что ее отец в эту ночь скончался.

Таким образом, если Батшеба Зингер и была рационалисткой, то очень условно – разве что в сравнении с мужем. Что же касается «практического склада ума» матери Башевиса-Зингера, то чтобы понять, в чем он заключался, достаточно вспомнить, как она выбирала жениха – прагматичным такой выбор явно не назовешь.

Да и читая о том, как Пинхас-Менахем Зингер вершил суд по законам Торы; как умело он управлял еврейской общиной Крохмальной улицы; в каких сложнейших жизненных драмах ему приходилось разбираться, понимаешь, что он отнюдь не был ни рохлей, ни оторванным от жизни кабинетным ученым. Да, возможно, это знание жизни и человеческой природы пришло к нему с годами, но ведь пришло!

Словом, если даже Пинхас-Менахем и Батшеба Зингер и были в чем-то разными людьми, то в главном они однозначно сходились. И вот эта-то несомненная близость мироощущений и жизненных ценностей и помогла им в итоге стать, говоря языком еврейской мистики, той самой «истинной парой», какой они предстают со страниц всех автобиографических произведений писателя.

* * *

Впрочем, профессор Джанет Хадда в своей книге «Исаак Ба-

шевис-Зингер. Биография» утверждает, что атмосфера в семье Зингеров была весьма далека от той идиллии, которую рисует сам Башевис в своих книгах. По ее мнению, отношения между мягким и непрактичным Пинхасом-Менахемом и куда более жесткой и прагматичной Батшебой порой были весьма напряженными. В значительной степени, считает Хадда, прочность их брака основывалась на сексуальной, а не духовной гармонии между ними. Вывод о том, что родители Башевиса-Зингера были удовлетворены своей интимной жизнью, Хадда основывает на том благословении, которое Пинхас-Менахем дал дочери перед свадьбой: он пожелал Эстер-Гинде, чтобы та всегда была столь же желанной для мужа, как ее мать, и чтобы ее муж всегда желал ее так же, как ее отец.

Далее Дж. Хадда приходит к выводу, что Пинхас-Менахем и Батшеба были не очень хорошими родителями. Образованной, жизнелюбивой Батшебе было, по ее версии, крайне тяжело жить полной ограничений и запретов жизнью ультраортодоксальной еврейки. Поэтому она, дескать, часто пребывала в депрессии и мало уделяла внимания детям, что особенно остро чувствовала, прежде всего, дочь – Гинда-Эстер. Трещина в отношениях Батшебы со старшей дочерью с годами лишь возрастала, постепенно превращаясь в настоящую пропасть, которую ни одна из сторон так и не смогла перешагнуть и которая отчетливо прочитывается во многих книгах Эстер Крейтман.

Бунт Батшебы против традиционного еврейского образа жизни, продолжает Хадда, проявлялся в том, что она читала светскую литературу и исподволь подталкивала старших детей к разрыву с религией.

Что же касается Пинхаса-Менахема, то он любил Бога и свои священные книги куда больше, чем детей, и занимался их воспитанием исключительно потому, что в нем говорило чувство долга. Эстер-Гиндой он не занимался вообще, так как в традиционных еврейских семьях отец не должен был заниматься воспитанием дочери, и Пинхас-Менахем по отношению к ней такого чувства не испытывал.

Все это и привело к тем особым отношениям внутри семьи Зингеров, которые потом определили жизнь каждого из них:

Эстер-Гинда, по сути дела, сразу после замужества окончательно порвала с родительским домом; Исаак-Иче Зингер видел в Исраэле-Иешуа не только старшего брата, но и отца, а Исраэль-Иешуа чувствовал всю жизнь ответственность за судьбу младшего брата. И все они – и Эстер Крейтман, и братья Зингеры выплескивали сформировавшиеся у них из-за родительского невнимания комплексы в своих книгах.

Однако достаточно вспомнить, что писал о родительском доме не только Исаак Башевис-Зингер, но и Исраэль-Иешуа Зингер, какое огромное влияние они оба уделяют образу отца, его наставлениям и рассказываемым им историям; с какой нежностью говорят о матери, чтобы понять всю натянутость и несостоятельность этой «психоаналитической» концепции.

Да, Пинхас-Менахем и Батшеба Зингеры, возможно, не были идеальными родителями, но они, безусловно, были хорошими, по-настоящему заботливыми отцом и матерью, и лучшим доказательством тому являются их дети. Во всяком случае, одной генетикой феномен семьи Зингеров не объяснишь...

* * *

Согласно принятым в те времена условиям брачного договора, тесть Пинхаса-Менахема Зингера взял на себя полное обеспечение его семьи в течение первых восьми лет брака – чтобы зять мог полностью посвятить эти годы углубленному изучению Торы.

За время жизни в Билгореае у Пинхаса и Батшебы родилось

⁵ Казенный раввин – в 1857–1917 гг. выборная должность в еврейских общинах Российской империи. Кандидатом в казенные раввины мог быть выпускник раввинского училища (с 1873 г. – еврейского учительского института) или общих высших и средних учебных заведений. Его избрание утверждалось губернскими властями, от которых он получал и свидетельство на звание раввина. В обязанности казенного раввина входило принимать присягу у евреев-новобранцев, вести книги записи рождений, бракосочетаний и смертей, в дни государственных праздников и тезоименитства императора произносить в синагоге патриотические проповеди (чаще всего на русском языке).

четверо детей, но выжило только двое – Исраэль-Иешуа и Эстер-Гинда. Две девочки, родившиеся после старшей дочери, оказались необычайно болезненными, и молодым супругам приходилось постоянно ездить с ними в больницу, оставляя старшую дочь на соседку. Однако все их усилия оказались тщетными – девочки скончались. Но, видимо, именно с этого времени у Гинды-Эстер появилось ощущение, что родители любят ее куда меньше других своих детей, и это ощущение стало в итоге определяющим в ее отношениях с матерью.

Оставаться в Билгореае по окончании восьми «контрактных» лет супруги не могли. Причем не могли именно по причине огромных познаний Пинхаса-Менахема – эти познания делали его довольно опасным конкурентом для старших братьев Батшебы, также претендовавших на раввинские посты в городе, но явно уступавших шурина в религиозной эрудиции.

Это обстоятельство привело к тому, что уже в первые годы брака между Пинхасом-Менахемом и его тестем вспыхнул острый конфликт. Рав Яков-Мордехай Зильберман настаивал, чтобы, пока зять сидит на его шее, тот подготовился бы к экзамену на казенного раввина⁶ и, сдав его, убрался бы из Билгорая подальше. Однако Пинхасу-Менахему претила подобная карьера, само изучение русского языка, знание которого было обязательным для казенного раввина, казалось ему пустой тратой времени, в ущерб изучению Торы и Талмуда, и это его упрямство привело старого билгорайского ребе в ярость. Он стал требовать от дочери, чтобы та развелась с мужем, но для Батшебы, прикипевшей всем сердцем к Пинхасу-Менахему, такой шаг был просто немыслим.

В результате, чтобы прокормить семью, рав Пинхас Зингер стал «магидом» – странствующим проповедником. Кроме того, ради заработка он стал переводить с иврита на идиш различные религиозные сочинения, а также написал в эти годы две собственные книги – «Новые проповеди» и «Собрание жемчужин», принесшие ему известность среди раввинов Европы.

⁶ Иешива (в русской традиции – ешибот) – высшее еврейское учебное религиозное заведение, предназначенное для изучения Священного Писания, главным образом, Талмуда.

Одновременно Пинхас Зингер не переставал искать для себя место раввина, и, в конце концов, нашел его в расположенном неподалеку от Варшавы крохотном местечке Леончин, где и появился на свет Исаак Башевис-Зингер, получивший при рождении имя Иче-Герц, или, если полностью, Ицхок-Герц.

И уже из Леончина семья Зингеров перебралась в Радзимин – ко двору «радзиминского ребе» Аарона-Менахема-Мендла.

Алчный, недалекий и, одновременно, властолюбивый Аарон-Менахем-Мендл был третьим и последним представителем хасидской династии радзиминских раввинов-чудотворцев. Мгновенно оценив талант Пинхаса-Менделя Зингера как религиозного писателя и ученого, Аарон-Менахем-Мендл за нищенское жалование назначил его главой местной иешивы⁶ и, одновременно, заставлял его «редактировать», а по сути дела, писать за него религиозные трактаты, призванные принести радзиминскому ребе славу великого знатока Торы.

Словом, радзиминский ребе был живым воплощением того самого фанатизма, корыстолюбия, невежества и ханжества священнослужителей, которых клеймили в своих сочинениях «передовые» еврейские писатели. И не удивительно, что 12-летнего Исразля-Иешуа Зингера наблюдение за этим «цадиком» побудило усомниться в правдивости тех рассказов о хасидских праведниках, которые он постоянно слышал в хедере и дома.

Эти сомнения порождали все новые вопросы, и в результате фигура радзиминского ребе вызвала у старшего сына Пинхаса и Батшебы глубочайший духовный кризис, приведший в итоге к его полному разрыву с религией и религиозным образом жизни.

У Иче-Герца, с раннего детства находившегося под сильнейшим влиянием старшего брата, этот кризис принял несколько иной характер. Чуть забегая вперед, замечу, что Башевис-Зингер сохранил связь с духовным наследием предков именно потому, что для него воплощением практического иудаизма стал не радзиминский ребе, а его родители Пинхас-Менахем и Батшеба, для которых следование всем ритуальным и нравственным предписаниям иудаизма было так же естественно, как дыхание.

Отец так и остался для Башевиса-Зингера тем подлинным носителем духа иудаизма, тем образцом еврея, в котором и

проявляется все величие еврейского народа во всех аспектах и смыслах этого слова. Трансцендентальную связь с отцом Зингер пронес через всю свою жизнь, и не случайно во многих его произведениях в момент решающего нравственного выбора перед героем предстает образ его отца.

Так это происходит и с Яшей Мазуром в «Люблинском штукере», и с Ареле Грейдингером в «Шоше» и «Мешуге».

Впрочем, к чрезвычайно сложным взаимоотношениям Зингера-младшего с иудаизмом и к факторам, определившим эти взаимоотношения, мы еще не раз вернемся. Пока же для нас чрезвычайно важно отметить, что Радзимин был типичным штетлом – еврейским местечком.

Причем не простым местечком, а хасидским. Последнее обстоятельство, в свою очередь, означало, что повседневная жизнь обитателей этого местечка была щедро приправлена мистикой.

Жители Радзимины, к примеру, верили, что их ребе запросто общается с мертвыми. Они «твердо знали», что к любому человеку может «прилепиться» душа того или иного покойника или просто злой дух – диббук; что по Радзимину и днем, и ночью бродят различные демоны и бесы, вмешивающиеся в жизнь людей и становящиеся видимыми только в случае, если они сами этого пожелают и т.д.

Ночи в Радзимине были длинными – укладывались спать в нем рано, а засыпали поздно, коротая целые часы в темноте за рассказами о переселении душ, о чертях, пытающихся сбить с пути праведного великих раввинов, о демонах, приходящих под видом мужчин к честным вдовам; о дьяволице Лилит, мучающей по ночам холостяков...

Да и в Билгореае, куда Зингеры время от времени приезжали в гости, то и дело происходили какие-то чудеса. Маленький Иче-Герц, к примеру, на всю жизнь запомнил, как в городе появилась девушка, одержимая диббуком – вселившимся в нее злым духом некоего еврейского еретика. Сама эта девушка не умела читать и писать, однако вселившийся в нее дух так и сыпал цитатами из различных священных книг, порой намеренно их перевирая, но заметить эту фальсификацию мог только тот, кто сам был досконально знаком с этими текстами.

В один из приездов Зингеров в Билгорай в городе произошел грандиозный скандал со «столоверчением». К тому времени новые веяния, несмотря на все усилия старого билгорайского ребе, уже проникли в город, и многие евреи, наряду с чтением светской литературы увлеклись все более входившим в моду спиритизмом.

Появился в Билгорае и свой медиум – у одной из его жительниц вдруг открылась способность вызывать души умерших. Причем общались они в ее доме не только с помощью банального блюдечка с вычерченной на нем стрелкой, но и порой отвечали голосами, в которых билгорайцы с трепетом узнавали голоса умерших родственников и знакомых.

Это обстоятельство привело к тому, что на каждый сеанс спиритизма в доме «медиумши» собирались десятки людей, а потом на рынке долго обсуждались ответы «духов». Все это крайне не нравилось тогдашнему билгорайскому градоначальнику. Потомственный русский дворянин, человек образованный и прагматичный, он был твердо уверен, что эта женщина просто дурачит легковерную публику, нагнетая в городе массовый психоз. Сам он был твердо уверен, что голоса призраков искусно имитирует какой-то человек, спрятанный либо под столом, либо в подвале, либо в каком-то другом месте дома, и решил во что бы то ни стало разоблачить вредное суеверие.

Вечером, в то самое время, когда в доме шел спиритический сеанс, в него ворвались десятки солдат. В поисках спрятанного помощника медиумши они перевернули весь дом вверх дном, заглянули в самые потаенные его уголки, но так никого и не нашли, что еще больше убедило билгорайцев в истинности спиритизма.

Сама эта атмосфера, все эти ночные сказки и истории, непреклонная убежденность жителей Радзимина и Билгорая в том, что не существует никакой четкой и непреодолимой границы между нашим материальным миром и потусторонними мирами, заселенными ангелами, демонами, неприкаянными душами и т.д., вне сомнения, оказали огромное влияние как на личность, так и на мировоззрение Исаака Башевиса-Зингера.

Он действительно с детства и до конца жизни искренне верил как в реальность существования потусторонних сил, так

и в то, что они могут вмешиваться в дела нашего материального мира. Во всяком случае, когда на многочисленных встречах с читателями ему задавали вопрос о том, действительно ли он считает, что в мире существуют демоны, бесы и другие герои некоторых его произведений, Башевис-Зингер не только отвечал утвердительно, но и добавлял, что убежден в том, что рано или поздно наука докажет их существование.

Многие исследователи творчества Башевиса-Зингера пытались подвергнуть сомнению искренность этой пронесенной им с детства веры в сверхъестественные силы и в переселение душ, не понимая, что именно силой этой веры во многом и объясняется художественная мощь его произведений на «мистические» темы.

Во всяком случае, сын Башевиса-Зингера Исраэль Замир вспоминает, что отец (подобно профессору Збигневу Эдельбишу, герою рассказа «Голуби») любил во время прогулки по Бруклину кормить голубей. Во время одного из таких кормлений к писателю подошел полицейский и потребовал, чтобы он прекратил разбрасывать крошки по тротуару, так как это запрещено законом.

– Как знать, может, когда-нибудь эти голуби были людьми? Может быть, внутри них сидят человеческие души?! – заметил в ответ Зингер.

– Да, мистер, – произнес озадаченный таким ответом полицейский. – Но все равно кормление птиц в данном районе противозаконно, и в следующий раз я вынужден буду вас оштрафовать...

– Как знать, – продолжил Башевис-Зингер, словно не слыша обращенных к нему слов, – не станем ли мы с вами в следующем воплощении вот такими же уличными голубями?! И, может быть, тогда, когда мы с вами будем страдать от голода и холода, нам тоже кто-нибудь подбросит немного крошек!

Когда во время одной из прогулок с сыном Зингер повторил свою фразу о том, что «кто может поручиться за то, что в следующем воплощении он не будет птицей», его сын Исраэль Замир решил, что пришло время поговорить с отцом на эту тему.

«Я понял, что эти слова являются для него чем-то вроде

символа веры, выражающие его убежденность, что высшие и низшие миры не отделены, а неразрывно связаны друг с другом, – пишет Замир в своей книге «Мой отец Башевис-Зингер». – Рядом со мной шел человек, ноги которого ступали по асфальту XX века, но одновременно внутри него звучали некие неслышимые для всех остальных голоса.

– Ты и в самом деле веришь в существование потусторонних сил? – спросил я его во время нашей очередной прогулки по Нью-Йорку спустя примерно две недели после моего приезда.

Он улыбнулся.

– Да, я действительно верю в реальность существования таких сил. Мы их не видим, но они, безусловно, присутствуют в нашей жизни. Конечно, я не знаю, кто из них – дух, а кто – демон. Все эти слова – не более чем имена, которые дали им мы, люди, но которые не отражают их природы. Однако духи и демоны являются неотъемлемой частью действительности. Если хочешь, это изнанка, обратная сторона реальности. Я убежден, что в будущем люди еще убедятся, что все эти силы – отнюдь не только герои фольклора, их реальность будет доказана».

Спустя какое-то время Замир решил вернуться к этому разговору – на этот раз, когда они сидели в любимом нью-йоркском кафе Зингера «Штинбург». Вот как Замир передает эту беседу с отцом в своих воспоминаниях:

«– Смотри, никто нас сейчас не подслушивает, и я клянусь тебе, что если ты доверишь мне эту тайну, я никогда никому ее не выдам. Ты и впрямь настолько наивен, что веришь в существование чертей и духов, или это просто литературный прием, своего рода трюк, помогающий поставить некие волнующие тебя проблемы, не имеющие рационального решения?»

Он посмотрел на меня с улыбкой и положил ладонь на мою руку. По всей видимости, он понял, что спорить со мной на эту тему – все равно, что биться головой об стенку.

– Я знаю, что такие материалисты, как ты, видят в чертах и привидениях исключительно плод человеческой фан-

тазии. Так знай, что многие ученые признают, что им приходится

сталкиваться с фактами, объяснить которые они, несмотря на все их старание, оказались бессильны.

Затем он добавил, что материализм изобрел для этих сил разные маскирующие их суть названия: телепатия, интуиция, инстинкты и т.д.

– Но на самом деле эти силы сосуществовали с человеком всегда, – продолжил он. – По сути, без них нет человека. Без них нет любви. Я, к примеру, знаю, что в Израиле тебя ждет девушка. Это так?

Я кивнул головой, подтверждая эти его слова. В одном из писем к нему я писал об этой девушке. По его теории, если мужчину и женщину связывает подлинная любовь, они способны читать мысли друг друга. Нет любви без телепатии – он был в этом абсолютно уверен. Он посмотрел на меня и спросил:

– У тебя не бывало так, что ты прекрасно знал, о чем думает твоя девушка, хотя она тебе об этом ничего не говорила?

– Да, иногда такое случалось, – признал я.

Отец подцепил вилкой кусочек яблочного пудинга, отправил его в рот, запил кофе и затем, после длинной паузы, продолжил разговор. Если его послушать, то выходило, что в жизни то и дело происходят различные истории, которые нельзя объяснить с рациональной точки зрения. Так, в детстве он слышал рассказ о женщине из небольшого местечка под Билгораем, которой приснился сон о том, что ее муж выиграл 500 злотых в лотерею, которая разыгрывалась в Люблине. До этого сна она вообще не знала, что такое лотерея. Утром она рассказала об этом сне мужу, а через неделю он направился в Люблин и там действительно выиграл в лотерею названную сумму.

– У тебя есть объяснение этой истории? – спросил отец.

– Нет. А ты уверен, что все именно так и было?

– Я был знаком с этой женщиной. На следующий день после этого сна она пришла к нам домой и рассказала о нем матери,

которая не поверила в то, что такой сон может сбыться. Кстати, существует поверье, что по ночам души мертвых покидают могилы и присоединяются к демонам и привидениям. Гиги (так Башевис-Зингер называл сына в первые годы его жизни, а затем в минуты, когда чувствовал с ним особую близость. – П.Л.), ты мог бы встретить полночь на кладбище в Квинсе? Тебе не было бы страшно?

– Нет, мне не было бы страшно. Хотя это, конечно, не самое приятное место для того, чтобы провести там ночь. Но я проводил ночи и в менее приятных местах. Например, в Западном Негеве, стоя в карауле напротив египетских блокпостов...

Он продолжил свои рассуждения. В его понимании люди вроде Ньютона делали открытия не столько в силу собственной гениальности, сколько при помощи неких тайных сил, «которые вы называете озарением, инстинктом и т.д.»

– Ты можешь объяснить мне, что такое инстинкт? – спросил он.

В это время в рестораник влетела пчела. Громко жужжа, она сделала несколько кругов над отцовским пудингом. Отец следил глазами за ее полетом, словно пытался понять, что именно эта пчела делает в «Штинбурге». Наконец, она села на его тарелку и стала медленно подползать к пудингу.

– Мы знаем, что пчела производит мед! – сказал отец, уставив на меня палец. – Ты можешь объяснить, как именно она это делает? Почему она иногда перелетает от растения к растению в поисках какого-то определенного цветка, проделывая иногда для этого путь в несколько километров? Наука утверждает, что в данном случае пчела повинуется своим инстинктам, но при этом она не объясняет, что это такое – инстинкт!

Неожиданно пчела взлетела и стала проделывать круги над его лысым черепом.

Отец помотал головой, отогнал ее рукой и добавил:

– Кто знает, почему именно этой пчеле так хочется ужалить старого еврейского писателя?

Люди входили и выходили из кафе «Штинбург». Время от времени слышались разговоры на идиш. Вдруг отец поднял

голову к потолку и сказал, то ли обращаясь ко мне, то ли разговаривая сам с собой:

– Если бы сейчас в этом кафе приземлился ангел Всевышнего, ученые дали бы этому какое-нибудь рациональное объяснение. Однако, по сути дела, кроме того, что они заменили слово «Бог» словом «Природа», ученые пока не сделали ничего. Но что такое «Природа»? В чем суть ее животворящей силы? Что побуждает ее создавать живые существа? Вся разница между нами и религиозными людьми в том, что мы называем все непознанное «Природой», а они – Богом. Все наши знания основываются исключительно на практике. Мы знаем лишь, как использовать некоторые законы природы, да и то это весьма поверхностное использование».

Да простит мне читатель столь длинную цитату, но именно в ней содержится ключ к мировоззрению Башевиса-Зингера и к пониманию его творчества.

Бесы, демоны, души мертвых, вселяющиеся в тела живущих, отнюдь не были для Башевиса-Зингера исключительно фольклорными персонажами. Нет, он действительно верил в реальность их существования, и именно этой, впитанной им в самое раннее детство верой и объясняется та предельная реалистичность, которой пронизаны самые мистические из его рассказов – «Эстер-Крейндл Вторая», «Ханка», «Корона из перьев», «Сестры» и др.

И вера эта, как мы увидим, не только не ослабевала, но и укреплялась с годами, в равной степени подпитываясь интересом писателя как к оккультизму, так и к достижениям современной науки; заставляя его в любых, порой самых незначительных бытовых происшествиях усматривать игру неких потусторонних сил.

Но эта первая, мистическая составляющая его творчества была бы просто невозможна без другой – реалистической, опирающейся на глубокое знание писателем жизни евреев Польши.

⁷ Раббанит (также реббецен) – жена раввина.

«Территория между Белостоком, Люблином и Варшавским гетто была для него, как Йокнапатофа для Фолкнера – тем клочком земли величиной с почтовую марку, который требует от художника напряжения всех сил, чтобы было сказано хотя бы самое основное, что об этом космосе следует сказать», – утверждает А.Зверев в своей замечательной статье «Pentimento: Зингер и история».

Зингер действительно является прежде всего певцом того Космоса, который представляло собой еврейское местечко, причем не только в узком, но и в самом широком смысле этого слова. Как известно, само слово «местечко» происходит от польского «мястечко», что в буквальном переводе на русский звучит как «городок», а на идиш – «штетл».

Но Штетл для еврея – это нечто куда большее, чем некий абстрактный городок. Это вообще не географическое, а культурологическое понятие, вмещающее в себя весь мир восточноевропейского еврейства.

С этой точки зрения – и деревушка Леончин, где родился писатель, и заштатный Радзимин, где прошло его раннее детство, и Крохмальная улица в Варшаве, на которую Зингеры переехали после того, как рав Пинхас-Мендель получил приглашение стать на ней духовным раввином, и Билгорай, куда раббанит⁷ Батшеба вернулась вместе с младшими сыновьями в годы Первой мировой войны – это все различные населенные пункты, расположенные на одной отдельно взятой планете по имени Штетл, почти никак не связанной с планетой под названием Земля.

Пожалуй, лучше всего вся обособленность и самодостаточность планеты Штетл проступает в рассказе Зингера «Сын из Америки». Его герой, Сэм, покинувший родное местечко Леонсин и перебравшийся в Штаты еще подростком, спустя много лет возвращается к родителям, с гордостью везя на родину деньги, собранные им и его земляками на благотворительные

⁸ Рабби Акива и Бен-Зома – два еврейских мудреца, участники многих талмудических дискуссий.

цели. Но оказывается, что никому в местечке эти деньги попросту не нужны. В нем никто не голодает, в нем нет ни невест-бесприданниц, ни оставшихся без присмотра стариков; оно не нуждается ни в новой синагоге, ни в богадельне. Оно вообще ни в чем не нуждается и ничего не собирается просить от окружающего его мира!

Более того – как выясняется, деньги, которые Сэм посылал родителям все эти годы, так же оказались им совершенно не нужны. Отец Сэма Берл показывает сыну в субботу собранные им за это время золотые монеты, несмотря на то, что еврею категорически запрещено прикасаться в этот день к деньгам. Но Берл, в сущности, и не преступает этот запрет, так как для него это как бы и не совсем деньги – ведь он не собирается их когда-либо потратить...

Жизнь на планете Штетл в течение столетий шла своим чередом, разительно отличаясь от жизни омывающих эту планету стран и населяющих их народов.

Подавляющая часть населения этих стран была безграмотна – на планете Штетл еврейский ребенок в три года уже должен был уметь бегло читать молитвенник, а в пять приступал к изучению Библии. Игры, в которые играли дети Штетла, ассоциации и аллюзии, которыми они при этом пользовались, резко отличались от тех, что были в ходу у их сверстников из соседней польской, белорусской или украинской деревни. Мальчики и девочки из Штетла слабо представляли себе, что такое лапта, горелки или игра в дочки-матери, но зато играли в Давида и Голиафа или в царя Соломона и царицу Савскую.

К 10-12 годам, когда те же польские и украинские дети уже наравне со взрослыми работали в поле, еврейские мальчики в Штетле склонялись над толстыми томами Талмуда, стараясь постичь истинный смысл спора между рабби Акивой и Бен-Зомой⁸.

Если что-то и нарушало течение жизни в Штетле, то это кровавые погромы и резня, устраиваемые не ведающими жалости, опьяненными жаждой крови «пришельцами».

В целом же два этих мира долго жили, почти не сталкиваясь друг с другом. Можно было прожить всю жизнь в еврейском

квартале той же Варшавы и так и не выучить за всю жизнь ни одного польского слова. И не случайно сама поездка в польскую часть Варшавы была для еврейского мальчика и в самом деле в чем-то сродни путешествию на другую планету. Вот как описывает Зингер свое путешествие по Варшаве с другом его отца, молочником реб Ашером:

«Путешествие продолжалось несколько часов, и я был в восторге. Я ехал среди трамваев, дрожек, подвод. Маршировали солдаты; полицейский стоял на посту; мимо нас проносились пожарные машины, кареты скорой помощи, даже легковые автомобили, которые уже начали появляться на улицах Варшавы. Но мне ничто не грозило. Я был под защитой друга с кнутом, а под ногами у меня тарахтели колеса. Мне казалось, что вся Варшава должна была умирать от зависти. И действительно, прохожие с изумлением взирали на хасидского мальчика в бархатной ермолке, с рыжими пейсами, который осматривал город с телеги молочника...

...Лошадь поворачивала голову и с изумлением на меня взирала...

Больше всего я боялся, что она может внезапно встать на дыбы или пуститься вскачь. Лошадь, как-никак, не детская игрушка, а гигантское существо, бессловесное, дикое, наделенное огромной силой. Мимо проходили иноведы, смотрели на меня смятая и что-то прошептали польски. Я не понимал его языка, но чувствовал, что лошадь внушала мне ужас: он, похоже, был большой, сильный и загадочный. И паутину уравнений современной физики!

Автор, не возводя 1001-ю философскую систему, предлагает запись своего духовного опыта и размышления о текстах.

Исаак Башевис-Зингер появился на свет в то время, когда сформировавших его внутренних мир.

Книгу открывают автобиографические зарисовки ее жителей надобно жить наособицу. Им хотелось стать частью

Издательство Москва-Иерусалим 2014 год 308 страниц

Большого мира, и дувшие над планетой ветры срывали с хасидов их шляпы и пансердаки, облачая их в одежды современного покроя, а брадобреи «инопланетяне» избавляли их от старозаветных бород и пейсов.

Для заказа чеки на имя Эдуарда Бормашенко пересылать по адресу: Ariel 40700, P.O. Box 2369, Ayner str. 17, apt. 2, Israel

И все же планета Штепль продолжала жить и жила вплоть до того времени, пока не стали ее визитеры. Электронный адрес автора: edward@ariel.net.il

в совершенно иные миры ее последних жителей.

И вот после того, как планета Штетл была стерта с лица земли, тех, кто на ней родился и вырос, а затем сумел уцелеть в кровавой мясорубке Холокоста, железной хваткой взяла за горло ностальгия.

Как всякая ностальгия, она приукрашивала, идеализировала прошлое, представляя жизнь Штетла в совершенно идиллическом свете. И, как всякая ностальгия по несуществующему, она была неизлечима.

В эссе, посвященных Башевису-Зингеру, часто проводится параллель между его творчеством и творчеством Марка Шагала, основанная на кажущемся авторам этих работ сходстве художественных методов этих двух мастеров, их тяге к метафористике, основанной на глубинных пластах Библии, еврейского фольклора и самого языка идиш, его пословиц и поговорок.

Однако главное сходство между ними заключается в том, что, как и Шагал, Исаак Башевис-Зингер тоже до конца своих дней оставался мальчиком с планеты Штетл, в сущности, так с нее и не уехавшим. В отличие от многих других, он ее не идеализировал, а потому и никогда не скатывался до лубочной патоки и патетики. Но любил и знал он эту планету не меньше, а то и куда и больше, чем многие другие еврейские писатели.

Хотя бы потому, что у него был тот опыт, которого у этих писателей не было...

Александр Ласкин

ДО ВОЙНЫ И ВОЙНА

Фрагменты из документального романа
«Мой друг Трумпельдор»

Все же надо кое о чем сказать читателю. Хотя бы упредить вопросы о жанре. Что ж, жанр не новый. Когда я писал книгу о Трумпельдоре, то вспоминал «Путешествие дилетантов» Б. Окуджавы и «Большого Жано» Н. Эйдельмана. Конечно, родоначальник жанра – «наше все» с его «Повестями Белкина». Он первый показал, что автор может выглядывать из-за плеча персонажа. Высунуть голову, а потом спрятаться. Предоставить герою возможность действовать вроде как самому.

Теперь несколько слов о герое. Не о Трумпельдоре, – тут объяснять нечего, – а о рассказчике. Повествование ведется от лица Давида Лейбовича Белоцерковского. Всю жизнь они были рядом, – в Тульчине, Порт-Артуре, Петербурге, Финляндии, Палестине... После гибели Иосифа Белоцерковский пропал. Последнее о нем свидетельство – это выход в 1924 году в Берлине книги «Жизнь Иосифа Трумпельдора», а дальше – ничего. Буквально ни одного документа и фотографии.

Кстати, в упомянутой книге сказано, что он умер в 1922 году, но никаких подробностей не приводится. Просто умер – и все. Согласиться мне с этим трудно. Может ли Санчо Пансо умереть вместе с Дон-Кихотом? А как бы тогда мы бы узнали о подвигах его друга?

Эти соображения дали мне право представить, что в 1948 году Белоцерковский пишет вторую книгу. Кое-что рассказывает по памяти, а кое-что при помощи документов из архива прия-

теля. Скоро бумаги попадут в хранилище, и он спешит самое важное обсудить.

Через тринадцать лет Белоцерковский возвращается к рукописи и ее дополняет. Так она и остается незаконченной, словно с необрушенными строительными лесами, – с разделами «Документы» и «Дополнения 1961 года», которые при следующей переработке должны были образовать единый текст... Впрочем, в этой фрагментарности есть своя правда. Она, как говорит рассказчик, обозначает «что история не стоит на месте, один ее пласт наслаивается на другой. Она, история, не песок, не воздух, а вроде как здание со множеством этажей».

Полностью роман должен увидеть свет в московском издательстве «Книжники».

Несколько предварительных слов

Не обессудьте, господа материалисты. Стоит мне поверить в ваши идеи, как происходит такое, что простой логикой не объяснишь. Может, это Бог напоминает о себе? Вы обо мне забили, улыбается он, а я вот он, тут.

Почему мы с Иосифом всегда находили друг друга? Как-то фантазировали: предположим, ты летишь на Луну, а я уже там. Что, говорю, опаздываешь? Уже третий раз ставлю кофе на огонь.

Если бы мы были похожи, так ведь ничего общего! Иосиф – лидер и деятель, а я вроде как его тень. Даже на поле боя действую с оглядкой. Посмотрю на другого солдата и сделаю как он. Поэтому на моей груди что-то позвякивает, но все же Георгия нет.

Да и внешность у меня не столь убедительная. Он – высокий и красивый. Если же на поясе сабля, то хоть в бой, хоть на свидание. Причем успех гарантирован. Может ли проиграть тот, у кого на лице написано: я – победитель и герой.

Чем мне гордиться? Не только ростом не вышел, но ношу очки. Перед боем прячу их в карман – и все расплывается. Через много лет я увидел картины импрессионистов и понял, что это про меня. Я тоже вижу мир похожим на разноцветный ковер.

Это не все мои недостатки. Не только подслеповат, но чрезмерно тучен. После фронта мне приходилось голодать, но похудеть не удавалось. Вопреки какой-либо логике, моя фигура настаивала на том, что я сытно ем и вволю сплю.

Может, Бог создает второго по контрасту? Если первый худ и высок, то его спутник должен быть толст и мал ростом. Помните Дон-Кихота и Санчо Пансу? Один был единственный в своем роде, а другой – такой, как все.

Так вот, я как все. Не самый смелый, не самый гордый, не самый самостоятельный. И, уж точно, не самый худой. Главное, что меня отличало, – это мой друг. Я глядел на него и думал: когда-нибудь придется о нем написать... Значит, уже тогда я знал о себе сегодняшнем. Поглядывающем то в рукопись, то в окно. Стремящимся уразуметь, что это было, а главное, для чего.

Начало

Начнем с того, с чего начинал он. Все, знавшие его в детстве и юности, говорят о том, что мальчик был непростой. В этом возрасте мало кто догадывается о будущем, а он что-то чувствовал. Понимал, что если не подготовиться, то может быть поздно.

Наверное, это и есть ощущение своего предназначения. Конечно, не всегда подсказка бывает правильной. Иногда ощущение есть, а применения нет. Так вот у него было не так. Он знал, что ему предстоит нечто особенное, и ничуть не обманулся.

Сперва надо закалиться и подкачать мускулы. Мало ли какие предстоят сражения! Пока же Иосиф спит на досках, а утром поднимает камень, привязанный к потолку. Словом, показывает, что воли у него не меньше, чем у героя любимой книги.

Правильно советоваться с Чернышевским, но еще лучше, если рядом есть старший товарищ. Поначалу Иосиф смотрел на отца снизу вверх, а потом они сравнялись. Вы только вообразите: оба видные, сразу обращающие на себя внимание. Один свое отвоевал, а другой прикидывает: как бы ему тоже

стать героем?

Вольф Трумпельдор

Родом Вольф Трумпельдор из Парчево. Местечко хоть и маленькое, но для жизни возможное. Кое-какой достаток имелся у всех. Столяр распиливал, молочник торговал, кузнец ковал... Русские с евреями ссорились, но быстро мирились. Ведь что такое вражда? Это когда кому-то чего-то недостает.

Перемены? Какие перемены в Парчево? Если только кто-то умер или родился, но это вроде как круговорот в природе. Тут же настоящее событие. Пришли наборщики, или хаперы, – и давай стучать в двери. Нет ли кого лишнего в возрасте до двенадцати лет? Не хочет ли кто, чтобы за отца и мать им было знамя полка?

Стыдно сказать, наборщикам помогали раввины. Много раз в день они беседовали с Богом, но этой темы вряд ли касались. Во-первых, неудобно. Во-вторых, и так ясно, как поступать.

Пока суд да дело, хаперы жили неплохо. К тому же не за свой счет. Чуть свет, жители несли гостинцы. Откушайте, дорогие гости. Лучше питаться рыбой-фиш, чем нашими детьми.

Наконец набрали, сколько требуется. Взрослые едут в телегах, а дети идут пешком. По пути останавливаются – надо накормить лошадей и поесть самим. Что остается – отдают будущим кантонистам. Многие не выдерживают такого внимания, и их пускают в повозку. Что поделаешь – план. Следует доставить столько-то, и ни одним меньше.

Так началась жизнь Вольфа в русской армии. Родился он в тридцатом, а, судя по упоминанию ростовской газете, в шестьдесят пятом не закончил службу. Общего для всех срока оказалось мало. Такая нужда была в храбрых солдатах.

Однажды Вольфу повезло. На него обратил внимание сам принц Ольденбургский. Вряд ли такое могло случиться в мирной жизни, но война сокращает дистанцию между первыми и последними.

Уж как принц расшаркался. Сделаю то, другое, третье... Правда, не то чтобы сразу. Сперва надо креститься, а уж тогда – вне всякого сомнения.

Представьте, Трумпельдор отказался. Причем повод был

странный. Что с того, что Вольф – еврей? Разве это обозначает, что так будет всегда? Да и удовольствие сомнительное. Неужто ему хочется быть первым во всем? Нести амуницию. Мыть сортир. Умирать. Если кого-то жалеют меньше патронов, то этих упрямцев.

Не всегда власть обижает подданных. За хорошую службу Вольф получил право выбрать место жительства. В армии он так прикипел к Кавказу, что решил не покидать эти края. Трумпельдор взглянул на карту, ткнул пальцем в то место, где находится Пятигорск, и не ошибся – тут он встретил свою Фрейду, сыграл свадьбу, дал жизнь пятерым мальчикам и двум девочкам.

Давайте хотя бы назовем их по именам. Это будет вроде как переключка – глядишь, они услышат и ответят.

Самуил – 1865 год рождения, Герман – 1867-й, Абрам – 1872-й, Соня – 1875-й, Миша – 1877-й, Люба – 1877-й.

21 ноября 1880 года – пятым по счету среди мальчиков – родился Иосиф. Это означало, что семья вроде как поднимается над бытом – и начинает жизнь в истории.

В 1883 году они переселились в Ростов-на-Дону. Так что Пятигорск Иосифу вряд ли запомнился. В этом возрасте мы видим только себя и родителей и лишь потом начинаем познавать мир.

В Ростове Вольф стал работать в Еврейской больнице, а его Фрейда, как всегда, стояла у плиты, кричала на нашаливших мальчишек и время от времени гордо носила круглый живот: переезд в большой город был отмечен тем, что в восемьдесят седьмом году родилась Дора, а в девяносто девятом – Альфред.

Зачем люди женятся? Не всегда можно ответить на этот вопрос, но в случае Вольфа все ясно. Он сделал это для того, чтобы было много детей. Пусть не хватает денег, одежды, пропитания, но зато шума с избытком. Да и хлопот – полон рот. Бывало, устанешь, сядешь отдохнуть, а потом ударишь себя по лбу: это и есть жизнь! Если бы все шло хоть немного спокойней, он бы затосковал!

Вот почему события за пределами дома его не очень интересовали. Слухи доходили, но он их пропускал. Пусть, думает,

этим занимаются те, у кого потомства меньше, чем у них с Фрейдой.

Однажды Вольфу пришлось поучаствовать. Правда, в своей, особенной, роли. Он был вроде как отец. Человек, произносящий самое важное – и кардинально меняющий ситуацию.

В это время Ростов стал таким же городом, как прочие. Периодически его сотрясали еврейские погромы.

Чаще всего люди, устраивающие беспорядки, косят под обывателей. Мол, гуляли по городу, а тут видим – в ход идут железные прутья. У нас тоже руки зачесались. Мы вытащили палки из забора – и двинулись на врага.

На сей раз это была не толпа случайных людей, а едва ли не армия. Передвигались они голова к голове. Ну и действовали сообща. Увидели подушку – пустили пух. Потом заинтересовались талесом. Бросили его в лужу, а вместе с ним и владельца.

Так, расшвыривая и растапывая, подошли к Еврейской больнице. Удивились названию: отчего это у них все свое? Даже болеют они отдельно от прочих!

Вот погромщики стоят у ворот. Грозятся войти. Говорят что-то вроде: давайте решим вопрос кардинально. Тех, кому не помогают лекарства, приведем в чувство с помощью палок.

Тут на крыльцо выходит Вольф. Призывает к тишине. Впрочем, погромщики и так замолчали. На их лицах читается: это кто такой? Почему вместе со всеми не ожидает расправы?

– Как отличить евреев от неевреев? – сказал Трумпельдор. – Хотя наша больница Еврейская, но лечатся в ней все. Еще к нам приходят бедные. Куда им податься, если вы все разгромите?

Спокойно так излагает. Ведь действительно – дважды два. Только вообразите: кто-то заболел, а обратиться некуда. Да почему кто-то? Вы сами захотите лечиться, а вам говорят: недавно приходили ваши и не оставили камня на камне.

Погромщики молчат. Уйти не решаются и поглядывают на своего предводителя. Словно говорят: может, достаточно? Что-то уже не хочется размахивать палками.

Какой вывод напрашивается? Если преодолеть страх, то, возможно, испугаются тебя. Когда-то Вольф объяснил это сыну. Правило вроде простое, но мало кто ему следует.

Иосиф мог стать фельдшером, как отец. Или, как отец, солдатом. Он начал с фельдшера. Пломбы получались на раз. Через пару лет поинтересуется своей работой, а ему отвечают: «Стоят как влитые. Если не высшую власть, то местную точно пересидят».

Иосифа не радовали успехи на медицинском поприще. Больно негероическое это занятие. Как ни хотелось ему сделать что-то особенное, а повода нет. Иногда такая берет тоска, что начинаешь придумывать. Если нельзя совершить настоящих подвигов, то пусть будут воображаемые.

Представит, а потом все же попробует. В фантазиях все выходило отлично, а в реальности – с осложнениями. Однажды уговаривал посетителей корчмы. Мол, не хватит ли, господа хорошие? Есть удовольствие не только в вине.

Почему-то они не дослушали и сразу – в драку. Он растерялся и отступил. Решил еще подкачать мускулы и попробовать снова.

Так что мой друг не только лечил зубы, но хотел сделать пациентов лучше. И над собой трудился. Как говорилось, спал на досках. Поворочается – и идет на кладбище. Считает – сколько раз испугался. Пять, три, два... Вот, думает, хорошо! Если все пойдет так, то он точно станет героем.

ДОКУМЕНТЫ

Ищу в архиве о его жизни в Ростове. Вот же – есть! Письмо говорит о том, что уже тогда Иосиф чувствовал себя учителем. Пусть это называлось «репетитор» и скромно оплачивалось. Главное, он указывал путь и вел за собой.

Конечно, один слушатель – это почти ничего. Но зато он может представить, как обращается к толпе. Объясняет ей не виды эпоса, а кое-что посущественней.

Надо сказать, конкретную задачу Трумпельдор тоже выполнил. На экзамене ученик получил четыре, а Иосиф от ученика – пять. Чувствуете связь между фразой: «...Вы мне от себя объяснили» и словами: «Вы употребили на вразумление меня»? Так все и было – сперва одно, а потом другое.

«Уважаемый И. В.! Наконец я могу сообщить вам результаты моих экзаменов, которые прошли для меня благополучно. По-

русски устно я получил 4, письменно 3. Устно меня спрашивали все главные виды эпоса...

Я ответил без запинки все, что не входило в наш учебник и что Вы мне от себя объяснили, все передал в ответе, за что меня учителя похвалили... Экзамены у нас начались не 16, а 18, и мне пришлось три дня ждать. Благодарю Вас, И.В., за Ваши труды, которые Вы употребили на вразумление меня. Занятия у нас начнутся в сентябре, и я успею отдохнуть от экзаменов. Простите за то, что плохо написал, но я так взволнован радостными чувствами, что не могу лучше писать. А пока желаю Вам успеха в Ваших пожеланиях и трудах. Ваш ученик...

12 часов дня 20 августа 1900 года».

Видно, Иосиф был строг к помаркам. Наверное, это послание тоже следовало переписать, но ученик ограничился извинениями. Все же это не диктант, да и он не приготовишка. Все экзамены позади. В том числе и те, что он сдавал репетитору.

Да, вот еще. Что значит «успех» в «пожеланиях и трудах»? Видно, речь о том, что помимо существующей реальности есть реальность гипотетическая. Как они соотносятся? Если пожелания были правильными, то и труды окажутся в радость.

Война

С бормашиной все равно что с винтовкой. Поторопиться и замешкаться равно нехорошо. Так что он не только лечил, но вроде как приноравливался к будущему.

Сражения с гнилыми зубами за здоровые вскоре стали его тяготить. Так что повестка от воинского начальника пришла удивительно вовремя.

Иосиф получил предписание в Тульчин. Этот город ничем не хуже Ростова. Здесь хорошо рожать, торговаться, сидеть на лавочке. Только вряд ли это место подходит для подвигов.

Приходится опять фантазировать. К примеру, воображаешь, что пожар, а пожарные пьяны. Тут на авансцену выходит он. Показывает, что не зря поднимал тяжелый камень.

Кстати, мы с Иосифом познакомились как раз в Тульчине. Момент для него был не лучший. Нашего мечтателя, видящего себя спасителем отечества, обвинили в воровстве.

Да-да. Ты себе кажешься героем, а на тебя смотрят как на

торговца краденым. Как доказать свою невиновность, если власть принадлежит им?

История действительно неприятная. Из полка пропало оружие. Стали разбираться. Один из жителей рассказал о том, что около турецкой пекарни видел двух солдат. Они обсуждали число стволов и заплаченные за них суммы.

Ох, и дураки эти солдаты. Все сделали с умом, а одного не учли. Были так разгорячены сделкой, что не заметили свидетеля. Правда, как найти этих двоих? Для человека не служившего все военные на одно лицо.

Почему-то начальство подумало о Трумпельдоре. Может, это просто подозрительность к людям его национальности? Или недоверие к фельдшерам? Как бы то ни было, Иосиф попал в каземат. Его еще недавно широкие горизонты сузились до окна в камере.

Наутро командование объявляет смотр. Тому самому жителю следовало пройти вдоль рядов и найти этих двоих. Вот он медленно движется. Солдаты смотрят прямо, а он вглядывается в лица. Нет, не этот. И не тот. Встал, будто размышляя, напротив Иосифа, но двинулся дальше.

Казалось бы, вопрос решен, но начальство никак не уймется. Все идут в казармы, а его отправляют на гауптвахту. Так бы он и пропал ни за что, если бы приехавший из Винницы следователь не нашел настоящих воров.

Что я об этом думаю? Чудесное избавление предвещало дальнейшие победы. По крайней мере, первое время будет так. Как бы близко он ни находился рядом с гибелью, все заканчивалось благополучно. Вслед за следователем судьба посылала новых спасителей.

Кто может ответить, почему однажды все закончилось? Наверное, потому же, почему лето сменяет осень, а осень – зима. Ничто не бесконечно и в конце концов приходит к своему завершению.

Пока Трумпельдор пользуется тем, что с ним рядом ангел-хранитель. Другие не защищены от напастей, а его они минуют.

Признаюсь, меня пугала его бравада. Может, и красиво, широко обведя рукой, сказать: «Эта пуля не моя», но от этих слов

я съеживался. Уж точно пули так не считают. Если они летят, то потому, что существует мишень.

Что тут поделаешь! Непростой характер! Чаще всего люди идут у ситуации на поводу, а он непременно сделает наоборот.

Когда Россия вступила в войну с Японией, Иосиф понял, что это его шанс. Из заштатного Тульчина прямоком попадаешь на просторы истории. Правда, для этого надо ехать на другой конец страны. Пока доберешься, любая война может закончиться.

Видно, власти не рассчитывали на скорую победу. Да и солдат не хватало. Поэтому их брали везде. Даже тульчинских не обошли вниманием. Особенно ценились такие, как мой друг. Те, кто скромно оценивал свою жизнь и буквально рвался погибнуть.

Дорога

Дорога занимает сорок пять дней. Время от времени поезд останавливается. Присоединяют или переставляют вагоны. Пересаживают солдат. Эти мало кому понятные действия напоминают уловки судьбы. Кажется, сейчас что-то случится – и все пойдет по-другому.

Коротаем время за песнями и картами. Успокоимся ненадолго, а потом опять вмешаются разные мысли. Что впереди? Чем японцы похожи, а чем отличаются от нас?

Мы бы еще долго размышляли на эти темы, если бы не появился Иосиф. Тут мы поняли, что грустить некогда. Да и петь уже не хотелось. Настолько насыщенной стала наша жизнь.

Сперва Иосиф собрал солдат-единоверцев. Сказал примерно так: ах, вы маетесь от безделья? А вот начните что-то делать – и увидите, как время сжимается.

– Сейчас поезд остановится, – говорил он, – и вы отправитесь погулять. Предлагаю двигаться целенаправленно. Ты узнай – есть ли в городе синагога, а ты – разыщи хедер. Так мы выясним, насколько эти места заселены евреями.

Едва мы разобрались с хедерами, а у него уже новая идея: раз мы едем по Сибири, давайте изучим жизнь местных наро-

дов. Дальше – больше. Почему бы не поинтересоваться японцами? Сейчас приглядимся, а подробней займемся после победы.

Иосиф проверял, есть ли у нас склонность ко всякого рода завиральности. Не к ближайшей перспективе, а самой что ни есть отдаленной. Так вот, не спорил почти никто. Стоило ему попросить, и мы сразу исполняли.

«Вначале кажется трудным, – как-то сформулировал Иосиф в письме, – а схватишь нужную точку, и после этого все пойдет как по маслу. Как будто дверь, крепко прикрытая, вдруг открылась».

Так у нас с ним было всегда. И точка, и дверь. И ощущение, что если ты этого не сделаешь, то потом будешь жалеть.

Бывает, фронт находится рядом с домом. Солдат обнял близких, а через пару часов уже бьется с врагом. Наша война располагалась далеко. Если смотреть из Ростова или Тульчина, эти края не разглядеть.

Всю дорогу мы старались представить, что нас ждет. Кто-то захватил книжку с картинками. Вот он, Порт-Артур. Устроился между холмов и океаном, как монета в ладони. Лежит себе в ложбине – невзрачный, не освещенный солнцем. Как мы увидели это фото, так сразу поняли, что ничего хорошего не будет.

Правда, до поражения оставалось далеко. Возможно, кто-то не доживет. Впрочем, смерть в бою нам представлялась смутно. Да и жизнь на войне виделась неотчетливо. Думаю, Иосиф тоже догадывался не обо всем. Иначе отчего у него так горели глаза?

Иосиф и командование

Мы с Иосифом часто спорили. Особенно меня смущало то, что он от всех требует подвигов. Зачем столько героев? Тогда храбрость будет столь же обыденной, как завтраки или прогулки.

Вообще указывать легко. Многие из нас размышляли философски. Для чего лезть на рожон? Лучше посмотреть, как это

получается у того, кто дает такие советы.

Вот, к примеру, как Иосиф разговаривает с начальством. Казалось бы, какие тут варианты? Стой смиренно, молчи, ешь глазами командира. Так сделал бы каждый, а у него выходило что-то вроде спектакля.

Видели бы вы выражение его лица. Мол, я вами не очень доволен. И это кто! Сын Вольфа Трумпельдора! Будто он в нашем полку – самый главный аристократ.

Разумеется, это опасно. Правда, моего друга последствия не интересовали. По крайней мере, он ничего не делал для того, чтобы их избежать.

Я, конечно, его останавливаю. Со дня нашего знакомства говорю ему, что правильней вдохнуть, выдохнуть – и сбавить темп. Потом станет ясно, что так лучше для всех.

Я шумел и ругался, а он нехотя соглашался. Делал он это только потому, что ему надоедало спорить.

Как убедить огонь в том, что гореть неправильно? Что всем было бы удобно, если бы он не горел, а тлел?

Прежде я бы не признался, но сейчас скажу. Все же разговор последний. Вряд ли я еще буду обсуждать эту тему со столькими людьми.

Уже упоминалось, что мы с ним не похожи. Тому, кто родился Белоцерковским, мало что светит. Даже убедить приятеля выходит через раз. Что касается того, чья фамилия едва не рычит от обилия согласных, то он должен соответствовать. Быть не таким, как все.

Вот как это было – все давно угомонились, а он лишь распахляется. Все потому, что мы живем в обыденности, а он – в истории. Ну, а это все равно что баня. Горячей, еще горячей! Наконец пробрало до костей. Чуть передохнул и опять лезешь в пекло.

Раз я упомянул о начальстве, то надо кое-что рассказать. Бывают скандалы – и скандалы. Если кричит полковник, то это нормально. Тут же солдат. Что он может? Только приставлять ладонь к козырьку. Еще проливать кровь. Как противника, так и свою.

Иосиф от этих привилегий не отказывался, но ими не огра-

ничивался. Сделает все, как полагается, а потом обязательно выскажется.

Как-то перед боем командир нас построил. Решил произнести нечто духоподъемное. Вдруг после речи мы воодушевимся и с еще большей готовностью ляжем под пули.

Начал тихо, а потом распалился. Он пытался взбодрить не только нас, но и себя. Ведь ему тоже было не по себе. Зудела мысль о поражении, и хотелось ее перекричать.

«Разве можем мы не победить! – орал он. – Ведь жидов в нашем полку нет».

До этого мой друг слушал спокойно, а тут сделал шаг вперед. Показал, что стоим мы плотно, но каждый существует по отдельности. Вот, к примеру, он. Раз коснулись этой темы, то как ему не высказаться?

«Кажется, вы упомянули меня и моих товарищей? – сказал Трумпельдор. – Зря беспокоитесь. Сражаемся мы не хуже других».

Что удивляло? Спокойствие. Ни вытаращенных глаз, ни бурной жестикуляции. Когда-то его отец так разговаривал с громщиками.

Надо сказать, черта оседлости существует не только на местности. Главная разделительная линия проходит в голове. Сюда – можно, туда – нельзя. Полковник так мучился этим выбором, что у него на лбу проступили извилины. Они едва ли не спрашивали друг друга: что теперь делать?

Действительно, задачка. Если наказать Иосифа, то это освободит его от участия в бою. Выходит, все жертвовали собой, а один прохлаждался. Поглядывал в окно каземата и ждал, когда принесут обед.

Тут полковнику показалось, что выход есть. Эврика! «Я вас как еврея не воспринимаю», – это было сказано не без гордости. Кажется, он говорил: видите, все в моей власти. Захочу – назначу русским, а нет – оставлю евреем.

Казалось бы, на этом разговор исчерпан, но Трумпельдор решил добавить. Вы же знаете: если он видит цель, его не остановить. Вот и сейчас мой друг двинулся напрямик. Сказал, что если таким его сделал Всевышний, то можно ли выбирать?

После боя мы с ним разговаривали. Я удивлялся: хорошо, что ты не боишься, но зачем шуметь? Иосиф отвечал, что в детстве ему разрешалось все. С тех пор он доверяет только внутреннему голосу. Иногда видит, что перебирает, но тут же слышит: делай вот так.

В полку недолго обсуждали выходки моего приятеля. Вскоре стало не до того. Слишком много времени отнимала война. Стреляем, бежим, умираем. Трумпельдор воет лучше всех. Даже полковник уже не против. Бывало, улыбнется, пожмет руку и даже похлопает по плечу.

Радоваться его успехам мне мешала давняя история. Помните тех хаперов, что забрали в армию Вольфа? На сей раз тоже было что-то не так с логикой. Сами посудите: оторвали от дома, едва не насильно сделали солдатом, а потом навесили медаль на грудь.

Написано на полях, а потом зачеркнуто

Как сказано, Иосифу предшествовал его отец. Если же говорить о связях более далеких, на память приходит кантонист Ходулевич. Отношения тут не родственные, но очевидные. Да и интонация узнаваемая. Когда я наблюдал за своим другом, эта байка мне припоминалась.

Под такие рассказы хорошо выкурить папиросу и наполнить стакан. Начнешь с того, что и прежде встречались смельчаки... Если же есть желание разобраться в отношениях евреев и императоров, то без этой истории не обойтись.

Вообразите, Александр Третий на белом коне. Его адъютант генерал Трескин – на черном. Упомянутый Ходулевич – пешим ходом. В этой пьесе у него одна реплика. Зато какая! Благодаря ей он становится равен царю.

Как известно, у первых лиц времени сколько угодно. Сами задают себе вопросы и сами же отвечают. Причем если бы спрашивали: «Я царь или не царь?», – так ничего подобного. В голову приходит что-то совсем пустяковое.

Как-то Александр Третий предавался фантазиям. Представлял, что принимает парад. Хочет узнать, который час, а карман пустой. Ругает себя за рассеянность, но вдруг понимает:

это же покушение с определенными намерениями!

Об этом Александр спорил с Трескиным. Царь утверждал: «Почему нет?», а его подданный: «Ни в коем случае!» Оставалось поставить эксперимент. Позволит ли кто-то сунуться на чужую территорию? Или, говоря проще, в шелковый карман своего Государя?

Что произошло дальше? Не поверите! Едва царь появился на плацу, как брегет украли. Тут из строя вышел Ходулевич. В его глазах светилось: все же не нет, а да.

Потом об этом судачили. Обсуждали, как кантонист держал на весу руку. Для полноты картины следовало произнести: «Скоро время обеда». Значит, потерь две. Мало того, что исчезли часы, но еще был присвоен жест.

Что говорить, риск немалый. Все могло завершиться не наградами, а тюрьмой и позором. Впрочем, Александр бровью не повел. Даже то, что это сделал еврей, его не смутило.

Больше о Ходулевиче ничего неизвестно. Он остался в истории как автор этой единственной минуты. Что касается Иосифа, то он только приступал. Дальше его ждали не споры с полковником, а схватки с японцами.

Пора на этих страницах появиться врагу. Сначала на горизонте, а потом все ближе. Наконец вы вровень. Точнее, сперва вровень, а потом он оказывается на земле.

Подвиги и прочее

С чего все началось? Почему-то я этого не записал. Трудно быть историком – и солдатом. Перед сном нащупаешь под подушкой тетрадку и думаешь: нет, лучше завтра! Ну а завтра – вновь под пули. Как участвовать и в то же время видеть себя со стороны?

К тому же все его подвиги не перечислить. По сути, сколько было боев, столько раз он становился героем.

На фронте у каждого свой участок. Уж как мне хотелось понаблюдать за Иосифом, но всякий раз я оказывался далеко. После боя расспрошу очевидцев – и иду к нему с поздравлениями. Он в ответ улыбается. Говорит, что увидел меня на дру-

гом конце поля и успокоился. Подумал: если придется погибнуть, то глаза закроет не чужой человек.

Моего друга хлебом не корми, а дай поиронизировать. Он и о пороховом складе шутил. Как-то так: да, смерть была близко. Если бы не испугался, вряд ли ее одолел. Когда понял, что терять нечего – выход нашелся сразу.

Так вот, пороховой склад. Если лет через пятьсот вспомнят моего друга, то прежде всего скажут об этом. Одно мгновение вместило его целиком. Вместе с нелюбовью пафосу. Умением самое трудное делать так, словно это само собой разумеется.

Итак, Иосифа определили в охрану. Возможно, так его проверяли: говоришь, боишься скуки? Это тебе лекарство от уныния. Быстро узнаешь, сколько осталось до конца света.

Представьте, японская бомба у его ног. Такая маленькая и юркая. Подпрыгивает, шипит и едва не плюется.

Кто поблизости, падают на землю. Лучше услышать, чем увидеть. Впрочем, все закончится в один момент. Останется только зияющая воронка.

Как это говорится? Вашему столу – от нашего стола. Иосиф схватил это вместилище смерти за самую глотку и перебросил японцам. Мол, спасибо – не надо. Кажется, смерть от своего оружия у вас называют харакири?

Когда стало ясно, что беда миновала, на солдат что-то нашло. Они уже не впечатывались в землю, а лежали в свободных позах. Не хотелось ничего. Может, только подбрасывать товарища в воздух? Но это только после победы.

Другому этого хватило бы на всю жизнь, а Иосиф входил во вкус. Как-то японцы пошли в атаку и оказались на нашей территории. Мы уже не перекидываемся бомбами, а рубимся напрямую. Вдруг видим – полковое знамя на их стороне. Солдат не поднимает его над головой, а, как ребенка, прижимает к груди.

Мой друг рванул вперед. Как нож сквозь масло прошел через гущу сражающихся. Жаль, древко осталось на поле боя, но полотнище вернулось в полк.

Командование в восхищении. Желает Иосифу самого лучшего. Объясняет, как это сделать поскорей. Прежде всего надо

принять православие. Иначе вряд ли получишь заслуженную награду.

Трумпельдор не отвечает. Только шевелит губами. Надеется, что злые духи услышат «Шма, Израэль» и оставят его в покое.

Как уже сказано, его авторитет вырос. Сам командир не раз демонстрировал расположение. Потом проникся комендант крепости. Или все же первым был комендант? Ведь если начальник рассыпается в благодарностях, то подчиненный сразу присоединится.

В приказе по полку говорилось, что имя Иосифа золотыми буквами впишут в историю. Казалось бы, это дает право передохнуть. Действительно, часа два ничего не было, а потом началось... Это бог войны напоминал: после будете праздновать! Вот наступит мир, тогда и приступайте!

В разведке

Ничего не поделаешь – война. А раз ты герой, то тут вообще нет вариантов. Если где-то особенно трудно, то тебе туда.

Вот почему все пили за Трумпельдора, а он даже не пригубил. Да и мы только чокнемся – и ставим стаканы на стол. Все же идти в разведку лучше на трезвую голову.

Когда Иосиф получил приказ, он взял меня и еще троих. В такой компании мы уже навещали японцев.

Итак, ползем. Становимся ниже травы и тише воды. Может, только птицы о нас знают. Еще собаки – не видят, а чуют. Впрочем, сегодня нам сильно везет. Ветер относит запахи в сторону.

Уже различаем голоса. Возможно, японцы обсуждают, как окажутся дома... Вряд ли это у них получится! Ведь они беседуют, а мы все ближе. Еще немного, и все закончится в этом лесу.

Все шло точно по плану, как вдруг у одного наших котелок ударился о камень. Разумеется, противник это заметил – и бомбы стали рваться одна за другой.

Иосиф приказывает: отползаем. Развиваем такую скорость, что бежать получится медленнее. Наконец мы в безопасности. Оглядываемся и видим, что с нами нет двоих. Одного солдата

и нашего командира.

Тем же маршрутом рыхлим землю обратно. Вдруг слышим – кто-то разговаривает. Уж не Иосиф ли грозитя японскому небу? Обещает вернуться и ответить так, что мало не покажется.

Движемся на голос. Да, это он. Рука раздроблена, кровь течет. Рядом едва дышит другой наш товарищ. Укладываем их на шинели и тащим за рукава. Если мы еще интересны птицам, то они, видно, удивляются. Уж очень непросто не выдать себя и спасти других.

Наконец наша территория. Встаем в полный рост. Итоги такие – Иосифу совсем плохо, солдат мертв. Закрываем ему глаза, стоим молча. Прощай, друг! Дело наше такое, что погибнуть несложно. Сегодня – ты, завтра – кто-то из нас.

Трумпельдор уже не стонет, а чертыхается. Едва не разговаривает с раздробленной рукой. Почему, спрашивает, так получилось? Тело и ноги устояли, а ты сдалась врагу!

Потом Иосиф пропал. В смысле – ушел в себя. Мы его тормозим, а он молчит. Наконец открыл глаза и увидел врача. Услышал, что обезболивающих нет. Слишком много горя на одну войну. Столько морфия не бывает.

Трумпельдор не против. Говорит: «Режьте, буду терпеть». Представьте, слово сдержал. Еще дал пару советов. Все же кое-какой опыт у него имелся. Может, ампутаций не делал, но зубы рвал.

Так и завершили операцию – усилиями хирурга и раненого.

Значит, его война закончилась? Что ж, будем продолжать без него. Пусть он накупит тетрадок – и в бой! За право быть одним, другим, третьим... Кем угодно, но не мишенью для японских стрелков.

Я рассуждал так. Это генералу ущерб позволителен, а у младших чинов всего в комплекте. Одной рукой сжимаешь саблю, а другую подносишь к козырьку... Так что истории больше не будет. Если человек едва жив, то это сугубо личное. Посторонние тут ни к чему.

Всегда выходит наоборот. После того как Иосиф лишился руки, на него посыпались подарки. Он получил унтера и еще одного Георгия. Зачем ему это теперь? Только для того, чтобы

надеть мундир с орденами и отправиться радовать детей.

Так будет лишь в том случае, если Трумпельдор выживет. А вот это – большой вопрос. Все же вообразим лучшее. Он окреп и уехал в Ростов. Издалека поглядывает: как там Давид? Смог ли он найти себя в мирной жизни?

О чем он будет мне писать? О том, что, как прежде, рвет зубы в Еврейской больнице. Впрочем, работа не спасает от мыслей. Смотришь в рот, а видишь Порт-Артур. Думаешь: все ли наши товарищи дожили до этого дня?

Под конец – что-нибудь умиротворенное. Мол, в целом живу неплохо. Можно сказать, «эйн давар». Все же мои пациенты бодры и здоровы. Значит, лечить правильной, чем воевать.

Как бы я на это ответил? О себе бы сказал мельком. Ведь не во мне дело. Куда важнее, что при Иосифе жизнь шла веселее. Хотелось чего-то большего. Такого, на что сами мы неспособны, а с ним получалось легко.

На пути к выздоровлению

Еще долго Иосиф держался на этом свете одной рукой. Да и у этой, единственной, лишь пальцы шевелились. Пытались сказать что-то вроде: только в гробу бывает хуже.

Я так привык, что любой пропадет, а Иосиф выкрутится, что не сразу оценил ситуацию. Потом вижу: нет, что-то не так. Да и врач уж очень явно отводит глаза. Тогда я понял: можно. Говорю нашему полковнику: кажется, скоро. Позвольте похоронить, как положено по обряду.

Даже командир иногда робел перед смертью. Еще оспоришь желание покойного, а потом и тебя проводят не так. Тут же человек практически невоенный. Возможно, он бы отказал живому, а такому, как Иосиф, – почему не разрешить?

Как вы знаете, Трумпельдор все делал по-своему. Ну а насолить начальству – для него вопрос принципа. Если дано согласие на похороны, то он должен поправиться. На войне не бывает лишних.левой у него нет, но правая есть. Держать пистолет с шашкой не выйдет – так он постреляет, а затем будет рубиться.

ДОКУМЕНТЫ

Всякий раз нахожу в документах что-то новое. Так чувствуешь себя, возвращаясь в родные края. Вроде знаешь каждую кошку, но вот солнце легло иначе – и впечатление меняется.

Пожалуйста, пример. Как я мог это пропустить! Пишет сослуживец Вольфа Трумпельдора. Так и вижу их встречу в Еврейской больнице. Чуть ли не хором они восклицают: если бы Иосиф находился рядом, мы бы лечили его не только хорошими словами!

Вздохи, понятно, риторические. Иосиф далеко, и помочь ему можно только письмами. У этого послания шансов больше всего. Больно правильная интонация. Профессионально-врачебная. Что-то вроде: «Все за вас. Симпатии, молитвы и, возможно, Тот, кто решает наши судьбы. Так что вы обязательно победите».

«Милый Иосиф Владимирович! – пишет врач. – С тех пор, как неприятельские ядра свищут над Вашей головой, я особенно интересуюсь Вами. От души желаю, чтобы Вы вышли целым из этой опасности. Будем верить и надеяться, что общие симпатии, которые Вы пробуждали во всех Ваших знакомых, сольются в одну молитву, которую услышит Бог и сохранит Вашу жизнь. Мы счастливы, что такой светлый еврей смело выставил свою грудь на защиту дорогого Отечества!»

Такое письмо-рецепт. Ингредиенты самые необходимые. Хорошие слова – буквально все. Главная мысль такая: неужели война его проглотит? Не примет во внимание, что таких людей раз-два – и обчелся?

Важнее всего врачу, чтобы больной выжил. А если у пациента на все свое мнение? Он тут не для того, чтобы вернуться на родину, а затем, чтобы дойти до победы. Что касается гибели, то почему нет? На войне никто не знает, как повернется.

Оказалось, доктор прав. Его молитвы соединились с молитвами ростовчан и дошли куда надо. Бог услышал и решил: если столько хороших людей просит, то как можно отказать?

Первый бой после ампутации

Противный я человек. Лучше всего у меня получается воз-

ражать. В отличие от ростовского доктора, я не верил в выздоровление. А уж планы вернуться на фронт у меня вызывали ухмылку. «Может, хватит? – говорил я. – Свято место пусто не бывает. Без тебя найдутся храбрецы».

Теперь повинюсь еще раз. Мне следовало поселиться в госпитале, но я был на службе. Всякий раз надо отпрашиваться. Однажды командир назвал меня бездельником. Вижу, говорит, твою выгоду. Лучше просиживать штаны рядом с кроватью, чем лежать в окопе.

Все же раз в неделю он проявлял снисхождение. Кивнет издалека, и я сразу лечу. Прямо ног не жалею, чтобы поскорей выяснить: как там мой друг?

Однажды полковник не отпускал меня две недели. Потом вдруг сам говорит: если твой приятель еще жив, то можешь его навестить.

Я рванул. Вхожу в палату, а навстречу идет он. Шаг хоть и не строевой, но бодрый. Про руку не говорю. Сразу видно, что его одна столя же активна, как две.

В ответ на мои восторги Иосиф предложил помериться силой. Ставим наши правые локтями на стол. Пыхтим, но не сдаемся. Потом одна медленно поддается. Много я бы отдал, чтобы это была его, а не моя рука!

Вот такой, думаю, у меня друг! Даже в благодарность за хлопоты не хочет мне подыграть.

Что, вы думаете, сказал Трумпельдор? Больше всего, говорит, хочу воевать. Дальше он хлопнул меня по плечу и произнес: «Эйн давар». На сей раз это значило: позволь отношения с японцами мне строить самому.

Оставалась надежда на начальство. Вдруг все же оно не позволит. Зачем однорукий на войне? Тут я узнаю, что прямо из госпиталя Иосифа возвращают на фронт. Видно, дела были совсем плохи и армии срочно требовались герои.

Действительно, с появлением Трумпельдора сил вроде как прибавилось. Мы кричали громче и бежали быстрее. Особенно нам нравилось, когда он звал в атаку и скидывал вверх единственную руку. В эту минуту казалось, что его фигура парит.

Дополнение 1961 года.

Написано на оборотной стороне листа

Время от времени мой телефон звонит. Поздравляю с праздником! Читали ли вы сегодня газету? Я слушаю, но вскоре взрываюсь. Вы когда-нибудь были в моем положении? Жили среди умерших? Впрочем, с теми, кого нет, я чувствую себя спокойней. Они хотя бы не говорят ерунды.

Трубка что-то промямлит и начнет прощаться. Сразу ясно, человек ушел в свои мысли и не хочет возвращаться обратно.

Что ж, так и есть. Сколько лет я не оставляю поста на балконе. Вперед, кресло-качалка! Скоро мы прискачем к истине. Когда начинаешь чувствовать ритм, думается особенно хорошо.

Что за вид открывается отсюда! Перезваниваются церкви. Перекрикиваются муэдзины. Впрочем, этим меня не удивишь. Самые интересные картины обнаруживаются в прошлом.

С чего начинается разговор с собой? Почему так, а не иначе? Отчего эта, а не другая последовательность? В конце концов обнаруживаешь связь между пятым и десятым. Удивляешься: так вот оно что! Петелька – крючок – петелька!

ДОКУМЕНТЫ

Хорошо, что Иосифу пишут сестры. Значит, фронт – это не только кровь, разрывы, крики «ура». Вдруг посреди этого безумия расслышишь родной голос. Хотя бы ненадолго почувствуешь себя рядом с близкими.

Основная тема такая. Какой взрослый наш брат! А мы такие маленькие! Так что не сердись и прости. Можно ли в нашем возрасте видеть далеко? А уж представить Порт-Артур совсем невозможно! Да и желания нет. Без того хватает проблем.

У барышень своя война. Сколько лет Дора нападает на Любу, а Люба на Дору... Если бы рядом был брат, сестры бежали бы к нему пошептаться. Они и сейчас вроде как шепчутся. Почерк у них столь же неразборчивый, как тихие голоса.

«Дорогой Ося! Очень обрадовались мы, когда получили от тебя письмо, и немного опечалились, узнав о твоей ране. Мы получили письмо вчера, 2 апреля, и сегодня все сели написать

тебе ответ, даже Люба, заурядная лентяйка. Она, как тебе сообщила Юзя, осталась на второй год в 7-м классе. Я же думаю не остаться, а перейти в 6-й класс без экзамена».

Порой в одном конверте – послания от обеих сестер. Конечно, каждая поинтересовалась, что пишет другая. Так что обращаются они не только к Иосифу, но и друг к другу.

«Что мы рады твоему письму, кажется, писать уже нечего, потому что все тебе об этом писали, но все-таки опять повторю, что мы очень обрадовались. Мама, не получая после первого известия письма, думала, что тебя уже нет в живых, да и теперь еще верит с трудом. Обо мне уже кажется, постаралась тебе написать Дора, что я и лентяйка и осталась на второй год, одним словом, все плохое.

Прости, дорогой Ося, что я тебе не писала. Не подумай, что это от моей нелюбви к тебе, как говорит папа, это просто от моей ненависти к письмам, во-первых, а во-вторых, Дора все опишет так, что мне ничего не остается. Ты спрашиваешь, что я делаю и собираюсь делать после окончания гимназии?.. Как тебе сказать? Это будет зависеть от папиных финансов, которые, между прочим, очень плохи. И от беспорядков в России, так что не знаешь, где будешь завтра и будешь ли еще жив. А хотелось бы мне на историко-филологическое... Сейчас же я ничего не делаю... Из гимназии приду, читаю, хотя читать нечего, в библиотеку не записаны, читаю что попало, без всякой системы. Ходить мне некуда, так что сижу дома, в театр хожу редко, папа любит, чтобы мы были в 8-м дома, рукодельничать тоже не рукодельничаю, одним словом, тоска смертная. Но я думаю, с твоим приездом все переменится... Голос у меня переменился далеко к лучшему, окреп, думаю с осени учиться петь. Я тебе буду каждый день петь по приезду в Ростов. Скорее бы уже ты приехал, чтобы выяснилась дальнейшая наша жизнь.

Мама надеется, что тебе дадут тысячу, даже больше... Да! Самое главное, я тебе не сказала о своей наружности. Она всех поражает, да ты меня не узнаешь! Я громадного роста, почти как ты полная. Широкоплечая, одним словом. Я известна под именем «гренадера» в Ростове... Привозить ничего не привози, лучше деньги эти дашь нам, кстати, они нам очень нужны...»

Такие несхожие характеры. Младшая держит нос по ветру, у старшей все вызывает тоску. Она и себе не нравится. В театр не ходит, рост чрезмерный, книги читает не те. Да и вокруг ничего хорошего. Сложно жить, когда не знаешь, что будет завтра.

А что, если старшая притворяется? Больно вовремя она растеряна – или деловита. Как раз сейчас собрана. Если брат не понял – может повторить. Да еще прибавит, как ей видится его возвращение. Нет, речь не о подарках. Сейчас деньги нужней.

Как видите, у каждой сестры своя роль. Люба по большей части смотрит внутрь, а Дора вовне.

Каждый день у Доры что-то происходит. Скорее по мелочам, но бывает и серьезное. Вот хотя бы холера. Это событие подобно визиту зарубежной знаменитости. Ну а что? Вряд ли Ростов посещали более известные гастролеры.

«Тут... будет, кажется, холера, потому что принимают меры. Градоначальник, например, велел во всех больницах читать лекции, куда, между прочим, записалась Соня, которая живет у нас в Ростове, и Лиза Шерстьян».

Самое правильное встретить холеру лекциями. Только услышал о ней – и спешишь набраться ума. Главное не только получить советы, но успеть ими воспользоваться.

Эпидемию обсудили? Теперь другие новости. В один абзац их набилось под завязку. Под конец вспомнила Лизу – и свернула в сторону. Во-первых, она «скоро тебе напишет». Во-вторых... Тут не только во-вторых, но в-третьих, и в-пятых...

«Она послала твой адрес Моисею, который сбежал от войны в Америку. Поселился он в Нью-Йорке, у своего дяди, который ходатайствовал за него и устроил его хорошо. Он просит твой адрес, но Петр Моисеевич Канн поехал в начале зимы в Харбин, и с ним поехала его жена и Нюня, которая засватана и выходит скоро замуж. Лиза с Гаазе разошлась, и Гаазе женился на нашей Нюре Аксельбандт. Михаил Моисеевич ездил в Харбин, где хорошо заработал, и вернулся в Пятигорск, так как начинается сезон... Напиши подробно о японцах, они меня очень интересуют».

В финале Дора себя одернула: что это я все о себе? Брат на фронте, и у него, наверное, тоже проблемы. Не очень ли ему

досаждают враги? Думаю, Иосиф ответил шуткой. Мол, вижу противника через прицел. Да и во время рукопашной разглядеть трудно. Приходится верить тому, что пишут газеты.

Дора продолжает забрасывать Иосифа новостями. Как всегда, их у нее воз и маленькая тележка. Имен столько, что поневоле запутаешься. Приходится перечитывать несколько раз.

«Мы теперь время проводим не праздну, целый день почти что мы шьем, немного читаем, а потом идем гулять в клуб. У нас теперь хороший оркестр играет в коммерческом клубе под дирижерством некоего дирижера Литвинова. Пиши почаще, когда мы получаем твои письма, то у нас праздник, во-первых, весь Ростов знает об этом и масса народа приходит к нам читать твои письма».

Представьте, Иосиф сидит в окопе, а тут какой-то Литвинов. Сперва удивишься незнакомому имени, а затем едва ли не поприветствуешь. Здравствуй, любезный! Хорошо, что вы есть. Вообразишь ваши выступления – и успокоишься. Начинаешь верить, что скоро домой.

Кстати, вот ответ на вопрос: чем жить после победы? Да этим самым. Тем, что Литвинов за дирижерским пультом. А еще тем, что жены его братьев исправно рожают. Что ни год, то в семье пополнение.

Больше всего он хотел заглянуть в прошлое. Или, по крайней мере, его представить. Как тогда было хорошо! Сверчок стрекотал, разговор журчал. Возможно, обсуждалось что-то вроде этого.

«Милая Дора! Спасибо тебе, а еще больше твоему вдохновению за письмо. Почаще бы находило на тебя, да и на других наших оно, это твое вдохновение, тогда мне было бы гораздо веселее и легче. За отметки – молодец! Хотя я надеюсь, что мль, носящая имя Доры Трумпельдор, в будущем будет иметь еще лучшие отметки. Осмеливаюсь даже, иногда в хорошую погоду, мечтать о том, что ты первая ученица.... Впрочем, стой, я похвалил тебя, а тебя стоит и побранить. Зачем на Пасху обыграла Рахиль и Олю в орехи?.. Поздравляю тебя с новым племянником, а маму с внуком...»

Немного странно. Иосиф прошел целую войну, а у его близ-

ких все как обычно. Правда, прежде не играли в орехи, а сейчас появилась такая мода. Как вы догадались, побеждает Дора. Взглянет грустно, скажет что-то скептическое, а затем непременно возьмет верх.

Не скажешь, что это пишется с фронта. Лишь под конец письма война все же вторгается. Впрочем, выглядит это совсем не страшно. Сколько раз бывало такое. «...В ночь на 16 апреля подошла к крепости японская миноноска и сделала несколько выстрелов, метя в прожектор (электрический фонарь), но вреда не причинила».

Как не вспомнить его коронное: «Эйн давар»? Все, действительно, ничего. Иосиф сражается, Дора учится, Моисей обзавелся должностью... В эту симпатичную картину ненадолго вторглась миноносец, но все обошлось. Так из леса выходит медведь. Побуянит – и что? Остается только неприятное ощущение.

Иногда письма Доры доносили отзвуки семейных споров. Впрочем, сначала – все тот же воз и маленькая тележка. Она так и сыплет событиями. Вновь Лиза. Ее сестра Нюня. Любительские спектакли. Пасха... Когда говоришь без умолку, то главного вроде как нет.

«Тут, в Ростове, был недавно Герман наш, ехал он в Харьков держать экзамен. Тебе Лиза Шерстьян, кажется, послала недавно письмо. Ее сестра Нюня засватана, и, кажется, скоро будет свадьба. Нас в гимназии отпустили на Пасху на 3 недели почти что. Я теперь позанимаюсь за Пасху, чтобы перейти в 6-й класс без экзамена. Мы, ученицы и ученики, устраиваем любительские бесплатные спектакли... Мы теперь даем водевили только, но скоро будем ставить и драмы... Газеты в Пятигорске продавались по рублю, где писалось о тебе, и здесь, в Ростове, нарасхват раскупались. От Миши получили письмо недавно недели две тому назад... Я на эту Пасху, да не только я, а мама, Соня, Люба, Юзя ели хлеб, кроме папы. Ну а как ты, Оська, провел Пасху?.. У нас ожидается холера, но ее, наверное, не будет, так как приняты меры... Хоть бы война скорее кончилась, чтобы ты приехал. Целуем тебя все, все крепко и желаем тебе всего хорошего. Не скучай, скоро увидимся (хоть бы скорей)».

Вот сколько всего! Когда же дошла до основного, стала неразговорчивой. Впрочем, что тут объяснять? Хотя есть хлеб в Пасху не разрешается, они себе не отказывают. Правда, не все к этому относятся спокойно. Отец Вольф смотрит букой и упрямо ест мацу.

Заодно с ней Соня, Люба и Юзя. Что касается брата, то тут полной уверенности нет. Иногда кольнет: «А вдруг Иосиф как отец?» – и Дора спешит дальше. Ведь чтобы не расстраиваться, надо на этом не застревать.

Нет, не второстепенная это проблема. Об этом же говорится в письме его двоюродной сестры. Как хорошо она пишет! Редко так бывает: читаешь и сразу представляешь автора.

Симпатичная эта Анюта. Лет, скорее всего, мало. Или гимназистка, или учится на курсах. На Пасху не пьет вина, а только смотрит, как это делают другие. Правда, вопросы у нее взрослые. Да и ответы. Прямо удивительно, как она все понимает.

«Слава Богу, хотя изредка мы имеем от Вас письмо. Как я рада, что Вы живы и, Бог даст, будем опять видеться. Почему Вы так редко пишете? Чем занимаетесь? О себе Вы очень мало пишете... Я горжусь тем, что у меня есть такой брат. Оля и Рахиль ждут Вас с нетерпением, у нас теперь Пасха, и Оля, когда пьет вино, всегда за Ваше здоровье. Как Вы праздновали Пасху? Была ли у Вас маца? Первый седер были у папаши, и темой разговора были только Вы. Вы уже, наверное, говорите по-японски и английски, это было бы недурно. У нас все по-старому. Россия накануне новых раздоров. Ждут весны. У евреев большие надежды на более светлые дни, но пока вроде мало радостно... Вообще я думаю, что к Вашему приезду в России будет не то, что было... Милый Ося! Выздоровливайте и набирайтесь силы, чтобы бороться с жизнью».

Дора осторожно спрашивала: «...как ты... провел Пасху?..», а Анна прямо задает вопрос: «Была ли у Вас маца?» Если в эти дни ели хлеб, то какой это праздник? Да и о прочем сказано верно. Хотя бы вот это, о знании языков. Больно заторопилось время. Возможно, Иосиф еще не вернется, а Россия будет другой.

Первый конец войны

Ситуация на фронте плохая. Снаряды кончаются, есть нечего. О поражении говорят в полный голос. Кажется, сделать ничего нельзя. Если только оставить память. Что ж, мы себе в этом не отказали. Превратили треклятый город в столб из огня и дыма.

Знаете, как ведут себя рассерженные дети? Ломают игрушки. Вот и мы крушили все, что попадалось под руку. Недавно мечтали о выпивке, а сейчас проливали вино как воду. С радостью наблюдали, как слякоть пожирает все.

Дальше случилось то, что каждый хоть раз видел во сне. Русская армия сдалась. Теперь мы все – измученные, взвинченные, плохо соображающие – попали в руки врагу. Каждому из нас хотелось погибнуть в бою, но судьба предложила плен.

Что еще придумали противники! С офицеров взяли расписку, что они не будут воевать. Не только на Дальнем Востоке, но вообще нигде. Пусть разводят цветы в полисаднике! Предлагаю, как наш полковник обращается к растениям: выправка военная, смотрим на солнце, растем вверх!

Смешно, конечно. Офицеры умеют только командовать и стрелять. Впрочем, теперь они нас мало интересовали. Мы остались в плену без начальства.

Испытывали ли вы что-то подобное? Начальства нет! Конечно, есть японцы, но это другое. А вот наше родное командование испарилось так резко, что не оставило последних распоряжений.

Если вы этого не пережили, я объясню на примере. По большей части солдат чувствует зависимость. Лишь в бою он раскрепощается. Кажется даже, прибавляет в росте. Да и в голове стучит: я сам по себе! Не только выполняю задание, но действую по ситуации! Поэтому выходов у меня два. Могу погибнуть, но могу и победить.

Скоро я расскажу про нашу жизнь под японцами, а пока удивимся. Вот в какие кошки-мышки играет судьба! Предлагает: удержишь? Лишишься руки – и пойдешь на фронт? Или не удостоишься офицерского чина – и окажешься в японском плену.

Наверное, это и есть «эйн давар». В короткой перспективе –

ничего хорошего, а в долгой – все ничего. Такое везение человеку с биографией! Сто раз оступится, но все же придет куда надо.

Правда, на каждом этапе свои скорости. В юности перепрыгиваешь через ступеньки, а в старости не пропустишь ни одной. Да и устаешь сильно. Поэтому хоть раз остановишься. Посидишь, вытянув ноги, а потом опять в путь.

*Дополнение 1961 года.
Написано на оборотной стороне листа*

Перечитал то, что тут написано, и подумал: а как же мой адресат? Да, он, мой дорогой праправнук. Вряд ли ему известно об этих событиях. Наверное, не догадывается, где находится Порт-Артур. Уж так мы устроены: довольствуемся тем, что вблизи. У нас есть свои города и, конечно, свои войны.

Ах, если бы моего праправнука назвали Давидом! Это значило бы, что и через сто лет обо мне помнят. Предположим, так и есть.

«Дорогой Давид! – говорю я. – Извини меня, неуспевающего. Самое важное всегда делаешь в последний момент. Вот и сейчас почти все рассказано, а еще ничего не объяснено.

Надо сказать, из тех войн, в которых я участвовал, эта самая непонятная. Конечно, на фронте мы старались об этом не говорить. Во-первых, все ясно и так. Во-вторых, тут ничего не делаешь. Раз судьба привела в эти края, то будем биться до последнего.

Другое дело, когда Порт-Артур давно позади. Да и старость наступила. Для того нам дано это время жизни, чтобы задаваться вопросами. Лет до тридцати мы отвечаем, а после восьмидесяти вопрошаем.

Вот если бы мы победили, то тогда бы в этой истории появился смысл. Нет, проиграли вчистую. Причем не один раз. Порт-Артур, Цусима, Мукден... Все это не названия городов, а имена беды. Сколько здесь полегло русских и японцев! Так и вижу их рядом – с застрявшим в горле криком «ура!», с винтовкой, сжатой в руках, около невыстрелившей пушки...

Поначалу мы были уверены, что долго воевать не придется.

Да и может ли быть иначе? Неужто мы не справимся с этими недомерками! Вскоре стало ясно, что рост ни при чем. Для храбрости и напора это не помеха.

Мы уже не называли противников «япошками» и «маками». Да и разговоры о победе оставили генералам. Ведь их задача – заговаривать зубы, а наша – держаться до конца.

Знаешь, что мы поняли еще? Сражающиеся непримиримы друг к другу, но когда они погибают, то становятся едва не товарищами. Видно, смерть справедливей, чем жизнь. Для нее нет чужих. Все свои, каждого жалко, всех ждет одно. Вместе они отправятся на небеса и там обретут прощение.

Удивлен, Давид? В твои времена случалось, чтобы вроде бы здоровые люди затеяли авантюру? Да еще вовлекли в нее столько сограждан. Ну что, говорят они, пробил ваш час. Вот винтовка и сабля, чтобы биться с врагом. Если вы сейчас не проявите инициативы, то вас опередят.

Самое интересное, что прежде мы были не нужны. Они даже отгораживались от нас чертой оседлости. На жительство в столице или место в университете требовалось разрешение. Еще надлежало не превысить норму. Евреев должно быть столько – и ни одним больше.

Что касается войны и героизма, то тут иной подсчет. У русских раз в два года берут семь рекрутов на тысячу человек, а у евреев десять и каждый год. Спасибо, конечно, что вы в нас верите, но лучше бы пораньше. Не тогда, когда следует умирать, а когда предстоит жить.

Мы бы запутались в этих обстоятельствах, если бы не Трумпельдор. Как у него получалось вносить ясность? Бывало, посмотрит строго – и нехорошие мысли исчезают. Только что мучили, буквально – атаковали, а вот уже – выветрились из головы».

Дополнение 1961 года.

Написано на оборотной стороне листа

Через много лет я повторяю за ним: «Эйн давар». В общем-то, на что жаловаться? У каждого время что-то отняло, но кое-

что и прибавило. Вот и моя качалка с этим согласна. Кивок в одну сторону, кивок в другую. Вроде как установилась золотая середина.

О чем переживать человеку, находящемуся в самом конце жизни? Да еще в такой прекрасный день? Нет, никак не расслабаться. Мыслей в голове не меньше, чем пороха в пороховнице. Кажется, еще немного и вместе с ними взлетишь на воздух.

БРИНС АРНАТ

Одни города несправдливо красивы, а другие сложены из камней. Таков Иерусалим. Кованса Амор, чего еще – сиди на балконе, автор бестселлера «Железные друзья», в гомоулицы, начинаешь слышать то претии тека. Можно не вставать с кресла и слышать то же Иерусалимского королевства.

Радость этого путешествия заключается в том, что ничего нового не будет. Все как всегда. Сейчас, за поворотом, я увижу знакомого нищего. Который год он сидит здесь и читает Тору.

Видно, для него нет пространства (а потому он вроде как слился с этим местом), но зато есть бесконечный колодец времени. На сайте книги ridero.ru/books/brins_arnat/

Почему я о нем вспомнил? Потому что без этого нищего не представить город. А еще потому, что он как я. Хотя я вглядываюсь не в столь далекие времена, а в мое время, о героях, их исторических прототипах

Чему нас учил Иосиф «Свистящие трубки» – выйдет туманно

спрашивайте во всех интернет магазинах страны

ozon.ru
выбирайте

ЛитРес

amazon



так что верней сказать – «биографии». Он внушал, что человеку нужна цель. Чем точнее она сформулирована, тем скорее будет осуществлена.

Вновь спрашиваю себя: почему мы спешили выполнить то, что он требует? Мало ли кому чего хочется! Отчего бы не сказать: сперва получи для этого полномочия и тогда проси!

Ответ на этот вопрос нашелся не сразу. Прошли все те же сакральные сорок лет. Хотя я блуждал не по пустыне, но прямых путей у меня не было. Да и солнце палило. Особенно сильно в палестинский период моей истории.

Наконец, все стало понятно. Я не только знал о ключе, но буквально его видел. Вот он поблескивает из глубины! Тот, кто им воспользуется, об этом не пожалеет.

Откроем Вечную книгу там, где лежит закладка. Прочитаем вслух или про себя. Удивимся, что совпадает все, кроме слов о первинках винограда.

«И осмотрите землю, какая она, и народ, обитающий на ней, крепок он или слаб, мал он или велик числом. И какова земля, на которой он обитает, хороша она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, в открытых ли станах или в крепостях. И какова земля, тучна она или тоща, есть на ней древо или нет; крепитесь (духом) и возьмите от плодов земли. Пора же была порой первинков винограда».

Кстати, о винограде. Все же мы его вкусили. А заодно нам вдоволь досталось апельсин и гранат. Да мало ли какие еще встречались плоды! Вкус помню, а названий не знаю.

Значит, дело только в том, чтобы уметь ждать. «Ах, это вы мучились и терпели? – скажет Тот, Кто Нам Дает Все. – Тогда осмотрите землю... крепитесь... возьмите от плодов земли...»

Спасибо, – говорю я своему креслу-качалке, – умеешь ты успокоить! Я раскачиваюсь на твоих волнах и вижу перед собой город. Впрочем, и на мою жизнь отсюда отличный вид. Чем дальше вглядываюсь, тем ярче картина. Прежде в глаза бросалось то, как разметались линии, а теперь угадывается узор.

Игорь Шихман

НАЗНАЧЕН В ГЕРОИ

Документальная повесть

История человека, якобы поставившего точку
в самой кровопролитной войне человечества

Неожиданный, пронзительный до истеричности, сигнал заставил вздрогнуть и оторваться от работы. Звонил телефон, стоявший на столе заведующего отделом – прямая связь с главным редактором. Черный аппарат, не имевший наборного диска. Этот вид связи начальник – подчиненный, в советские времена существовал на разных уровнях. Каждый начальник стремился любой ценой завести в возглавляемом им учреждении эту систему. Еще была система так называемой правительственной связи, у нее были аппараты с государственным гербом. Иметь такой телефон в кабинете могли лишь избранные. Он определял принадлежность к небожителям и служил высшим индексом доверия партии. Все эти системы в обиходе назывались «вертушками».

Мне на своем веку довелось вдоволь послушаться их звонков. Все они, словно по специальному указанию, были резкими и пронзительными, как полицейская и пожарная сирена. Один мой коллега, сын академика и известного советского психиатра, удивительно метко назвал звонки «вертушек» «психотропным средством, подавляющим волю подчиненных». В этом была немалая доля истины.

Пока я размышлял, аппарат продолжал звонить. Пока не дошло, что я единственный в комнате и некому, кроме меня, ответить главному редактору.

Услышав чей-то голос, он сначала бросил реплику про спящее царство, но узнав, что моего шефа нет на месте, сменил тон.

– Собственно, ты мне и нужен, – сказал он. – Зайди ко мне.

На ум тут же опять пришла фраза по поводу подавления воли подчиненных. Правда, с волей все было в порядке. Тем не менее, немедленно припомнились все грешки, опечатки и ошибки, которые мог допустить за последние дни. Вроде ничего серьезного, что могло вызвать повышенный интерес к моей персоне, не произошло.

Наш главный редактор Виктор Яковлевич Пушкарев, несмотря на то, что прошел иезуитскую школу аппарата ЦК КПСС, сохранил порядочность и уважительное отношение к людям, включая подчиненных. Он был начисто лишен предрассудков партийных бонз, в частности, антисемитизма. Ценил сотрудников по способностям, а не по «пятому пункту». Неслучайно, треть творческих работников были евреи. Мы знали, что время от времени это обстоятельство ставилось ему в укор, но Пушкарев каким-то чудом умудрялся решать проблему, не давая нашего брата в обиду.

Разговор он начал с пустяков – вопросов, которыми обычно главный не интересовался. Это слегка смутило и я, слушая его, гадал, что же Пушкарев приготовил напоследок. У партаппаратчиков была манера говорить о важном в самом конце беседы. Как бы между прочим.

Наконец наступил момент истины.

– Ты на неделю освобождаешься от работы в отделе. Завтра поставлю в известность Андреева (завотделом), – сказал главный. – Будешь участвовать в проведении встречи Героев.

Минуту-другую помолчал, рассматривая меня в упор, и добавил;

– Задание у тебя весьма деликатное. Послезавтра встретишь во Внуково Мелитона Варламовича Кантарию и будешь его опекать всю неделю. Надеюсь, ты знаешь, кто он?

Вопрос был явно неуместным. Еще бы не знать Кантарию?! Я, выросший в семье кадрового офицера, был воспитан в духе преклонения перед ратными подвигами.

... Этот разговор состоялся зимой 1975 года, в канун 30-летия Победы, когда в стране в полном смысле слова развернулась грандиозная подготовка к празднованию этой знаменательной даты. Прежде с такой помпой этот праздник не отмечали.

Я хорошо помню период правления Хрущева. К моменту его смещения уже учился на факультете журналистики. Никита Сергеевич, лично виновный в ряде серьезных, граничащих с катастрофой поражениях Красной Армии, не любил вспоминать о войне. Некоторые военные историки считают, что он чудом избежал участи генералов, расстрелянных за ошибки, допущенные на начальном этапе войны. Именно Хрущев, став полновластным хозяином Кремля, утвердил в обществе, мягко говоря, неуважительное отношение к фронтовикам. Хорошо помню то время, когда отец и его товарищи стали избегать надевать даже по праздникам ордена и медали. Кто-то на улице мог запросто бросить в лицо колкость по поводу напяленных погребушек.

Хрущев боялся армии. Особенно после устранения Жукова. В свою очередь офицерский корпус тихо ненавидел Никиту Сергеевича. Он отвечал тем же.

Эпоха Леонида Брежнева ознаменовалась диаметрально противоположным отношением к войне и ратным подвигам. Он считал войну своим звездным часом, позволившим ему, простому партийному секретарю, каких сотни, а может и тысячи, блеснуть, попасться на глаза Сталину и начать восхождение к вершине власти. Помпезное празднование 30-ой годовщины давало Брежневу шанс еще громче заявить о своем особом выдающемся вкладе в разгром фашизма. Поэтому средств на проведение юбилея не жалели. К его подготовке привлекли весь идеологический аппарат государства.

Наша газета «Советская торговля» с благословения Центрального Комитета внесла свою лепту в эту эпопею. Была организована встреча Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, работавших в торговой сфере. Таких набралось сорок четыре человека, в том числе Мелитон Варламович Кантария, числившийся заведующим мясным магази-

ном на колхозном рынке в Сухуми.

...Главный выдержал довольно продолжительную паузу, видимо, давая мне время осмыслить значимость поручения. Потом взялся за отложенные на время разговора бумаги, тем самым давая понять, что я свободен.

— Еще одно: не задавай ему лишних вопросов. Прежде всего, о штурме Рейхстага, — поставил точку в разговоре Пушкарев.

Не понимая в тот момент причин столь странной, на первый взгляд, рекомендации, я ее воспринял как руководство к действию. Словно почувствовав мое недоумение, главный добавил:

— Об этом настоятельно посоветовали в ЦК.

Очень подмывало спросить, чем это вызвано, но сдержался. Оставалось теряться в догадках.

На следующий день покопался в редакционной библиотеке, пытаюсь разжиться дополнительной информацией о человека, которого предстояло опекать. В душе надеялся, что удастся пролить хоть какой-то свет на непонятные рекомендации, полученные от главного. Однако ничего нового, кроме известных фактов писанных-переписанных, раздобыть не удалось.

Мне в детстве часто повторяли пословицу « утро вечера мудренее». Сначала родители, потом школьные учителя. В моей истории мудрее оказался вечер.

Когда в конце дня редакция опустела, заглянул к заведующему отделом информации Саше Фридлянскому, любившему задержаться допоздна, чтобы поработать в спокойной обстановке.

Александр Натанович был моим учителем и наставником в журналистике. Сам начинал в армии фотокорреспондентом. С «лейкой» прошел дорогами войны от первого до последнего дня, встретив Победу у Кенигсберга. Еще успел поучаствовать в разгроме японцев.

Фронтовые пути свели и подружили Сашу со многими видными военачальниками и журналистами, ставшими впоследствии известными писателями. В частности, Константин Симонов в своих мемуарах посвятил ему целую главу.

Войдя к нему в кабинет, я не поверил собственным глазам. Удача шла ко мне навстречу. За огромным Сашиним старин-

ным столом (он, ветеран газеты, утверждал, что до него обладателем стола являлся Анастас Иванович Микоян, в его бытность наркомом торговли СССР) сидели три человека – легендарные фотокоры Великой Отечественной войны Марк Редькин, Яков Рюкин и Виктор Темин. Их снимки поверженного Рейхстага обошли газеты и журналы всего мира.

Последний из них даже умудрился из личного самолета маршала Жукова на бреющем полете снять Знамя Победы. Потом он уговорил экипаж (всезнающие коллеги утверждали, что это стоило Темину нескольких ящиков водки) лететь в Москву. В «Правде», которую он представлял, экстренно проявили фотопленку и фото пошло в номер. Дождавшись тиража, фотокор взял несколько пачек газет и помчался на Центральный аэродром, где его ждал трясущийся от страха в буквальном смысле слова экипаж.

Маршал, прознав о самовольстве корреспондента, был взбешен. Порученцы военначальника – приятели Виктора, потом рассказывали ему, что Жуков грозился отдать правдиста под трибунал. Темина спасло то, что по жизни он был не только классным фотокором, но и большим хитрецом. Фотокорр попросил пилота на обратном пути до посадки пролететь на бреющем полете над центром Берлина, где концентрировались советские штурмовые части. В открытый люк он сбрасывал пачки «Правды» прямо на головы солдат и офицеров. Узнав об этом, Жуков, сменив гнев на милость, простил Темина.

Спустя годы, когда Виктора Антоновича не стало (пусть земля ему будет пухом!), выяснилось, что с его историческим снимком тоже не все чисто. Темин сфотографировал разбитый купол Рейхстага, а Знамя уже дорисовал искусный правдистский ретушер. Тогда-то мне стало понятно, почему другой фронтовой друг Фридлянского – известный поэт Евгений Долматовский подтрунивал над вездесущими военными фотокорами, в частности, над Теминым.

...Четверка старинных товарищей собралась, чтобы отобрать фронтовые снимки для альбома, готовящегося к выпуску в издательстве «Молодая гвардия». Поняв, что лучших источников информации мне не сыскать, тут же изложил разговор с

Пушкаревым.

Первым откликнулся Темин. Он, несмотря на солидный возраст, ему тогда было около семидесяти лет, сохранил взрывной динамичный характер.

– Чего удивляешься? – сказал Виктор Антонович. – Канта-рия если что говорит публично – то по шпаргалке, которую ему пишут.

Марк Редькин утвердительно кивнул головой, подтверждая справедливость сказанного.

После короткой паузы друзья Фридлянского заговорили все сразу, дополняя друг друга. Благо люди, прошедшие дорогами войны, идеально помнили события давно минувших дней, словно это было вчера. Из их коллективного рассказа у меня сложилась полная картина водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Тогда это было откровением, напрочь опровергавшим официальную версию. Сейчас все доподлинно известно всем, но я коротко перескажу, как все было. Подчеркну, что я не пытаюсь открыть Америку.

... 29 апреля утром вплотную к Рейхстагу подошли подразделения 150-ой и 171-ой стрелковых дивизий 3-ей ударной армии 1-го Белорусского фронта. Последний оплот гитлеровского режима обороняли отборные головорезы, встретившие советских воинов ураганным огнем.

Следующим утром батальоны обеих дивизий предприняли отчаянную попытку овладеть зданием, превращенным в неприступную крепость. Осажденные мощным огнем отразили первый штурм.

В 13.30 после интенсивной артподготовки советские части начали вторую атаку. Юрий Левитан сообщил по Всесоюзному радио, что в 14.25 30 апреля над последним оплотом фашизма поднято красное знамя. На самом деле это случилось значительно позже, в этот день только поздним вечером. Оплошность вышла из-за поспешности командира 150-ой дивизии генерала Шатилова, выдавшего желаемое за действительность, и доложившего командарму, а тот по инстанции дальше.

К первому Знамени, появившемуся над Рейхстагом, подразделения обеих дивизий, штурмовавших здания, не имели никакого отношения. Его водрузила пятерка отважных воинов

капитана Владимира Макова из 135-ой Режецкой Краснознаменной артиллерийской бригады. С ним шли старшие сержанты Алексей Бобров, Гази Загитов, Александр Лисименко и сержант Михаил Минин.

Во всех частях, находившихся на подступах к Рейхстагу, были заготовлены штурмовые красные стяги, и каждый командир в душе надеялся, что именно его флаг станет Знаменем Победы.

Пятёрка смельчаков боем брала каждый лестничный пролет. Падали убитые гитлеровцы, а бойцы Макова, словно заговоренные, рвались вперед. Наконец, над крышей Рейхстага взвился красный стяг. Это произошло 30 апреля в 22 часа 40 минут. Бой не утихал. Группа капитана Макова до пяти часов утра 1 мая охраняла флаг. Вслед за ними еще несколько штурмовых групп водрузили стяги.

Батальон капитана Неустроева, в котором служили разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария, шел во втором эшелоне наступления. Фактически на их долю выпало зачищать здание, уничтожая разрозненные группы защитников Рейхстага. Для надежности комбат поручил возглавить две роты, шедшие в качестве прикрытия официальных знаменосцев (прошу обратить внимание: была группа прикрытия!), своему замполиту Алексею Бересту, любимцу батальона, человеку необыкновенной силы и мужества. Неустроев был уверен, что он не подведет. Так и произошло. Лейтенант благополучно провел группу, собственноручно выломал проход на крышу к куполу здания. Кантария, забравшись к нему на плечи, закрепил Знамя.

Затронутая тема не на шутку взволновала моих собеседников. Они говорили горячо, порой на повышенных тонах, вспоминая какие-то детали и подробности. Похоже, все трое впервые откровенно говорили о событии, не дававшем покоя долгое время. Марк Редькин, особо не заостряя внимание на сказанном, между прочим, сообщил, что им, репортерам, тоже в свое время рекомендовали меньше распространяться о тех событиях. Мол, есть официальная версия, ее и придерживайтесь.

– Кто рекомендовал? – спросил я.

– Была такая служба СМЕРШ, – после короткой заминки ответил Редькин. – Дай Бог, тебе не знать ее.

Рассказ ветеранов внес ясность, но как следствие, возник новый вопрос:

– Кантария – грузин – официальный знаменосец: случайность или чье-то желание выслужиться, потрафить вождю народов?

По общему мнению троицы репортеров, это была инициатива, пришедшая откуда-то сверху. Как утверждал Яков Рюмкин, ему о том, что Знамя будет обязательно водружать грузин, стало известно 27 или 28 апреля. Точно дату он не помнил. В один из этих дней он заглянул в политотдел 3-ей ударной армии, но поговорить с его начальником полковником Лисицыным не удалось.

– Не суйся к нему (Лисицыну), – посоветовал знакомый капитан – инструктор политотдела, случайно встретившийся в коридоре. – Попадешься под горячую руку. Мы ищем достойного грузина. Хоть из Москвы Василия Сталина выписывай...

Капитан, не вдаваясь в подробности, рассказал о команде сверху по поводу предстоящего водружения Знамени.

– Это сделают русский и грузин, – подчеркнул офицер.

Рюмкин еще раз специально наведывался 29 апреля, когда взятие Рейхстага было делом ближайших часов. Он пытался разузнать имена назначенных в герои, чтобы заранее запастись их фотографиями. На фронте между фоторепортерами все время шла негласная конкуренция и тут у Рюмкина появилась реальная возможность, как говорят журналисты, «вставить фитиль» коллегам. Однако уловка не удалась. В политотделе никто ничего не знал об официальных знаменосцах или делал вид. Офицера же, накануне сболтнувшего важную информацию, не оказалось на месте. Его направили в один из наступающих на Рейхстаг полков.

Из этого рассказа следовало, что директива была спущена из штаба 1-го Белорусского фронта. Мое предположение, что это было сделано по приказу Жукова, немедленно и категорично отвергли все четверо ветеранов. По их общему мнению, при всех недостатках маршал обладал важным достоинством: никогда не пресмыкался перед Сталиным и не добивался его

покровительства. Под стать ему был и член Военного Совета профессиональный военный генерал Телегин – главный комиссар и идеолог фронта. В эти горячие дни у обоих были куда более значимые заботы. Вероятнее всего, директива последовала из Москвы.

Информации, полученной в тот вечер, с лихвой хватило бы на захватывающую книгу. Однако чем глубже мне удавалось проникнуть в тему, тем больше возникало вопросов.

...Самолет, на котором прилетел Кантария, приземлился точно по расписанию. Он, благодаря стараниям аэрофлотовских служащих, естественно, узнавших его, вышел первым. Знакомимся. Оказалось, что Мелитон Варламович прилетел не один. С ним прибыл племянник, у которого тоже были важные дела в Москве. Родственник решил совместить полезное с приятным: вызвался сопровождать дядю в столицу.

Когда на подъезде к Москве шофер поинтересовался, куда везти племянника, возникла непредвиденная проблема. Оказалось, что его надо разместить вместе с дядей в гостинице «Россия», где будут жить участники встречи, в том числе Кантария. Он тут же безапелляционно предупредил, что родственник – солидный человек и ему требуется, по меньшей мере, полулюкс

Сорок лет назад, в обстановке жесточайшего дефицита гостиничных мест в столице, это было почти неразрешимой задачей. Во всяком случае для меня, рядового корреспондента. В то время разместить человека даже в одной из примитивных гостиниц ВДНХ, которые москвичи с иронией называли Домами колхозников, можно было или по блату, или за взятку.

Мне было известно, сколько было приложено усилий, чтобы за месяц до нашего мероприятия забронировать номера для его участников в гостинице «Россия». Потребовалось даже вмешательство горкома партии. Видя категоричность и настойчивость Кантарии, я не взял тогда на себя смелость объяснять ему о трудностях. Даю шоферу команду ехать в редакцию, благо она находилась в двухстах метрах от гостиницы.

Первым делом, едва отъехав от Внуково, Мелитон Варламович расспросил о программе мероприятия, уделив особое внимание встречам с руководителями торговой отрасли – ми-

нистрами торговли страны и России, а также с председателями правлений Центросоюза и Роспотребсоюза.

По ходу он все переводил «племяннику», видимо, слабо владевшему русским языком. Я неслучайно взял слово племянник в кавычки. У меня среди грузин было немало друзей и приятелей. Я бывал у них дома, имел возможность неоднократно наблюдать их в общении между собой. Всегда восхищался, с каким трепетом и почтением младшие относятся к старшим. Контакт между Кантарией и его спутником коренным образом отличался от виденного прежде.

Спустя какое-то время выяснилось, что я не ошибся. Тбилисский фотокорреспондент Георгий Гогохия, знавший подноготную всех заметных персон Грузии, подтвердил мою догадку. Мнимый родственник оказался известным в Абхазии цеховиком. Вероятно, Мелитон Варламович взялся разместить его в хорошей гостинице и помочь попасть к влиятельным союзным чиновникам. Разумеется, не за красивые глаза, объяснил тот же Гогохия. Оказалось, что такая услуга распространена в кавказских республиках.

Заместитель главного, к которому я явился вместе с Кантарией, был буквально ошарашен возникшей проблемой, но виду не подал. Именно он месяц занимался бронированием.

Оставляем грузинских гостей на попечении секретарши Вали с наказом не жалеть цейлонского чая и дефицитных импортных конфет, припасенных на этот случай, а сами отправляемся в соседний кабинет обсуждать положение. К нам присоединяются еще двое сотрудников, занятых встречей.

Ситуация дурацкая. Послать историческую личность куда подальше вместе с мнимым родственником опасно. Может обидеться и уехать, а ведь он – гвоздь программы.

Звонить в партийные органы – нас точно пошлют куда подальше. Потом при случае припомнят безынициативность.

Кто-то вспоминает о «палочке-выручалочке» – о директоре комбината питания гостиницы. Ему подчинялись все рестораны, буфеты и бары «России». По тем брежневским временам он был серьезной фигурой в московском деловом истеблишменте. Человеком, в чьем ведении находились сотни прибыльных рабочих мест и фонды дефицитных деликатесов.

На удачу, директор оказался на месте и вошел в положение. Правда, без особых эмоций. Даже имя нашего именитого гостя не произвело должного эффекта. Судя по реакции, у него за день набиралось немало подобных звонков. Директор только попросил полчаса и слово сдержал. Однако, мнимому родственнику пришлось довольствоваться скромным одноместным номером. Между ним и Мелитоном Варламовичем, видать, на этот счет у нас на глазах произошло пылкое объяснение на повышенных тонах. Совершенно не типичное для грузин-родственников.

Облегченно выдохнуть удалось, только когда Кантария занял предназначенный ему номер, и мы поужинали. По просьбе гостя в его распоряжении осталась редакционная «Волга». У него были уже назначены встречи, но мое присутствие не требовалось. Казалось, проблемы позади. Утром выяснилось, что я заблуждался.

Кантария встретил меня охами и ахами. Выяснилось, что вечером, когда мы расстались, у него пропала ондатровая шапка и теперь ему требуются два(!) таких головных убора.

Легенда об украденной шапке у такой легендарной личности выглядела полным бредом. Я не удосужился выслушать Мелитона Варламовича, пытавшегося поведать обстоятельства пропажи, и даже не поинтересовался, почему вместо одного головного убора требуется два. Воспринял очередную проблему как должное и осознал, что у этого человека проблемы роятся.

Кантария настоятельно просил отвести его в ГУМ в 200-ую секцию, где наверняка есть ондатровые шапки. В те времена в главном универмаге страны действовал кремлевский распределитель – так называемая двухсотая секция. Проработав в «Советской торговле» четверть века, я никогда не был в ней и посему знаю, что и как там лишь понаслышке. Туда допускались избранные по специальному решению Секретариата ЦК партии. Об этом учреждении ходили легенды. Допускаю, что в них было больше домыслов, чем правды. Молва утверждала, что двухсотая по ассортименту могла соперничать с лучшими торговыми домами Лондона, Парижа или Нью-Йорка.

Как известно, рыба портится с головы. Двухсотая стала нарицательной. По примеру московской партийной элиты такие

кормушки, только поскромнее, открывались в республиках и областях.

Кантария наивно полагал, что удостоверение корреспондента торговой газеты откроет ему путь к партийному Эльдorado. По выражению его лица стало ясно, что объяснять ему положение дел, разубеждать – дело безнадежное и неблагодарное.

Наш день опять начался с редакции, хотя ждали нас в техникуме общественного питания. Заместитель главного – мой куратор без слов понял, что проблемы ходят табуном. Выслушав Мелитона Варламович, он дипломатично заметил:

– Обойдемся без двухсотой.

Чем весьма расстроил гостя, демонстративно не скрывавшего своего огорчения. Видимо, в душе он заранее уверовал во всеисилие сотрудников главной торговой газеты страны и возможность отовариться в главной партийной лавочке. Заместитель отправился держать совет с главным редактором.

Эти чертовы ондатровые шапки в те времена были диким дефицитом, распределяемым партийными инстанциями. Главный позвонил директору Петровского пассажа Фокину, с которым у него были дружеские отношения.

Повторять версию Кантарии постеснялся, уж больно неправдоподобной она выглядела. Рассказал о предстоящей встрече и сообщил, что у двух участников на этой неделе дни рождения: нужны подарки. В те советские времена ондатровая шапка считалась лучшим подарком.

Фокин оказался на редкость отзывчивым человеком и обещал помочь. В его универмаге нужных головных уборов не оказалось, но путем сложных обменов (испытанная советская система: ты мне – я тебе!) к середине рабочего дня Мелитон Варламович стал обладателем злополучных шапок.

К этому времени в коридорах и кабинетах редакции стало оживленно и многолюдно. Съехались все участники встречи. Их было сорок четыре человека – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Все приблизительно одного возраста, с схожими биографиями, общительные и радушные. Они быстро все перезнакомились и по фронтовой привычке сразу перешли на «ты». После короткой беседы – официально встреча начиналась утром следующего дня – участники пеш-

ком отправились на ужин. Благо до гостиницы было рукой подать.

Все уселись за двумя длинными, заранее приготовленными столами, без всякого соблюдения протокола. Посетители ресторана, среди которых оказалось много иностранцев, оторопели от такого количества золотых звезд. Они подходили к столу, пожимали руки ветеранам и просили разрешения сфотографироваться. Нам, организаторам встречи и персоналу ресторана, потребовалось немало усилий, чтобы навести порядок и корректно, не обижая никого, закончить импровизированную фотосессию.

Когда все успокоились, обнаружилась пропажа моего подопечного. Выяснилось, что сразу после беседы в редакции, Мелитон Варламович попросил машину у главного редактора и уехал, сославшись, что должен навестить больного родственника. Так продолжалось все четыре дня нашего мероприятия. После официальной части он исчезал. Менялись только предлоги.

В тот первый вечер мы допоздна засиделись в ресторане, но нашим гостям не хотелось расходиться. Перешли в большой штабной номер, выделенный в распоряжение редакции на эти дни. Тут случилось невероятное. Оказалось, что все участники встречи приехали в столицу с торбами провизии и, конечно, спиртного. Вероятно, сказалась фронтовая привычка, что запас карман не тянет. За несколько минут общими усилиями вновь был накрыт стол, ломящийся от яств. Украинское сало лежало рядом с астраханским балыком, рижских копченых кур дополняли редкие в зимнюю стужу аппетитные помидоры из узбекского Термеза, соленые сибирский муксун соседствовал с вяленой карельской олениной.

Сейчас, вспоминая тот вечер, становится грустно и досадно. За столом сидели братья по оружию, совместными нечеловеческими усилиями разгромившие грозного и страшного врага. Тогда никому в голову не приходило выяснять, кто больше сделал для Победы, чьи жертвы были страшнее. Каждый делал свою работу. Они сидели за одним столом, пили горькую, поминая тех, кто не дожил до Победы. В самом невероятном сне им не могло присниться, что их дети и внуки

будут воевать между собой, выдвигать взаимные территориальные претензии.

... Утром в условленное время Мелитон Варламович появился на завтрак. Так повторялось на протяжении всей недели. Вечером незаметно исчезал, а утром был на месте. После завтрака вместе со всеми садился в автобус и отправлялся на протокольные мероприятия. Тогда в глаза бросилась закономерность в его поведении, подмеченная помимо меня еще одним сотрудником газеты, служившим в молодые годы в органах. Кантария в автобусе избегал занимать место рядом с участниками встречи, любой ценой стараясь сесть с кем-то из редакционных. Если кто-то из ветеранов пытался с ним заговорить, он немедленно замыкался, уклоняясь от беседы.

Помимо дежурных официальных церемоний в ЦК партии и комсомола, штабе советских профсоюзов и прочих госучреждений, у Героев было много интересных и запоминающихся встреч. Особенно охотно наши гости выступали перед молодежью. Говорили от души, без пафоса, словно разговаривали со своими детьми или внуками.

Мелитон Варламович присутствовал, но молчал. Молчал первый день, второй, третий. Кто-то был склонен это объяснять его природной молчаливостью и стеснением за свой акцент. Свидетельствую: он не был молчуном. Оживлялся, когда из разговора можно было извлечь выгоду. Стыдиться акцента у него не было оснований. Кантария сносно владел русским языком и это не удивительно. Семь лет прослужил в армии, когда русский был для него единственным языком общения. После демобилизации часто приезжал в Москву.

Почти для половины участников русский язык был не родным, но они говорили. Иногда от волнения путали слова, но никто не обращал на это внимание. Овациями провожали аудитории выступления Героев Советского Союза летчиков азербайджанца Адиля Кулиева и грузина Георгия Инасаридзе, артиллериста узбека Сульги Лутфуллина.

Прошло более сорока лет, но я помню, словно слышал вчера, рассказ Героя армянина Сарибек Чилингаряна. Он семнадцатилетним юношей из глубокой армянской деревни в 43-ем попал на фронт. Воевал в пехоте. В апреле 45-го в со-

ставе 23-ей дивизии той же третьей ударной армии рвался к германской столице. В боях на подступах к Берлину в районе городка Бушхов первым переплыл канал и вместе с группой бойцов занял господствующую высоту. Владение ею обеспечивало стратегическую инициативу на этом направлении. Семь суток, с 16 по 23 апреля горстка воинов во главе с Сарибеком (офицеры и сержанты подразделения погибли при переправе) отражали яростные атаки противника. Он лично подбил два танка и уничтожил много живой силы. Начальник штаба 1-го фронта генерал Малинин, восхищенный мужеством двадцатилетнего солдата, лично представил рядового Чилингаряна к высшей награде.

Когда ветеран рассказывал, путая слова и падежи, о последнем сражении, о товарищах, навечно оставшихся на высоте, многие в аудитории, в том числе молодежь, не могли сдержать слез. На его акцент никто не обращал внимание.

К слову об акценте. Известно, что талантливые актеры умеют выдерживать паузу. Она придает действию драматичность и эффектно воздействует на публику. Вероятно, Кантарии не был известен этот испытанный артистический прием, паузу он не держал, но искусно пользовался собственным приемом – акцентом. В течение пяти дней, проведенных с ним, у Мелитона Варламовича ломаный говор появлялся в тот момент, когда он выступал в роли ходатая или просителя. Герой безошибочно знал, где и у кого можно получить блага. На встрече с профсоюзным руководством страны он равнодушно присутствовал, не проявляя интереса. Чем можно было разжиться в ВЦСПС? Разве что профсоюзной путевкой к Черному морю. Кантария и так жил на курорте в Сухуми.

Зато у союзного министра торговли он оживился. Сразу появилась сбивчивая речь и акцент. Расчет был предельно прост: как можно отказать такому простаку с национальной периферии, который ко всему еще историческая личность.

Поражала подготовка Кантарии к каждой подобной аудиенции. Он за долгие годы детально изучил технологию общения с высокими государственными чиновниками и умело ею пользовался. Мелитон Варламович никогда не расставался с папкой, которой обычно пользовались служащие средней руки. В

ней были припасены разные письма с разными просьбам. Получив благосклонный ответ на свою просьбу, он немедленно клал на стол высокому чину бумагу, и хозяину кабинета ничего не оставалось делать, как наложить положительную начальственную визу. Дальше все было делом техники. Кантария собственноручно вручал документ с драгоценной резолюцией помощнику чиновника и дело сделано.

Может сложиться ошибочное впечатление, что легендарная личность выступала в роли народного ходока, но это не так. Мелитон Варламович не просил импортного медицинского оборудования для родного города и не выбивал средства для строительства детского сада, в котором испытывал острую нужду Сухуми. Он пекся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о бытовом дефиците для частных лиц. За неделю им было добыты пара «жигулей», несколько японских телевизоров, какой-то супермодный в южной республике румынский мебельный гарнитур ручной работы и еще что-то по мелочи. Короткая справка: все добытые им товары на черном рынке в Грузии стоили двойную цену.

Заодно выбил дополнительные фонды якобы для своего мясного магазина. По заверению специалистов минторга, их с лихвой хватило бы на всю торговую сеть Сухуми.

Я вырос в военных гарнизонах. Меня до четырнадцати лет окружали товарищи отца – фронтовики. Они были совершенно разными людьми, не похожими друг на друга, но их объединяло общее качество – скромность, умение обходиться малым. Вместе с отцом служил единственный в подразделении Герой Советского Союза летчик Савченко. Его семья, как и все офицерские семьи, ютилась в коммунальной квартире в десятиметровой комнате, несмотря на полагавшиеся ему по статусу привилегии.

Люди, приехавшие на встречу, были точно такими, как сослуживцы моего отца. Скромными, простыми и бесхитростными. Ни один из них не попросил у высоких московских чиновников ничего, хотя каждая аудиенция обычно (так было заведено!) заканчивалась вопросом:

– Какие личные пожелания или просьбы?

Сколько раз приходилось ловить укоризненные взгляды ве-

теранов, когда Мелитон Варламович затевал в очередной раз торг. Особенно горячился Герой Советского Союза Василий Филиппович Громаков, неоднократно пытавшийся вызвать Кантарию на откровенный разговор (у него на это были основания!) и объясниться. В конце концов, ему это удастся, но об этом несколько позже.

Поражало умение Кантарии добывать информацию о всяких закрытых распределителях, расплодившихся, словно грибы после слепого дождя, в брежневские времена. Наверно, сказывался опыт службы в разведке. На третий день он неожиданно заговорил о недочетах в программе мероприятия. Выяснилось, что мы – организаторы, не предусмотрели встречи с работниками военной торговли.

– Если бы вы знали, как на фронте ждали приезда военторговской автолавки, – с укоризной сказал Мелитон Варламович и тут же выразил готовность выступить перед военторговцами. Причем, подчеркнул он, не в известном всем Центральном универмаге военного ведомства на Калининском проспекте, а в скромном гарнизонном магазине. Герой протянул листок бумаги с адресом. Тут же стала понятна его уловка.

Речь шла о гарнизонном универмаге, расположенном в спальном районе столицы Щукинское. Скромным он был лишь с виду и для непосвященных. В этом магазине существовал отдел выездной торговли, призванный обслуживать офицеров и членов их семей в отдаленных гарнизонах. В нарушение строжайшего запрета накапливать товары, особенно дефицитные импортные (это жестко каралось, вплоть до тюремного заключения!), здесь всегда имелись запасы. Исключение из правил действовало на основании особого совместного приказа министров обороны и торговли СССР.

Действительно, военторговцы летали и торговали в отдаленных гарнизонах, но в большей мере отдел служил легальным прикрытием так называемой «генеральской секции». Распределителем, где отоваривались высшие чины армии и их домочадцы. Посетителям универмага, естественно, было невдомек, что под ногами, в подвальном помещении функционирует другое торговое предприятие с прекрасно оборудованными залами, примерочными и стеллажами с това-

ром, ассортимент которого коренным образом отличался от имеющегося в свободном доступе.

Вот куда нацелился попасть разведчик Кантария, но это не входило в планы организаторов. Сославшись на то, что военторг – армейская структура, в которой действует единоначалие, ему было предложено получить добро на выступление от главного начальника военной торговли генерала Гольдберга. Мелитон Варламович, не уловив подвоха, охотно принял наше предложение. Более того, выразил готовность лично переговорить с генералом.

Звоню помощнику Гольдберга, с которым был знаком, и соединяю с ним Кантарию, заранее зная, чем закончится разговор.

Несколько слов о генерале. Ефим Львович был очень интересной личностью. Прежде всего, он был на своем месте. Блестящий организатор, энергичный, деловой, приятный в общении и интеллигентный человек. Для него не существовало авторитетов. Его уверенность и независимость имела под собой серьезные основания. Он был из «днепропетровской когорты». Бытовало мнение, что еще до войны его жизненные пути пересеклись с Брежневым, который покровительствовал Гольдбергу.

Если взять во внимание некоторые факты биографии генерала, вероятно, так и было. Во-первых, все лица, занимавшие пост главного армейского торгового начальника, до и после Гольдберга были генерал-майорами, ему единственному было присвоено звание генерал-лейтенанта. Во-вторых, Ефима Ильича отправили в отставку после смерти Леонида Ильича в возрасте 76 лет. Рекорд даже для брежневской геронтократии.

Главный воинский торговец подбирал подчиненных под стать себе. Помощник Гольдберга, выслушав Кантарию, ответил сухо и коротко:

– Генерал в войсках...

На просьбу Мелитона Варламовича соединить его с кем-то из заместителей, был дан категоричный ответ:

– У нас все решает генерал.

Словом, мы не попали в «скромный» гарнизонный универмаг.

Многих людей, в первую очередь, хорошо знавших Мелитона Варламовича, раздражало его, мягко говоря, некорректное поведение и хитрость, считая белыми нитками. Ответственный работник союзного министерства торговли, выходец из Грузии, Самсон Басятович Чедия, много общавшийся с Кантарией, не скрывая возмущения, откровенно сказал мне:

– Его (Кантарию) следовало бы держать в изоляции и выпускать на люди только по юбилейным датам.

Схожего мнения придерживался и председатель Грузинского потребсоюза Кита Николаевич Шавишвили. Мы с ним были знакомы и поддерживали добрые отношения много лет. Интеллигентный, тактичный и сдержанный, Кита Николаевич не смог сдержать эмоций, когда я однажды, желая услышать его мнение, завел разговор о Кантарии.

– Какой он герой? – переспросил Шавишвили. – По-моему, он просто рвач. Вечно что-то клянчит. Хоть бы Золотую звезду снял... С ней неудобно побираться...

Тбилисский фоторепортер Гогохия, уже упомянутый раньше, ходячая энциклопедия грузинского общества, утверждал, что Мелитон Варламович, используя свой особый статус, брался «выручать» из заключения, получивших большие сроки криминальных авторитетов и цеховиков. Тех и других в советской Грузии было немало. Разумеется, не бескорыстно. Он якобы выходил на самые высокие инстанции – Верховный Суд СССР, Генеральную прокуратуру страны. Гогохия назвал несколько имен людей, известных в Тбилиси, успешно воспользовавшихся этой услугой.

Когда Кантарии не удавалось добиться амнистии или смягчения приговора, он отправлялся к очередному «подопечному» в места не столь отдаленные. Можно представить состояние начальника зоны где-то в мордовской или якутской тьмутаракани, когда на пороге его кабинета собственной персоной вырастал герой, водрузивший Знамя над Рейхстагом. Через пять минут весь персонал лагеря во главе с главным вертухаем стоял перед человеком-легендой по стойке «смирно». Они были счастливы узнать, что именно в их зоне отбывает наказание «племянник» или «двоюродный брат» (все зависело от возраста клиента!) Мелитона Варламовича. Мнимого род-

ственника немедленно избавляли от изнурительного труда на лесоповале, определив его на теплое местечко в лагерную библиотеку или клуб. Как правило, начальник режима брал «родственника» под опеку.

Расставался Кантария с лагерным начальством большими друзьями, предварительно сделав на память фото и выступив перед эсками с рассказом о своем подвиге.

Не берусь утверждать, что все было именно так, но у меня есть основания предполагать, что подобные ситуации возникали. Мне дважды довелось быть свидетелем телефонных звонков Мелитона Варламовича в приемную Генерального прокурора страны Руденко. Судя по разговору, Кантария был лично знаком с Руденко, а его помощник, взявший трубку, не впервые общался с Героем. Он настойчиво просил о личной встрече. На другом конце провода упорно пытались переадресовать просителя к чиновнику рангом пониже. Не знаю, чем кончился разговор, но редакционный водитель возил Кантарию в Генеральную прокуратуру.

В таких случаях он умел действовать напористо, но свою настойчивость включал выборочно. Когда бывший лейтенант Алексей Берест, на плечах которого Кантария выбрался на крышу Рейхстага, попал в беду: по сфабрикованному делу получил десятилетний срок, знаменитость не ударила палец о палец, чтобы помочь человеку, в буквальном смысле слова внесшему его в большую историю.

Бойцы и офицеры батальона капитана Неустроева встали стеной на защиту боевого товарища и добились смягчения наказания.

По свидетельству очевидцев, знавших Мелитона Варламовича по Сухуми, жил Герой на широкую ногу, никогда не испытывая нужды в деньгах. Хотя расходы у него были значительными. Всем было известно, он не скрывал этот факт, долгие годы Кантария жил на два дома. Официальная жена – грузинка с тремя детьми, и неофициальная – русская супруга. Оба дома были полной чашей.

По свидетельству Ирины, дочери Михаила Егорова (Кантария и Егоров дружили всю жизнь, хоть и были совершенно разными людьми), боевой товарищ отца купался в роскоши, о

которой их семья не могла даже подумать. Михаил Егоров, несмотря на все старания местных партийных органов сделать из него хотя бы руководителя среднего звена, работал слесарем на молочно-консервном комбинате. Именно работал, а не числился. Его семья жила на зарплату рабочего и не более. После демобилизации Герой с семьей длительное время жил в бараке.

Все время, проведенное с Кантарией, мне не давал покоя один и тот же вопрос: почему он молчал? Недавно я нашел интервью внука знаменитости Мераба, отметившего, что дед не любил говорить о войне и даже в кругу семьи избегал рассказывать об эпизоде, сделавшим его исторической личностью.

Ответ на мучавший меня вопрос пришел неожиданно сам собой.

... В последний вечер стараниями главного редактора, взявшего Мелитона Варламовича под плотную личную опеку, он не смог улизнуть с прощального банкета. Было поднято много замечательных тостов, не меньше выпито. Улучшив момент, Громаков и еще трое ветеранов – полный кавалер ордена Славы и два Героя (они, как выяснилось потом, тоже были участниками штурма Берлина) взяли в оборот Кантарию.

Василий Филиппович, кубанский казак, мужчина исполинского роста, перекрыл ему путь к отступлению.

– Расскажи нам, как ты водружал Знамя? – Громаков настойчиво наступал на Кантарию. – В деталях и поминутно...

Складывалось впечатление, что участники встречи договорились учинить Мелитону Варламовичу допрос. Четверка требовала от него ответа на поставленные вопросы, а остальные, делая вид, что не замечают происходящего, выпивали и беседовали.

Судя по реакции Кантарии, ему не приходилось попадать в подобную ситуацию. Он мгновенно потерялся, побледнел и всерьез разволновался. Речь стала обрывистой и бессвязной.

– Мы бежали по лестнице... Потом стреляли, – в который раз повторял Кантария.

– Куда бежали и в кого стреляли? – переспросил Громаков и смачно выругался.

Оказалось, что Василий Филиппович, закончивший войну

под Кенигсбергом, остался в армии, окончил высшие офицерские курсы, а потом еще Академию тыла и дослужился до полковника. Его армейские пути-дороги пересеклись в мирное время с подполковником Мининым, тем самым, действовавшим в группе капитана Макова и по-настоящему первым, преодолев отчаянное сопротивление, поднявшим красное знамя над Рейхстагом. Он тоже стал кадровым офицером и служил в ракетных войсках.

Громаков от него узнал всю правду о водружении Знамени. Истинным героям, представленным к высшей награде, не дали золотых звезд Героев, ограничились орденами Красного Знамени.

Василий Филиппович прекрасно понимал, что ни он, ни Кантария не в силах переписать заново историю и восстановить справедливость. Однако ему хотелось, так Громаков объяснил потом, услышать от человека, присвоившего чужую воинскую славу, слова покаяния, но, к сожалению, он не услышал. Не на шутку разволнованный Кантария нес околесицу.

К сожалению, полковник в отставке (он умер в 1988 году) не узнал, что спустя 52 года после Победы справедливость все же восторжествовала: в 1997 году Михаилу Минину присвоили звание Героя уже несуществующего Советского Союза.

Громаков и три его товарища стояли и молча в упор смотрели на Кантарию. Встретиться с ним взглядом им не удалось. Он все время отводил глаза в сторону.

– Ты, Кантария, – жестко произнес Василий Филиппович, – повесил флаг, как дворники их вешают на домах накануне праздников...

Два Героя и полный кавалер орденов Славы молча согласно кивнули головами.

– Ты был дворником, а не знаменосцем, – подвел черту Громаков. – Я на своей шкуре испытал, как с боем рвутся на вершину и, не переставая вести огонь, устанавливают красный стяг.

Он задумался и замолчал. Казалось, в эту минуту двадцатилетний младший лейтенант Василий Громаков во главе своего пулеметного взвода вновь на подступах к Севастополю рвется на вершину Сапун-горы и водружает Красное знамя.

Четверка расступилась, давая пройти Кантарии.

... Утром следующего дня я проводил его домой. Расстались сухо, без лишних слов. Он даже не пригласил меня, как принято у грузин, в гости к морю. Что можно было ожидать другого?! Я ведь был свидетелем сцены, подтверждающей, что король голый. Мы больше никогда не встречались.

С тех пор прошло сорок лет, но каждый год в канун Дня победы у меня в ушах звучат слова Василия Филипповича «...как дворник, накануне праздника».

Именно он, Громаков, помог получить ответ на занимавший меня вопрос. Кантария молчал, потому что ему нечего было сказать, и он это прекрасно осознавал.

Взявшись за это повествование, я вовсе не ставил перед собой цель развенчивать имидж Кантарии-первопроходца – это сделано задолго до меня. Даже в те времена, когда по официальной версии он значился первым, думающие люди понимали, что это очередная советская «подстава». Прошло время, и история расставила все по местам.

Личность Кантарии спорная и противоречивая, в определенной мере даже трагическая. В его судьбе главную роль сыграл СЛУЧАЙ. Судя по информации, полученной от Якова Рюмкина, выбор на сержанта Кантарию пал совершенно случайно. Мне не удалось разыскать списочный состав 150-ой стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии, но, вероятно, в ней не нашлось больше грузин, во всяком случае, среди сержантов и рядовых. Некому было составить конкуренцию нашему герою.

По советским меркам он был далеко не самой идеальной кандидатурой на роль эпохальной личности. Фактически у него не было биографии. Родился и жил в одном грузинском селе. В восемнадцать лет женился и переехал в другое село. Два года спустя ушел служить в Красную Армию. Вот и все.

Беспартийный, малообразованный (четыре класса деревенской школы!). Ни одной боевой награды после нескольких ранений и трех лет пребывания на фронте. Последний факт

¹ Н.Гордеев. «Герой Советского Союза М. В. Кантария». М-ва, Воениздат, 1948 г.

² Там же.

заслуживает особого внимания, и мы к нему еще вернемся. Однако, как гласит народная мудрость, « на безрыбье и рак – рыба».

У советской идеологической машины был богатый опыт по фабрикации сусальных биографий народных героев. Все началось с мужественного пионера Павлика Морозова, предавшего отца. В годы войны это ремесло расцвело пышным цветом. Зоя Космодемьянская, героини-панфиловцы, Александр Матросов и другие. Галерею этих иконописных героев, чьи героические биографии были наскоро состряпаны и не имели ничего общего с реальностью, можно долго продолжать. Безусловно, апогеем этого творчества является фальсифицированная история жизни Кантарии.

Когда читаешь его художественно написанную биографию, невольно возникает ощущение, что провидение привело его на свет специально для подвига, заранее определив его роль в истории.

Приведу лишь несколько абзацев.

«Он ехал (домой прощаться перед уходом в армию. – авт.) мимо плантаций тунго и герани, от которых поднимался сладкий одурманивающий аромат, мимо садов, где золотились мандарины и апельсины; мимо полей с круглыми, как зеленые шапки, кустами чая, мимо громадных открытых сараев, где сушились пахучие связки знаменитого на весь мир табака, мимо виноградников с лозами, гнущимися под тяжестью гроздей...»¹

Наконец, Кантария доехал на лошади и «...седобородые старики, встречаясь с ним на улице, останавливали его, оглядывали зоркими и пронизательными глазами из-под нависших бровей статную фигуру юноши, жали ему руку, расспрашивали о предстоящей службе и говорили слова значительные и веские»².

Чем не сцены из римейка «Свинарка и пастух» и молодой Зельдин в роли Кантарии?! В армии, как свидетельствовали его официальные биографы, он сразу стал заметной фигурой.

« Старшина Сорокин терпеливо и настойчиво объяснял молодому красноармейцу начала воинской службы; подолгу с ним

³ Там же.

беседовал политрук Барыкин, разъяснял обязанности бойцов Красной Армии, вспоминал героические эпизоды боев у Хасана и на Карельском перешейке, участником которых он был. Часто вызывал к себе красноармейца Кантарию командир батальона капитан Желанов (численность личного состава батальона согласно уставу РККА 778 человек. – авт.). Беседуя на самые разнообразные темы, командир выяснял, как развивается молодой боец, к чему стремится, и, делая свои выводы, направлял его воспитание»³.

Согласно официальным биографам, Кантарию начали готовить к броску на крышу Рейхстага и, следовательно, к славе задолго до начала схватки с германским фашизмом. Совсем как в те предвоенные годы пели в популярной песне: «если завтра война, если завтра в поход». Однако, чем глубже я изучал источники – тем больше нестыковок возникало в биографии Мелитона Варламовича.

Войну, согласно официальной советской версии, молодой боец встретил в Литве, недалеко от границы и чуть ли не в первый день батальон капитана Желанова, в котором якобы он служил, попал под вражеский огонь. В первом же бою, проявив мужество и открыв счет убитым фашистам, стал примером для сослуживцев.

В июле 41-го, когда вражеская авиация безнаказанно расстреливала отступающих советских воинов и гражданское население, молодой темпераментный грузин якобы открыл огонь по повадившемуся на позиции батальона бомбардировщику с черными крестами на крыльях. По примеру Кантарии беспорядочную стрельбу из винтовок стали вести его товарищи. Вдруг самолет задымился и, пролетев немного, рухнул на землю.

Налицо находчивость бойца и умение ориентироваться в боевой обстановке. За такое воину полагается если не орден, то по крайней мере медаль «За отвагу». Однако Кантария награду не получает.

Отличается он в составе родного батальона и при обороне Смоленска. Тут Мелитон уже выступает в роли пулеметчика и сражается до последнего патрона при обороне вокзала старинного русского города. Дрался, пока не упал раненный. Его вывезли в тыл едва ли не последним санитарным поездом.

Опять судьба его хранила для больших дел и опять боевые заслуги остались не отмеченными. Конечно, мои возможные оппоненты могут возразить. Мол, в первые месяцы войны было не до наград, драпали без оглядки. Согласен, но в 44-ом году, в 45-ом?!

Самое главное: совершенно не ясно, где был Кантария в первые месяцы войны. Во всех современных РОССИЙСКИХ, не советских источниках черным по белому написано « в боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года». Возникает закономерный вопрос: где был Мелитон Варламович с июня по декабрь? Быть может, никаких геройских поступков в начале войны он не совершал?! Тогда закономерно отсутствие наград.

В декабре 41-го Кантария становится разведчиком 756-го полка 150 стрелковой дивизии и в составе этой части дошел до Берлина. Командовал его ротой капитан Кондрашов, который стал лепить из молодого грузина лазутчика-профессионала. Описание всех навыков, которыми овладел он, займет много места. Легендарный персонаж агент 007 мог бы позавидовать боевому мастерству Мелитона.

К 1943 году Кантария становится опытным разведчиком. В очередной вылазке за «языком», когда дело было сделано и до своих окопов было рукой подать, его тяжело ранили преследовавшие разведгруппу фашисты. Товарищи на руках вынесли Мелитона. Он на несколько месяцев попал в тыловой госпиталь и опять остался без награды.

Помимо звания Героя Советского Союза Кантария имел из боевых наград ордена Красного Знамени и Отечественной войны. Обе награды получены им после войны. Ордена Отечественной войны, как и все фронтовики, он был удостоен в 1975 году, в честь 30-летия Победы.

Орден Красного Знамени вручили Мелитону Варламовичу и его товарищам 18 мая 1945 года. Верховный Совет СССР во время боевых действий наделил командующих армиями правом награждать отличившихся солдат, сержантов и офицеров. Потом это по представлению штаба армии оформлялось в Москве соответствующим указом.

Орден Красного Знамени являлся высшей наградой, кото-

рой мог наградить командарм своим решением. Им командующий 3-ей ударной армии генерал-полковник Василий Кузнецов и оценил действия группы лейтенанта Алексея Береста. Фактически Золотые звезды Кантарии и Егорова были второй наградой за одно и то же действие.

В фильме «Горячий снег» по одноименному роману Юрия Бондарева есть прекрасный эпизод. Командарм, в исполнении замечательного актера Георгия Жженова, после боя лично приезжает на позицию разбитой, но не отступившей батареи. От подразделения осталась горстка израненных воинов. Генерал каждому протягивает коробку с орденом, приговаривая:

– Спасибо. От себя... Все, что могу.

На авиационной базе, где служил мой отец, ротой охраны командовал майор Ашот Иванович Акопян. В авиацию он попал после Победы, а всю войну Акопян, по его меткому выражению, не прошел, а прополз. Сначала был командиром взвода, а закончил войну командиром роты полковой разведки. По его утверждению, разведчики на фронте больше ползают, чем ходят.

Мы, мальчишки, могли часами с упоением слушать захватывающие рассказы Ашота Ивановича о ночных рейдах, тайных переправах через водные препятствия, о хитроумно захваченных «языках». Мой отец, уйдя в отставку, не терял связь со многими сослуживцами, в том числе с Акопяном. Ему-то я и позвонил тогда в канун 30-летия Победы. Поздравил с праздником и завел нейтральный разговор. Поговорив о том, о сем, не акцентируя внимание, спросил, не называя имени, могли ли человек три года воевать в разведке и не иметь боевых наград.

Собеседник настолько был удивлен вопросом, что переспросил, будто желал убедиться, что не ослышался.

– Мои ребята все ушли на «гражданку» с орденами и медалями, – сказал он. – Понимаешь, в разведке не бывает случайных людей. Первый же рейд за линию фронта покажет, кто ты: трус или настоящий разведчик.

Я вовсе не пытаюсь очернить память о Кантарии, обвинить его в трусости или укрывательстве за спинами товарищей, но факт есть факт. Быть может, на том этапе фортуна к нему была

неблагодарна?!

Мне довелось говорить со многими грузинами, участниками Великой Отечественной войны, в том числе, с тремя, приехавшими на нашу встречу. Они замыкались, стараясь любой ценой изменить тему разговора, когда речь заходила о подвиге Кантарии и Егорова. Это был тот случай, когда надо было либо молчать, либо говорить хорошо. Сделать последнее не позволяла совесть фронтовиков.

Грузинам история с Кантарией не требовалась. Представители этого народа честно воевали на всех фронтах, во всех родах войск и на флоте. Особенно много их было во фронтовой авиации. Девяносто сынов грузинского народа были удостоены высшей воинской награды. По количеству Героев Советского Союза они уступают только русским, украинцам, белорусам, евреям, татарам и армянам. Правда, эти народы, согласно Всесоюзной переписи 1939 года, были многочисленнее грузинского.

Так кому потребовалось водружением Знамени продемонстрировать особый вклад русского и грузинского народов в общую Победу?

Несомненно, такая идея могла возникнуть, скорее всего, в идеологическом органе. Генеральный штаб вряд ли имел к этому отношение. Значит, ЦК ВКП (б) или Главное политуправление армии. Во главе него стоял родственник Жданова Александр Сергеевич Щербаков. Молодой и перспективный партаппаратчик, занимавший к концу войны одновременно несколько ответственных постов. Он также руководил Совинформбюро и был заведующим отделом международной информации ЦК. В Главпуре бывал крайне редко, ограничив свои функции доведением до армии партийных директив и передачей все в руки замов. Будучи крайне занятым человеком, Щербаков вряд ли вникал в такие детали, как назначение грузина на роль знаменосца.

Вероятность, что директива исходила из Кремля от «вождя народов» сомнительна. Его в это время беспокоили куда более важные проблемы. Не за горами была Потсдамская конференция. Предстоял послевоенный дележ мира и Сталину, разумеется, хотелось отхватить как можно более жирный кусок. Кроме

того, он особо не выделял Грузию и грузин среди республик и народов. Чистка 37-го года в полной мере прошла по грузинской интеллигенции и хозяйственным кадрам. Поблажек не было.

Однако, судя по реакции политотдела 3-ей ударной армии, кто-то на высоком уровне распорядился на этот счет. Это была еще одна загадка, возникшая после более пристального знакомства с историей водружения знамени над Рейхстагом.

Совершенно случайно я встретился с человеком, пролившим свет на интересующий меня вопрос. Во всяком случае, он выдвинул вполне правдоподобную версию. Случилось это так.

Саша Фридлянский, как единственный фронтовик среди членов редколлегии, был назначен ответственным за праздничный номер. В канун 9 мая, занятый по горло, он дневал и ночевал в редакции. Накануне, за два или три дня до события, он заглянул ко мне в отдел и с порога попросил:

– Будь другом – выручи. Речмедин написал для номера публицистическую статью и через полчаса будет с материалом ждать у своего подъезда ЦК. Сходи, пожалуйста, заberi статью. Ты же его знаешь.

Действительно, однажды Фридлянский знакомил нас. О Леониде Остаповиче Речмедине мне доводилось слышать много хорошего. Майор в отставке, фронтовик, участник Сталинградской битвы, кавалер боевых орденов, был редактором дивизионной газеты. После войны работал в ЦК партии.

Я охотно откликнулся на просьбу. Помимо желания помочь другу и наставнику у меня был личный интерес, надежда, что, быть может, этот человек, работающий в главном идеологическом штабе, прольет свет на загадку. Удивительно, но интуиция не подвела меня.

Поговорив с Речмединым о редакционных делах, о предстоящем празднике, уловив момент, завел разговор о Кантарии. Неожиданно мой собеседник оживился. Оказалось, он в свое время интересовался этой темой. Более того, пытался в архивах найти какие-либо следы директивы на этот счет, но ничего не нашлось.

Ему вскоре после войны довелось разговаривать с несколькими знакомыми инструкторами Главного политуправления.

Сложив воедино скудные сведения, полученные от этих офицеров, Леонид Остапович выдвинул свою версию .

– У меня сейчас обед, есть полчаса свободного времени, – сказал он и предложил прогуляться.

Мы спустились к площади Ногина, перешли дорогу к скверу, ведущему к памятнику Героям Плевны.

– Тебе известно имя Льва Захаровича Мехлиса? – начал с вопроса свой рассказ Речмедин.

Конечно, я был с раннего детства наслышан об этом человеке. Мой отец и его товарищи-офицеры, всегда вспоминая его, переходили на шепот и не скрывали своей неприязни.

– Совершенно верно. Армейские боялись и ненавидели его, – подтвердил Леонид Остапович. Именно Мехлис в 1937 году, возглавив Главпур, развернул в армии подлинный террор. За три года пребывания на этом посту он отправил в мясорубку репрессий многих представителей высшего и среднего командного и политического состава РККА. Недаром Мехлис вошел в историю, как великий инквизитор Красной Армии.

Чтобы лучше воспринять версию Речмедина, обратимся к биографии Льва Захаровича. Он оказался моим земляком, родился в Одессе, в еврейской мелкобуржуазной семье. В семнадцать лет стал активным членом рабочей сионистской партии « Поалей Цион ». В ее деятельности участвовал три года, до призыва в армию.

Этот факт биографии Лев Захарович считал постыдной страницей своей жизни и при любом удобном случае старался отречься от ошибки молодости.

Спустя несколько лет мне удалось разыскать в Одессе его дальних родственников, эмигрировавших в 80-ые годы в Канаду. По их признанию, Мехлис избегал появляться в родном городе и уж тем более общаться с родственниками.

В восемнадцатом году он вступает в большевистскую партию и, благодаря грамотности, хорошо подвешенному языку, умению словом зажигать массы быстро делает карьеру в армии. Начав с политрука, Лев Захарович заканчивает гражданскую войну комиссаром армейской группы.

Вскоре попадает в аппарат ЦК, к 22-му году возглавляет бюро Секретариата. Фактически становится личным секрета-

рем Сталина, которому нравилась его недюжинная работоспособность, собачья преданность и умение всемерно угодить.

В 1941-ом году, возглавив вновь Главпур и заняв одновременно должность заместителя наркома обороны, в самое тяжелое время Мехлис направляет все силы не на усиление армии, а на борьбу со своими же генералами, постоянно вмешивается в планирование операций, обвиняя командный состав в трусости и предательстве.

Его присутствие в Действующей армии, куда Лев Захарович выезжал в качестве представителя Ставки, сковывало действия штабов, мешало оперативно управлять частями и подразделениями. 4 июня 42-го года Мехлис, направленный на Крымский фронт и не обеспечивший выполнение директив Сталина, что привело к Керченской катастрофе, был отстранен от занимаемых должностей и понижен в звании. Он выпал из числа приближенных «вождя народов», но остался в обойме армейских политработников. До конца войны занимал должности члена Военного Совета фронтов и армий.

Попав в опалу, Лев Захарович продолжал гнуть свою линию: вмешивался в решения военного командования, писал доносы на генералов, как и в годы Великой чистки, жаждал крови. При каждом подходящем случае демонстрировал преданность товарищу Сталину и публично проявлял верноподданнические чувства.

Как рассказывали Речмеду знакомые главпуровцы, 20 или 21 апреля Мехлис позвонил одному из замов Щербакова и изложил свою идею. Близок час падения Рейхстага – символа гитлеровского фашизма, и Знамя Победы над ним должны водрузить русский и грузин. Это, мол, очень понравится Хозяину. Зам поначалу готов был отмахнуться от своего настырного бывшего начальника, но задумался. Ему хорошо была известна нахрапистость и пробивная способность Мехлиса, который, уверовав в свою идею, мог перепрыгнуть через голову Главпура и выйти на ЦК, а то и Кремль. При этом он обязательно написал бы донос на человека, не оценившего его гениальное предложение.

Такая перспектива явно не устраивала зама, и в политуправление 1-го Белорусского фронта была спущена соответ-

ствующая директива, выполнять которую пришлось полковнику Лисицыну и его подчиненным.

Удалось ли Мехлису потрафить Сталину и оценил ли он лакейскую прыть? Скорее всего, нет. В судьбе Льва Захаровича ничего не изменилось. До ухода на пенсию – редкий случай в практике партаппаратчиков высокого ранга: обычно они умирали на боевом посту – он оставался на вторых ролях.

Хотя в тот момент «вождю народов» представилась идеальная возможность вновь возвысить Мехлиса (если бы он оценил инициативу бывшего секретаря!): неожиданно появилась высокая вакансия – должность начальника Главного политуправления армии. 10 мая 1945-го года внезапно в возрасте 44 лет умер Александр Щербаков.

Судя по всему, Сталин равнодушно отнесся к факту появления грузина на крыше Рейхстага. Он никогда не встречался с Кантарией, отказав себе в удовольствии поговорить в Кремле с земляком на родном языке.

Мелитон Варламович, как и его товарищ, сержант Егоров, не участвовали в первом параде Победы. Более того, им обоим звания Героев Советского Союза были присвоены год спустя, в мае 46-го. Хотя 31 мая 1945-го года целым списком это звание было присвоено всем отличившимся при взятии Берлина. Двенадцать месяцев в Кремле размышляли, давать Кантарии и Егорову звезды или нет, создавать новых идолов для поклонения либо обходиться старыми.

Я храню в памяти неприятные впечатления от общения с Мелитоном Варламовичем, тем не менее, желая быть объективным, с сочувствием отношусь к нему. Считаю Кантарию жертвой порочной идеологической машины советского режима. Попробуем отыграть время назад.

Судьба берегла Мелитона. Будучи несколько раз раненным, он все-таки дошел до Берлина, вышел из страшной бойни живым. Еще полгода, максимум год, и демобилизованный воин вернулся бы в родную деревню, занялся привычным делом.

Мужчины после войны были на вес золота, особенно фронтовики. Наверняка, его выдвинули бы в бригадиры, и потекла бы обычная жизнь, как до войны: дом, семья, дети, работа. Такого не случилось, хотя до простого человеческого счастья, ка-

залось рукой подать.

Провидению, а точнее директиве какой-то высокой инстанции, было угодно вырвать его из привычной среды и поднять на небывалую высоту. Такую, от которой у любого, даже самого бывалого человека, голова закружится. В душе Мелитон понимал, что взлет не заслужен(каждый из нас наедине с собой честен до конца!) и от осознания этого голова кружилась еще больше.

Многих война в одночасье возвеличивала, делала знаменитыми, давая уникальный шанс, но далеко не все воспользовались даром судьбы. Для этого требовалось приложить усилия и волю. Прежде всего, отказаться от житейских соблазнов, веером рассыпанных тогда перед героями-фронтовиками.

Василий Филиппович Громаков откровенно рассказывал, сколько раз его подмывало после войны бросить к чертям учебу и жить сладко, как подобает Герою Советского Союза. Он был немногим моложе Кантариин, тоже из деревни, успев до призыва окончить восемь классов.

За день вымотанный до предела молодой лейтенант, ложась спать, давал зарок бросить учебу, а встав в шесть утра, вновь брался за учебники. Он окончил высшую офицерскую школу, потом Академию. Полковником ушел в отставку. Таких примеров множество.

Михаил Минин, тот самый, действительно первым поднявший красный стяг над Рейхстагом, – человек со схожей, как у Кантариин, биографией, тоже после войны учился. Кончил военную карьеру командиром подразделения стратегических ракет.

Наш герой предпочел путь наименьшего сопротивления. После войны он практически нигде не работал, только числился. Сначала в колхозе, потом бригадиром плотников, последние годы – заведующим магазином. Даже на заседаниях Верховного Совета Абхазской АССР, депутатом которого Кантариин держали приличия ради (все-таки легендарная личность!), он появлялся эпизодично.

Для окружающих Мелитон Варламович со временем превратился из человека-легенды в атрибут строя. К нему люди стали относиться, как к памятнику, стоящему в сквере. Ходят мимо, видят, стоит бронзовый мужик, а кто такой, уже никого не

интересует и не волнует.

Чтобы понять, почему Кантария выбрал путь наименьшего сопротивления, давайте сделаем экскурс в его прошлое. Домой он и Егоров, демобилизовавшись, вернулись только в 1947-ом году. Чем они занимались два года? Вели праздную жизнь, разъезжая по воинским частям и рассказывая о своем подвиге (технология советского идеологического механизма!). За это время Мелитон стал раскованным, избавился от деревенской простоты и неловкости, поднаторел в общении с высшими чинами.

Сладкая и беззаботная жизнь, всеобщее преклонение, безусловно, подействовали на молодого человека, не видевшего прежде в жизни ничего подобного, изуродовали его психику, отбив всякое желание работать и созидать.

Вероятно, тогда Кантария сообразил, что неожиданно свалившаяся незаслуженная слава на всю жизнь и может стать профессией, дающей не просто хлеб, а еще масло и черную икру.

Правда, Михаил Егоров, прошедший вместе с боевым товарищем это жизненное испытание, предпочел остаться самим собой.

Известно, что у всего, в том числе хорошего, бывает конец и не всегда счастливый. Судьбе было угодно, чтобы от доброго провидения в конце жизни Кантарии эстафета перешла к злему року. Умер Мелитон Варламович в поезде Тбилиси-Москва, успев испить горькую долю беженца.

Во время грузино-абхазской войны 1993-го года он вместе с семьей бежал из Сухуми в Москву. Столица встретила легендарного человека, мягко говоря, неласково. Новая власть уже не нуждалась в советских символах. После долгих мытарств и хождений по инстанциям большой семье Кантарии выделили временную однокомнатную квартиру на окраине. Правда, определив в льготную очередь на получение жилья, подошедшую уже после смерти Мелитона Варламовича.

На церемонии прощания собралось немного людей. В основном, семья, родственники и друзья. Власти словно проигнорировали это печальное событие. В столичных газетах не было некрологов, только радио ограничилось скудным сообщением о смерти Кантарии.

Мелитона Варламовича похоронили в Москве, а спустя десять лет его прах был перезахоронен на родине в небольшом грузинском городке Джвари.

Судьба несправедливо, даже безжалостно, обошлась и с другими участниками этой исторической акции. Михаил Егоров нелепо погиб в 1975 году, всего через полтора месяца после парада, посвященного 30-летию Победы.

В тот злополучный день он гостил у сестры. Кто-то из соседей попросил безотказного Михаила Алексеевича съездить в соседний поселок. Егоров тут же завел подаренную к юбилею «Волгу». Они проехали не более километра. На перекрестке автомобиль столкнулся с грузовиком. Егоров прожил еще час.

Еще раньше своих бойцов ушел из жизни командир группы Алексей Берестин. **«ВЕДЬМА НА ИОРДАНЕ»** Это то, что рядом с провидением, направлявшем трагично, все время присутствовал злой рок.

Вместо золотой звезды Героя, к которой Алексей был представлен Израильский прозаик Яков Шехтер уверенно вошел в еврейскую литературу в конце XX века, заняв место только орденом Красного Знамени.

Вместо блестящей карьеры армейского политработника его после войны ждет суд офицерской чести и увольнение из вооруженных сил с позорной формулировкой «за двоеженство».

Вместо спокойной гражданской жизни Береста ждет несправедливый суд и суровый приговор.

Почас и по минуте создается удивительные столкновения, парадоксы и квинслейфы, раннее неведомые.

Наконец, финал! На 91-м году жизни Алексей Мрыкопьевич погибает, спасая ребенка под колесами его поезда.

В рассказах и повестях сборника «Ведьма на Иордане», выпущенного издательством «Книжники»,

Объединенное издательство перед продолжением дискуссии по поводу водружения Знамени Победы на Брестской крепости. Чем дальше ты идешь в историю, тем больше ты открываешь для себя истинные события, которые больше внимания заслуживают, чем те, которые мы привыкли видеть. Высшее решение не подлежит сомнению.

Стоит ли о том, что в истории войны и после войны, с детьми, вершить историю? Думаю, нет. Всем уже давно известна правда. Хроника тех дней свидетельствует, что 29 и 30 апреля над Рейхстагом было поднято 40 флагов и флажков.

В разделе «Проза еврейской жизни» По приказу командующего 3-ей ударной армии генерал-полковника Кузнецова в передовые наступающие части было передано де-

вать специально изготовленных флагов (флаг № 5 водружали Кантария и Егоров).

То, что сделали десятки, а может сотни известных и оставших в тени воинов, было не соревнованием. Состязания – это гонки в Монте-Карло или Уимблдонский турнир. Это был труд. Тяжелый, ратный. Сколько было их, мечтавших первым поднять красный стяг и сраженных в считанных метрах от крыши Рейхстага?! В спорте важно быть первым, в бою – быть победителем.

Нам важно не забывать слова заповеди «... не сотвори кумира себе». Тем более, что кумиры умирают, как простые смертные.

¹ Данная публикация является расширенным текстом выступления на конференции «Лев Шестов в контексте современности», Санкт-Петербург – Москва, 12-15 сентября 2016 г. Ссылки на источники даются в тексте только по названиям. Все они доступны в Интернете.

Борис Дынин

СТРАНСТВОВАНИЕ ЛЬВА ШЕСТОВА В ПОИСКАХ БОГА¹.

Говорить о Шестове, значит говорить о литературе, философии, науке, истории, но, прежде всего, о Боге и вере или, иными словами, о коммуникабельности, сообщаемости экзистенциально значимых истин. Его главной заботой было разоблачение власти над человеком и Богом вечных истин, этих химер, рожденных разумом и моралью. Иным читателям он кажется монотонным мыслителем. Но в вопросах о свободе и спасении «сколько ни повторять, все мало», по любимому выражению самого Льва Исааковича.

Книга Шестова «На весах Иова» имеет подзаголовок: «Странствования по душам». Станный метод философствования – разговор с душами умерших! Такое к добру не приводит. Вот и с душой самого философа случилось злоключение. Многие прочитали Шестова, но немногие присоединились к его странствиям. Когда знакомишься с обзорами его работ, часто возникает ощущение, что их авторы обеспокоены вопросом: «Как выразить уважение Шестову и вместе с тем оставить его (и свою) душу в покое, ибо непонятно как реагировать на шестовские дерзновения».

Шестова называют религиозным философом. Его герои: Авраам, Иов, апостол Павел, Паскаль, Лютер ... Он спорит со Спинозой, Гегелем, Бубером, Гуссерлем... Но, обсуждая вопросы веры, он не присоединяется к определенному вероисповеданию. Если Шестов и является религиозным философом, то таким, у которого нет ни философской системы, ни религиоз-

ной конфессии, но одна мучительная борьба за свободу от идолов, не только глиняных, но и идеальных, где бы они ни возникали: в здравом ли смысле, в науке, в философии или теологии. Он толкует грехопадение человека как согласие принять казуальность и автономную мораль высшими законодателями жизни, властью над самим Богом, если Он существует.

Человек ослушался Бога ради познания, сулившего ему свободу, но, говорит Шестов: «Познание убило человеческую свободу» («Мартин Бубер»), побудив людей признать, что их жизнь подвластна неким всеобщим и вечным истинам. Однако истины разума и предписания морали есть феномены нашего сознания. Они не личности. Шестов прав: признать их автономность, признать в них силу, всеобщую и вечную, господствующую над человеком, есть грех, даже если мы не верим в Бога, – грех добровольного рабства, грех отказа от свободной воли, грех отказа от творчества, от надежды на будущее, в котором ужасы бывшего не повторятся. Это грех сведения свободы к познанной необходимости – грех, столь часто усугублявшийся философией и культом науки с ее печатью аподектичности. В результате стало легче поклониться идолам, не только слепленным из глины, но и сотканным из символов, чем поверить в трансцендентного личного Бога. Подчеркну, для Шестова это не ошибка, это грех!

О познании философы рассуждают тысячелетия, и каждая эпоха модифицирует их рассуждения. Философия Шестова сформировалась в атмосфере резкого противопоставления науки (как воплощения разума) религии (как воплощению мифа) в современной культуре. Еще в давние времена раввины предписали евреям произносить благословение при встрече с известным ученым: «Благословлен Бог, ... кто вложил Свою мудрость в плоть и кровь», но сегодня оказалось, что «верить против разума есть мученичество» (цитирует Шестов Кьеркегора). Но ведь человеческий разум (а другого у нас нет) не однороден, не системен, не един. Он не автономен от психологии и физиологии, и обусловлен культурно-исторически. Он приобретает автономию, как кажется, в науке и, если коронуется на высшую власть, так только в философии. Однако вера не ищет своего оправдания в науке и в философии. Последняя вместе

с теологией пыталась оправдать веру, но так и не смогла разрешить парадоксы умозрительного отношения к Богу. Только противопоставив веру, сведенную к догматике, разуму, сведенному к логике, философ может говорить о мучении верить против разума и затем искать иные пути веры. Хотя Шестов встречается своих героев уже в библейские времена, его критика разума и морали есть протест против отдачи «единого на потребу» именно современной науке и умозрительной философии, которым, по его словам, «нет дела до того, что происходило в душах». («На весах Иова»). Но действительно ли Бог открыт только тем, кто отказывается от разума?

Шестовские герои это души, переживающие ужас, у каждой свой, особенный и личный, не поддающийся увещанию наставлениями разума и морали. Преодолеть ужас, не зная его, сделать его не просто утешенным, но небывшим – только на это согласен Шестов. И потому Шестов резко противопоставляет откровение умозрению, Иерусалим Афинам, находя в Библии свидетельство того, что можно встретить спасающего личного Бога, если сумеем отвергнуть безличные, претендующие на вечность и всеобщность установления разума и морали. Они, для него, ложь, предательство Богу. Он не защищает Бога перед лицом зла в мире. Всякая теодицея для него есть измена Богу, для которого все возможно. Шестов свидетельствует о душах, увидевших себя на страшном суде, где не оправдаться и не спастись от зла ни разумом, ни моралью, но только верой в Бога, для которого все возможно, в том числе и грех, в том числе и сделать грех небывшим.

Если вы не чувствуете себя соучастником злоключений Иова и других душ, с которыми говорит Шестов, если у вас не возникает отчаяния при мысли о судьбе отравленного Сократа, если вы не испытываете ужас при взгляде в глаза обреченным на вечное осуждение, Шестов останется для вас старомодным, никуда не ведущим философом. Но если в криках Иова для вас, как для Шестова, открывается «новое измерение истины», то она откроется вам в страданиях и радостях всех людей прошлых и будущих поколений. Здесь нет инвариантности во времени и в пространстве. Попытки определить пути преодоления зла, построить теодицею или идеал совершенного общества

кончатся или безразличием к страданиям человека или их оправданием. Для Шестова победа над злом может означать только одно: зло побеждено тем, что стало небывшим, его не было. Его не было не потому, что оно стерто из памяти или преодолено в духе по Гегелю, но потому, что оно не совершилось в бытии. Это трудно помыслить. Но, несмотря на все, что говорят нам повседневная жизнь и разум, это можно помыслить, утверждает Шестов, если существует Бог, для которого все возможно, кто может прислушаться к воплям человеческих душ и сделать так, что «истине “Сократа отравили” положен срок и, рано или поздно, мы отвоюем себе право утверждать, что никто никогда Сократа не отравлял, что эта истина, как и все истины, находится во власти высшего существа, которое, в ответ на наши взывания, может ее отменить». («Афины и Иерусалим»). Если не так, то для Шестова прошлое обреченно (казуально) и будет довлеть над настоящим и будущим, и тогда экзистенциальная ситуация человека безнадежна.

Если вслед за Шестовым вы увидите в гневе Иова путь к Богу и утверждение истины, то не станете извлекать из трудов Шестова философскую систему и последние ответы на свои вопросы. Вопросы останутся вашими, и вам придется искать ответы на них. Ни философия, ни теология ответа вам, как и Иову, не дадут. Шестов с упреком пишет: «На самом деле религия [теология – Б.Д.], прежде чем повелевать и распоряжаться, сама давала клятвенный обет безусловной вассальной верности [разуму]» («Великие кануны»), и потому кончала бесплодием.

Но Шестов знает также, что если для Бога все возможно, то Он может быть и добром и злом. Предугадать Его ответ на нашу мольбу или гарантировать себе благостную жизнь, следуя предписаниям систем этики, невозможно. Ведь это Бог сказал Сатане: «Вот, все, что у него, в руке твоей» (Иов 1:12), и Иов был брошен в бездну ужаса. Но в ответ на вызов Иова Богу, бывшее стало небывшим. «И возвратил Господь потерю Иова» (Иов 42:10). Как это понять, как подражать Иову? На какой крик Он ответит? Ни разум, ни мораль не может определить начала и концы здесь.

Трудно странствовать по душе самого Шестова. Вы слы-

шите, как в ней звучит голос надежды на преодоление зла в нашей жизни через веру. Но вместе с тем он предупреждает: эта надежда беспочвенна, ибо: «Для [Бога] не существуют ни моральные санкции, ни разумные основания, он не нуждается, как смертные, в основании, в поддержке, в почве. Беспочвенность – основная, самая завидная и наиболее для нас неопостижимая привилегия божественного. Стало быть, вся наша моральная борьба, равно как и разумные искания – раз мы признаем, что Бог есть последняя цель наших стремлений, – рано или поздно (скорее, конечно, поздно, очень поздно) приведут нас к свободе не только от моральных оценок, но и от вечных истин разума» («На весах Иова») Но может ли это принять верующий человек, сколь бы искренне и глубоко до отчаяния он ни верил? Освободившись от моральных оценок и разума, кем мы станем? Не белокурами ли бестиями или убийцами, не знающими сострадания, даже со словами «Велик Бог» на устах? Их знал 20-й век, и мы видим их сегодня на экранах телевизоров. Вместе с тем, мы помним, сколько разумных и моральных соображений было подведено под преступления тоталитарных режимов 20 века. Ни наука, ни теология не оградили человечество от них. Шестов ждет личной встречи с Богом. Как возможна она?

Может быть, прислушиваться к Шестову уже поздно, слишком поздно, и мы должны оставить его в покое? Может быть, уже безнадежно устарело признание, что Бог есть последняя цель стремлений разумных и нравственных людей? Может быть, следует признать, что жизнь кончается ничем, что зло в истории в нашей жизни есть нечто естественное, разумно объяснимое, неизбежное и потому также морально оправдываемое на весах истории? И потому что «ничто» не может придать смысл нашим радостям, горю, надеждам и разочарованиям, нашему стремлению к добру и к истине, не должны ли мы просто стараться следовать аргументам друзей Иова, по возможности спокойно проживая отведенное нам природой время? Если мы не доверяем свидетельствам Шестова о том, что этот путь кончается ужасом, то отдадим ему должное как к философу (ни к чему нас не обязывающее) и забудем о нем и о его героях. Однако отдать должное Шестову, значит, разговаривать с ним, спорить с

ним. Именно это он оценит.

Философия Шестова есть философия свободы, которую человек может приобрести, только преодолев стены, воздвигаемые разумом и моралью, выйдя к Богу за пределы всего, что подменяет Его в уме и душе человека. Свобода воли есть выход за пределы природного, и если она есть только иллюзия, то и Бог есть иллюзия. Не удивительно, что воинствующие атеисты страстно отрицают свободу воли (см., например «Свобода воли» Сэма Харриса). Нет Бога, нет свободы воли. Нет свободы воли, Бог оказывается под вопросом. Но со свободой мы можем пытаться выйти не только за пределы добра и зла, знания (науки) и морали (этики), но и за пределы смысла нашей жизни, по образу подпольного человека Достоевского. Как за этими пределами человек может рассуждать и понимать вообще? И слова Писания: **«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно..., ничего не будет невозможного для вас»**, не оказываются ответом на вопрос, ибо надо уметь верить, как не сумели верить ни Шестов, ни его герои, как, вероятно, и верить-то невозможно или даже ложно. Не является ли призыв Шестова, по существу, демонстрацией того, до какого тупика доходит умозрительный поиск Бога, даже при обращении к отчаявшимся душам, даже во имя Откровения? Ответ Шестова оказывается не ответом, а вопросом.

И, действительно, если стремление веры состоит в том, чтобы бывшее стало небывшим, Сократ не был отравлен, Адам не вкусил запретного плода и т.д., то не заключается ли смысл веры в морали, предполагающей разум? Мы помним, для Шестова Бог не подчинен разуму и морали, что он может пожелать зло с точки зрения человека, но ведь требование самого Шестова разумно в свете морали. Он не может выдержать мысль, что Сократа отравили как бешенную собаку. Он восхищается верой своих героев, потому что надеется на ее силу заставить Бога выбросить и сделать бывшее небывшим в пользу человеческого представления о том, что разумно и морально. Он спрашивает: «Какая таинственная сила заставляет нас отказаться от всех своих надежд и упований, от всего, что мы считаем священным, утешающим, в чем мы видим справедливость, блаженство». («Памяти великого философа»). Бог не подчинен

морали, но Шестов ждет через веру в Него, утверждения справедливости и разума в сотворенном Им мире, а не торжества случая по божьему произволу.

Однако по свидетельству самого Шестова его герои от Плотина до Бердяева так и не сумели освободиться от власти вечных истин и предписаний разума и морали. Как понять, что «бывшее станет небывшим, человек возвратится к состоянию невинности и к той божественной свободе, перед которой гаснет наша свобода выбора между добром и злом или, точнее, пред которой наша свобода обнаружится как жалкое и позорное рабство, первородный грех, которым является признание того, что есть, необходимым»? («Афины и Иерусалим»). Если все это возможно по вере, обретением которой мучаются герои Шестова, то ее результатом должно стать исчезновение сотворенного мира и творение нового, где потеряют смысл вопроша-

ния Шестова и его героев, ибо исчезнет уникальность человека, с его экзистенциальными проблемами, с его противоречивым «я». В мире, где не произошло грехопадения Адама, отравления Сократа, отречения Петра, прелюбодеяния Давида, не нужна будет теодицея, как и рецепты преодоления зла, ибо его не будет. В таком мире и Бога искать не надо будет!

Не в этом ли заключена тайна Шестова? Он отвергает мир, в котором нет Бога, но также и мир, который нуждается в Боге!

Для него ужасно подумать, что Бог играет с человеком как с игрушкой, и потому он ждет от Бога разумного и морального ответа. Критика разума и морали как стены между человеком и Богом у Шестова радикально последовательна, но ее итогом оказалось требование к Богу ответить человеку по-человечески! Это кажется неразумным и даже аморальным, ибо в человеческом разуме и морали есть и иррациональность и зло. Но шестовские герои вполне разумны в своих моральных требованиях. Ведь речь идет не только о Сократе, но о слезах всех невинно страдавших детей. Мысль о загробной жизни не дает героям Шестова успокоения. Сможет ли Бог ответить ему, не сотворив мир заново, где того человека, во имя которого борется Шестов, не будет? Такой результат обесмысливает веру

в Бога, в спасение от греха, в спасение от противоречий разума и морали.

Если стремление Шестова обрести веру своих героев упирается в тупик, то, как и где искать Бога? Ведь мир остается в огне. При этом отказ от Бога не привел секулярную культуру к решению проблем истины и морали. Их релятивизация есть смирение человека перед абсурдом и отчаянием.

Герои Шестова – одинокие индивиды, восстающие против власти законов разума и предписаний морали ради утверждения значимости в фабрике мира своего частного бытия в его уникальности (то есть, случайности с точки зрения науки). Но разум и мораль не реализуются вне общения, языкового или визуального, не существуют вне традиций жизни общины, семейной и социальной. Шестов замечает: «Ведь в Я и только в Я с его иррациональностью залог возможности освободиться от гипноза математической истины, которую философы за ее «нематериальность» и «вечность» поставили на место Бога». («На весах Иова»). Но одинокое Я не имеет почвы и средств для борьбы с этим гипнозом. «Всемство», подчиняя себе Я, губит его, но только в общении Я находит свое содержание. Одинокий человек в состоянии отчаяния, отвергающий разум и мораль, есть образ европейской философии, сконструированный ею на фоне секуляризованной культуры и распада общинной жизни. Этому образу, чьи прообразы экзистенциалисты увидели в молчащем Аврааме и непонятом Иове, остается только общаться с Богом, а если Его нет, то только жить в абсурде. Нет общения, нет разума и морали, но и нет общения без разума и морали. И обращение к Богу нуждается в них. Скажет ли Шестов, что они открываются в бормотаниях юродивого? И если да, то, как понять их? Крики Иова остаются личными, в них его истина. Но не спросил ли Бог Иова: «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла... Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:... Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?» Вера нуждается в них! Отказаться от них, значит отказаться от Бога!

Так чему может научить нас Шестов?

Грех укоренен не в самих разуме и морали, этих дарах Бога, но в их противопоставлении Богу. Адам вкусил плод дерева по-

знания, но не ответил на вопрос Бога: «Где ты?» гордым: «Я здесь!». Он застыдился и спрятался от Бога. Грех, о котором говорит Шестов, был совершен теми, кто пришел вслед за Адамом, строителями Вавилонской Башни, философами, идеологами, политиками. Не Адам, а мы совершаем этот грех.

В самом начале своего творчества Шестов сказал: «Нужно искать Бога». Это стало нервом всей его философии, но замечание Евгении Герцык остается в силе и при взгляде на все странствования Шестова: «Его книга («Добро в учении графа Толстого и Ницше») кончалась так: “Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога”. И вот этого я и требовала от него в упор в каждом моем нетерпеливом письме. А он в своих ответах — на попятную, топчется на месте, изменяет обещанию». (Е. К. Герцык, «Воспоминания»). Ответ постоянно ускользал и от него и от его читателей.

Вслед за Шестовым я не предполагаю, что смогу выразить урок его странствований в некой системе понятий, способной принудить кого-либо к согласию со мной. Я могу только по его примеру странствовать по душам. Прежде всего, я всматриваюсь в душу самого Шестова. В минуту потрясения он сказал: «Если молитвы не будут услышаны и нам придется возопить: «Господи, отчего Ты нас покинул» или повторить «плач Иеремии», нужно стараться не терять мужества и, как Иеремия и Иисус, под отвратительной «очевидностью» не забывать великой заповеди: «слушай, Израиль». Это все, что я хотел сказать — хотя и сказал нескладно». (Наталья Баранова-Шестова, «Жизнь Льва Шестова», Том 2)

«Слушай, Израиль!» – так начинается первейшая заповедь Торы и Нового Завета – «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими». Шестов вспомнил эту заповедь 22 сентября 1938 года в письме к Борису Шлёцеру в преддверии катастрофы, воплотившей гамлетовское «время вышло из колеи» – отправной точки философских исканий Шестова. В минуту ужаса и гнева Шестов призывает обратиться к Богу словами верующих в синагоге и церкви, несмотря на то, что, как и Кьеркегор, полагал, что ры-

цари веры не оправдаются в храмах.

Шестов свидетельствовал только о вере частного человека, но его странствования ведут нас к входу в Божий дом, в синагогу или в церковь, где верующие молятся Богу, исполняют обряды, связывающие их с Ним, учатся жить по Его слову, сколь бы оно ни оставалось вопросом для самих верующих и потому для теологов и философов, сколько бы ни возникало напряжений в вере и расколов в ней. Здесь верующие исповедуют Бога как своего творца и содержателя, как судью и благодетеля, как любовь и добро, и от его имени осуждают зло мира, хотя нередко склоны его совершать или по неразумению, или по злему умыслу, даже с именем Бога на устах.

Признать, что странствования по душам Шестова ведут внутрь дома Божьего – в синагогу или церковь, может показаться странным выводом. Не боролся ли он против всемства, где бы и как бы оно ни проявлялось? Но если молчание Авраама не может быть понято и крики Иова не могут быть услышаны другими верующими, то какой может быть смысл в их обсуждении? Не обращается ли разговор о них в умозрительное толкование Откровения? Как удержать экзистенциальную значимость истин, о которых говорит Шестов, и вместе с тем признать их коммуникабельность?

Мы знаем истории миллионов и миллионов Иовов 20 века, любого века, засвидетельствовавших глубокую и искреннюю веру людей, чувствовавших присутствие Бога в своей жизни. Им не довелось испытать повторения, возвратить себе погибших детей, вернуться в свои дома, обрести бывшее счастье. Но как много из них чувствовали присутствие Бога в буднях, в минуты отчаяния и в минуты радости! Именно они, в синагогах и церквях, в своих общинах сохранили Его слово, библейское Откровение и, тем самым, подарили Шестову его героев и толкнули на поиск Бога. Вера сохранялась не только в отчаянии одиноких душ, но и в горестях и радостях общинной жизни верующих. Да, псалмопевец восклицает: «Из глубины взываю к Тебе, Господи» (Пс.129), но он и поет: «Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил» (Пс. 70). И Давид провозглашает: «Да веселится сердце ищущих Господа» (1-Пар. 16:10) Надо сказать, что Шестов совершенно прохо-

дит мимо радости в вере. Не потому ли, что радость примиряет с жизнью? Но что в этом неистинного, даже если радость переходяща? Ведь сам Шестов не признает вечных и всеобщих истин. А радость столь же глубоко принадлежит человеческой экзистенции, как и отчаяние. В жизни религиозной общины много и горя, и радости. Но Шестов проходит мимо жизни общины и этим, во многом, определилось его понимание душ, по которым он странствовал.

Для него общение между людьми, даже общение между верующими, отстраняет человека от Бога. Общение формирует общие идеи, моральные установления, видение Бога через мнения и поведение других людей. Но что бы он сказал, если, войдя в синагогу, услышал возглас: «Если Ты предпочитаешь нам врага, чьи страдания уступают нашим, пусть враг и воздаст Тебе хвалу!» Так вскричал рабби Леви-Ицхак из Бердичева во время службы на Рош-а-Шона, день Творения. А перед молитвой в Йом-Кипур, день покаяния и суда, он обратился к Богу: «Сегодня Судный день! Давид в своих псалмах объявил это. Сегодня все Твои создания стоят перед Тобой, и Ты можешь вынести им приговор. Но я – Леви-Ицхак, сын Сары из Бердичева, я говорю и провозглашаю, что судить сегодня надо Тебя. И судить Тебя должны Твои дети, страдающие и умирающие за сохранение святости имени Твоего, Твоего Закона и Твоего обета». И никто в общине не обвинил рабби в богохульстве, и никто в общине не отвернулся от Бога.

В вере экзистенциальная истина коммуникабельна, ибо она укоренена в Откровении, которым живут поколения, родители и дети, семья, община. Все они стоят перед Богом как Иов, как Авраам, и вопрошают: «Судия всей земли поступит ли неправосудно»? Крик рабби Леви-Ицхака прозвучал в восемнадцатом веке, но разве его эхо не слышалось в двадцатом веке, в лагерях смерти, в подвалах катакомбной церкви, разве оно не раздаётся сегодня среди церковных развалин от Ирака до Нигерии, под которыми гибнут христиане?

Шестов не признавал «теофанию, излагаемую на современном языке, [если она] должна по существу отличаться не только

от библейской теофании, но и от теофании хасидов, живших уже не так много раньше, чем мы. И мы, и хасиды, и люди библейских времен, можем равно говорить о буднях и о том, что в буднях проявляется Бог» («Мартин Бубер»). Более того: «Бог может быть настолько озабочен буднями бедного человека, чтобы послать ему нужные гроши для покупки свечей и вина». А если это возбраняется сегодня, то: «Кто или что возбраняет? Двух ответов быть не может: нам возбраняет так думать наше «познание»». И опять я задал бы Шестову вопрос: «Какое познание? Какое знание?» В синагоге и в церкви Откровение остается хранимым без отказа от разума и морали, и вместе с тем без подчинения его умозрению, сколь бы верующие ни модернизировались. Ведь разум, воплощенный в науке, и мораль, воплощенная в философских системах этики, не правят в храме: в молитвах, праздниках, обрядах. Шестов говорит: «Только такая вера, вера, которая не ищет и не может найти оправдания у разума, есть, по Киргегарду, вера Св. Писания». («Киргегард и Достоевский»). Это верно, но вера, и не ищущая себе оправдания у разума и морали, без них не защищена от суеверия и культовых оргий.

Шестов принимает теофанию Бога не философов, а Бога Авраама, Исаака и Иакова, утверждая ее адекватность во все времена, сегодняшние в том числе. Но сам он остается внутри философии. В своей радикальной критике Бога философов, он вышел к такому Богу, которого вряд ли поняли и признали бы своим Авраам, Исаак и Иаков. В философии не может быть преодолено умозрение даже во имя откровения. Герои Шестова знали Бога, не отказываясь от разума и морали, пусть не абсолютных и противоречивых, о чем так много засвидетельствовано в Библии. Они знали, что Бог может слышать их и в буднях жизни, и в тихой радости, не только в криках отчаяния. Иначе Иов, Авраам, Моисей, пророки не обращались бы к Нему, не говорили бы от Его имени, не строили бы жизнь по его заповедям. Вера не есть хаос эмоций, но вопрос к Богу с надеждой понять Его ответ.

Верующие различно слышат ответы Бога на свои вопросы. Они разделены по конфессиям, часто враждующим между

собой. Шестов мог бы сказать, что расколы между конфессиями и внутри каждой из них есть также результат грехопадения – отпадения от Бога в результате подчинения веры теологическим определениям. Но это Единый Бог на небе сотворил многообразие на земле. С этим не просто надо жить, надо понять ценность этого – ценность «достоинства различия», как сказал раввин лорд Джонатан Сакс. Это понимал и Лев Шестов. Он сказал: «Идея всеединства, – писал Шестов, – есть идея совершенно ложная, т. к. философия обычно без этой идеи обойтись не может, то... наше мышление поражено тяжелой болезнью, от которой мы должны стараться всеми силами избавиться... Так же как из того, что возможность общения между людьми в огромном числе наблюденных нами случаев предполагала признание одного или нескольких исходных принципов, не оправдывает вывода: общение возможно только тогда, когда люди соглашаются признать над собой власть или господство одной истины. Совершенно наоборот. Такое требование часто совершенно исключает возможность общения... Не то, что невозможно общение: мнимая потребность поклоняться одной общей истине приводит к вечной вражде, и Крестовые походы и сейчас не кончились... Таким способом все пути закрываются и единство меж людьми достигается не путем общения, а путем истребления всех, кто думает, чувствует и хочет иначе, чем мы». («Афины и Иерусалим»).

Шестов отказался от духа Платона в философии и теологии. Отказ от идеи всеединства еще не означает иррационализма, еще не означает отказа от разума и морали, но только отказ от требования подчинить жизнь людей сфабрикованным умозрением некой единой истине и или некоему всеобщему идеалу. Интересно, что отклик позиции Шестова мы находим у такого секулярного мыслителя как Исая Берлин: «Есть одно убеждение, которое более всех остальных ответственно за массовые человеческие жертвы, принесенные на алтарь великих исторических идеалов: справедливости, прогресса, счастья будущих поколений, священной миссии освобождения народа, расы или класса и даже самой свободы, когда она требует пожертвовать отдельными людьми ради свободы общества. Согласно этому убеждению, где-то – в прошлом или будущем, в

Божественном Откровении или в голове отдельного мыслителя, в достижениях науки и истории или в бесхитростном сердце неспорченного доброго человека – существует окончательное решение. Эту древнюю веру питает убеждение в том, что все позитивные ценности людей, в конечном счете, обязательно совместимы друг с другом и, возможно, даже следуют друг из друга». («Две концепции свободы»)

Столь разные мыслители, исходя из разных посылок, засвидетельствовали, что мир и человек не устроены или не сотворены так, что их можно понять, описать в единой всеобщезначимой системе истин или воспринимать себя, других людей, мир в единообразных эмоциях. Благодаря нашему разуму мы формируем идеи. Без идей жизнь погружается в эмпирический хаос, но идеи оказываются в конфликте. Он осознаются нами, и именно благодаря тому, что мы можем разумно рассуждать, мы можем искать компромиссы между нашими идеалами, целями, средствами. Противоречия жизни невозможно разрешить в какой-либо философской или идеологической системе, в каком-либо едином для всего человечества эмоциональном отношении к себе, к другим людям, к миру. И не удивительно, что, не будучи последователем Шестова, сэр Исайя оценил мысли Шестова и горячо пропагандировал его труды (см. «Conversations with Isaiah Berlin» by Ramin Jahanbegloo). Как раз общение, знающее компромиссы, разумно и морально, не позволяет идее всеединства подчинить себе жизнь людей, сколько бы каждая сторона конфликта ни думала, что имеет право на последнее слово. Разумно признавать, что такого слова человеку не дано, а насилие ради того, чего не дано, аморально. Экзистенциальная позиция становится социальной. Вера ограждает ее от падения в релятивизм.

В позиции самого Шестова, как и в позиции сэра Исайи, есть моральная озабоченность и определенная рациональность, соответствие реальному положению дел, онтологической структуре бытия, аксиологической структуре ценностей, гносеологической структуре познания. Бог разделил языки и культуры, но не заповедовал народам воевать друг с другом. История Вавилонской башни есть история низвержения идолов власти и могущества. Люди могут сопереживать горе и радость друг друга,

понять проблемы друг друга, и, не предполагая, что бывшие битвы, поражения и победы станут небывшими, совместно стремиться к будущему более разумному и справедливому, чем было прошлое. Ждет ли на их пути поражение или победа, я не знаю. Но знаю, прав Шестов, свидетельствуя об опасности истин разума и морали, лишенных экзистенциального измерения и при том наполненных политической злобой дня.

Да, вера, живущая в общинах, пронизана моральной борьбой и противоречивыми мнениями, но именно здесь была и есть та почва, на которой жила вера героев Шестова. Свидетельства Шестова об их одиночестве и отчаянии возвращают нас на путь поколений верующих, знавших Бога в синагогах и церквях, на путь, на котором герои Шестова узнали Бога и служили Ему вместе с общиной. Не был ли Иов тем, кто, по словам его друзей, «наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял»? Будь Иов одинок, как служил бы он Богу, как ведал бы к кому взывать, как знал бы что требовать, в чем видел бы несправедливость обрушившегося на него несчастья, наказания, о чем бы гневался? Он мог почувствовать себя одиноким, как и Авраам, ведущий Исаака к алтарю, но его вера есть вера, хранимая в общине. Если «в буднях проявляется Бог», то мы возвращаемся к поиску Бога на пути поколений верующих, приходивших к Нему в синагогах и церквях. Сколь бы ни был шатким и противоречивым этот путь, другого нет.

Именно в общении верующих, продолжающемся от поколения к поколению, не умолкают крики Иова, обретает значение и понимание его отчаяние, то самое отчаяние, которое стало для Шестова выходом к Богу. Оно осмысливается в свете морали и мудрости Откровения, данного нам не как умозрительное поучение, но как свидетельство Бога и о Боге. В секулярной культуре, включая виртуальное общение по Интернету, крики Иова замолкают. Но их эхо живет в синагогах и церквях. Отчаиваться может и атеист, но его отчаяние не может кончиться ничем иным, как признанием абсурдности жизни. В общине же верующих и слова и мудрость друзей Иова приобретает смысл. Своей крайней парадоксальностью и отчаянием найти Бога любви и сострадания, добра в странствованиях по

душам своих одиноких героев Шестов возвращает нас в синагогу и церковь. Он не вошел туда, но именно они остаются той почвой, на которой росла их вера, приобретали смысл их вопрошания к Богу. Отчаяние переживается индивидуально, но оно не сводится к животному ужасу, освещается надеждой благодаря вере, хранимой общиной.

Религия есть сплав мировоззрения верующих, пути их жизни и объединяющей их общины. При всех различиях этих сплавов раввин Джонатан Сакс мог сказать замечательные слова, которые сможет повторить и священник: «Я вижу людей, преобразованных верой, живущих с чувством благодарности Богу за дар быть живыми и стремящихся вернуть этот долг, дая, что могут, другим людям. Я вижу их хранящими брак как священный союз. Я вижу их, исполняющих родительские обязанности серьезно, как учил Бог Авраама. Я вижу их организующими общины на основе любящей доброты. Я вижу способность веры порождать нравственную силу так, как ничто другое не способно это делать. И когда я вижу людей, достигающих под воздействием солнечных лучей божественной любви высот, не достижимых для них под безбожным небом, тогда, как герой Борхеса в «Приближении к Альмутасиму», я нахожу следы, ведущие к присутствию Бога в людях, которые не идут путями, предназначенными им учениями Маркса, Дарвина, Фрейда или их учеников. Эти следы сверкают крупинками золота в пыли и сигнализируют о трансцендентном». (J. Sacks, «The Great Partnership»).

Шестов был потрясен судьбами людей, выпавших из обычного, даже освещенного божественным. Оба измерения веры сигнализируют о трансцендентном. Сигналы о нем надо расшифровывать. Они могут привести к глухой стене, у которой остается только взывать к Богу в отчаянии и гнев, или в храм, где вместе с общиной верующий может обращаться к личному Богу в разуме и с нравственным сознанием с благодарностью или возмущением, бессмысленными перед лицом природы. Да, там мы встретим много человеческого, слишком человеческого: святошество, споры теологов, подчинение веры политике, симбиоз религии и власти, тривиализацию веры вплоть до окропления святой водой коров, чтобы они давали

больше молока, или оружия, чтобы оно лучше убивало во имя Бога, а не просто во имя геополитических интересов.

Шестов не занимался доказательствами Его существования, не определял Его атрибуты, не строил теодицею, но просто вел своих читателей к Богу, свидетельствуя о вере в Него от имени своих героев. Шестов раскрыл так ярко, как, возможно, никто другой в 20 веке, экзистенциальное измерение веры, укорененное в Откровении. Но тот же 20 век показал, как распад общиной жизни подорвал это измерение и привел к пустым храмам или к эрзацу веры, выхолащенной до суеверия, до моральных тривиальностей, до приспособленчества к всемству, до отчуждения людей от библейского откровения, от Авраама и Иова. В культуре, осуждающей религию на положение мифа или на служение преходящим идеологическим и политическим интересам, странствования по душам Шестова напоминают нам об экзистенциальной напряженности веры в личного Бога. После всего, что сказано, недоговорено, не решено, из того да-

лека, откуда Шестов смотрит на нас сегодня, звучат его слова «Вера дает человеку мужество и силу, чтобы глядеть в глаза смерти и безумию и не склоняться безвольно перед ними» («Киркегард – религиозный философ»).

Ирина Маулер
«БЛИЗКОСРОЧНОЕ ВРЕМЯ»
Издательство «Время» Москва, 2012
Серия: Поэтическая библиотека
Для Бога все возможно! Что это значит? Или и для Бога что-то невозможно, как бывшее – сделать несбытым? Но это значит? Бог есть, Серия: Поэтическая библиотека, и кто есть тогда человек? То, что услышал Шестов в его странствованиях по душам, звучит самым быстрым, наиболее чуждым и живая вера входящих в храмы и выходящих из них рыдающего от подчинения идолам века: философским, идеологическим, политическим, изваянным в камне или навязанным пропагандой. Тогда разум и мораль не будут врагами человека – поэтическая цветомузыка. Родятся поразительно двухворондкие стихи, струны урановые веренице тогда они все же родятся быжи мер и музурения, что в восторге откровения же рини Шестов жизни, от стараят бард о в седмие будет определен творчеством фоточесветилосуду Бва в в а с е р н о с т ь Откровени в век доподлинный Умозрение заражено солнечным напалтом автора.

На захоронах Пьва Исаковича равнин прочитай молитву Кадиш – не просьбу, а особое благословение, производимое при прощании с душой, уходящей к Богу. Оно начинается словами: «Да возвысится и освятится Его великое имя в мире,

сотворенном по воле Его» и оканчивается: «Благословен Он, превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешительных слов, произносимых в мире, и скажем: амен!»

И Исайя Берлин, как-то сказавший рабби Джонатану Саксу, что он глух к разговорам о Боге, в предчувствии конца жизненного пути попросил рабби совершить службу с Кадиш на своих похоронах. Так возвращаются странствующие души к своему Творцу и узнают ответы на волновавшие их при жизни вопросы. Нам же, еще живущим, остается, по слову Шестова: «попытаться угадать, что они говорят, что они думают теперь о том, что их тревожило и волновало, когда они, как и мы, были отделены ограниченностью своего смертного существа от последней тайны». («О вечной книге. Памяти М.О. Гершензона»)

Дариуш Цыхоль

МОЙ ИЕРУСАЛИМ

– Я не понимаю, почему, говоря о нем, ты всегда добавляешь прилагательное: прекрасный, святой, великий или замечательный? И говоришь это именно ты, дипломированный математик, прагматик и атеист? – спросил я.

– Зачем же ты мучишь себя неведением? Приезжай, все увидишь, а «если Бог даст, то и поймешь», – ответил Лев.

«Иерусалим делается теперь местом посещения людей со всего света, и такие толпы паломников обоих полов стекаются сюда, что тут скапливаются все искушения вместе». (Св. Иероним “Письма”)

Меня не удивляет, что миллионы туристов едут к месту действия Ветхого и Нового Заветов – на Святую Землю. Зачем? На этот вопрос наверное нет универсального ответа. Каждый мечтает о том, чтобы найти “нечто” – по-настоящему свое, “нечто” такое, что проникнет в глубину только его души. “Нечто” такое, что, обогатив наши помыслы, останется с нами навсегда. “Нечто” такое, что поможет нам понять этот мир.

Я не испытывал ничего необычного, купаясь в Галилейском море или в реке Иордан. Я не почувствовал «вознесения» на горе Фавор (преображение Иисуса). Гуляя по Назарету, я видел только «арабскую столицу» Государства Израиль и не ощутил близости с местом, где архангел Гавриил возвестил материнство Марии. Подобным образом я чувствовал себя и в Хайфе, более пытаюсь сопоставить ее с описанием у Марека Хласко, чем почувствовать связь с Ильей-пророком. Не возлюбил “же-

стокою красоту” пустыни Негев. Точно так же я реагировал и на Вифлеем и Хеврон (гробница Авраама).

Я был очарован природной красотой и нормальностью Яффы – одного из древнейших городов мира. Нигде в мире пиво не кажется вам столь вкусным, как когда вы пьете его, глядя на скалу Андромеды. К ней она была прикована, чтобы попасть в объятия Персея. Говорят, из Яффы лучше всего любоваться созвездием Андромеды (недалеко от встречи созвездий Кассиопеи и Пегаса). Правда, я его не увидел.

Но и мне удалось обрести любовь к Святой Земле, хотя вера мне для этого не понадобилась.

С первого взгляда

*“Завтра зацветут лимонные деревья;
оливковые деревья возрадуются; глаза твои
затанцуют, а голуби вернутся на твои свя-
щенные башни “.*

(Низар Каббани, “Иерусалим”)

Познакомил нас известный израильский журналист Макс Лурье. Он позвонил из-под тель-авивский гостиницы прежде, чем я распаковал вещи:

– Не выступай, быстро спускайся! Я стою в холле. Отель не убежит, а солнце быстро зайдет.

Я схватил рюкзачок с кабанос и водкой и сбежал по лестнице. Дорожные знаки подсказали, куда мы едем. Через 45 минут я увидел таблицу: ירושלים – Иерусалим.

Мы быстро проехали через город – была пятница, и солнце медленно клонилось к закату: шабес. Стены и дома в Иерусалиме построены из местного белого камня. Дома постарше меняют окраску, принимают цвет слоновой кости, переходящий в желтоватый. Когда на них падает свет – светятся золотом. Поэтому его часто называют золотым городом.

Отблескивают золотым цветом стены, окружающие старый город, светятся стены и мостовые. И так четыре тысячи лет подряд. Трудно идти, хочется ощутить каждый квадратный метр: почувствовать его прикосновением, взглядом, пытаться вслушаться в ветер.

Темнело и несколько раз какой-нибудь еврей цеплял нас строгим взглядом и восклицал: шабес, шабес! Это был деликатный призыв покинуть городские стены, и отправляться домой на праздничный ужин.

У Макса были железные нервы и с почти ангельским терпением он относился к моим тупым (теперь я знаю) вопросам. Неужели эта гора Голгофа? А почему собственно эта стена называется Стеной Плача? Что находится в базилике Гроба Господня?

Базилика, пожалуй, самое святое место христианства, она должна произвести впечатление на любого, кто вырос в христианской цивилизации. И производит. Только совершенно другое, чем ожидалось. Не удивляет и Стена Плача. То есть удивляет не внешним видом, а атмосферой.

Так чем же пленил меня Иерусалим? Тогда я не понял, хотя и почувствовал, что это произошло. Пленил меня самим своим существованием.

Первый звонок

*«Вид на Иерусалим – это история мира,
даже больше, это история земли и неба».*

(Бенджамин Дизраэли, “Танкред”)

Шабат мы провели в гостеприимном доме моего друга, Льва Меламида. Точнее, на крыше. Вместе с нами праздновали около 25 человек:

– У них всегда так. Ты никогда не знаешь, кого здесь встретишь. Этого даже хозяева не знают. Они с женой, Мариной, притягивают людей, как магнит, – объяснил мне Макс Лурье.

Немного удивила меня эта толпа евреев. Я никогда не участвовал в таком ужине. Поздоровался, как научили меня в Польше, выражением «Шабат шалом, Израиль!» (мирной субботы, Израиль). Все глянули на меня, как на белую ласточку, но каждый вежливо ответил: «Шабат шалом!»

– Спасибо, что наконец приехал, – сказал Лев, когда мы обнялись с ним и его женой. – Ты уже понял, «о чем идет речь»? – спросил он.

– Значит так, видел уже Храм Гроба Господня и Стену Плача, – гордо сказал я. Пожилой господин (72 года), журналист и математик, посмотрел на меня одновременно с любовью и состраданием. Спросил, глядя на мой рюкзак, не хочу ли я распаковать вещи.

– Нет, это ерунда, не сейчас, – ответил я с легким смущением.

– У тебя там что-то такое, что ты стесняешься показывать в шабат? – поинтересовался он.

– Свиные кабанос и польская выпивка, – шепнул я в ответ.

Реакцией хозяина стал клич гостям:

– Дамы и господа! Дарек стесняется вытаскивать в шабат кабанос и водку! – заявил Лев Меламид.

В ответ на это гости захохотали. Я решил, что понравился им своей тактичностью, а оказалось – удивил наивностью. Мы пили до утра и говорили обо всем на свете. Мне не хватало только того, чего я очень ожидал: беседы о вере. Я не понимал, почему все ее избегали. Не то, чтобы они боялись или стеснялись. У меня сложилось впечатление, что тема эта для них изчерпана или несущественна.

Робкие подходы

“Лучше жить в Земле Израиля в месте совершенно нееврейском, чем вне Земли в месте еврейском. Кто здесь был похоронен, он словно родился в Иерусалиме, а кто похоронен в Иерусалиме, он словно рожден был под престолом славы”.

(Иехуда ха-Наси)

За завтраком взорвался сорокалетний телепродюсер Влад. У него есть жилье в Иерусалиме, Москве и Нью-Йорке. Он живет везде понемногу, но дома себя чувствует в Иерусалиме.

– Ты все время стараешься вести себя так, чтобы нас не обидеть. Будь самим собой, – посоветовал он. – У нас один и тот же Бог и Десять заповедей. Мы разделяем те же ценности и ожидаем пришествия Спасителя. Вы уверовали, что он при-

шел две тыщи лет назад, а мы просто говорим: он был Христос, но мы ждали не его!

– Так вы верите в Иисуса? – подхватил я.

– Я не верю ни во что, потому что я атеист! Как, вероятно, все, кого ты здесь вчера встретил. Я принимаю тот факт, что Христос жил, учил, и даже имел последователей. Я думаю, что это факты. Только в еврейской традиции у него нет ничего общего с Мессией. Это в основном все, что нас разделяет, – закончил Влад.

– То есть Он не был Мессией, не был святым? Я правильно понял?

– Совершенно верно! – вмешался в разговор Петер, 70-летний театральный режиссер из Рима. – Мы не признаем святой мать Христа, его учеников, то есть по-вашему апостолов, отдавших жизнь за распространение веры в него. Я говорю об этом условно, поскольку я человек неверующий, – закончил он.

– Мы уважаем память и символ, которым для вас стал Христос. Просто мы не верим, что он был сыном Бога, – дополнил Марк Горин, журналист. – Вот и все. Но не принимай мои слова как пророчество “моего народа”, я тоже атеист.

– Так что же вас сюда влечет? – пытаюсь я углубить тему.

– А какой смысл жить за пределами Иерусалима, если можно жить в нем? – риторически спрашивает Лев. – Это ключ к пониманию мира.

– Потому что это наш дом, – завершает тему Влад.

Первое свидание

*«Десять мер красоты спустились в мир:
девять досталось Иерусалиму, а одна –
остальному миру».*

(Вавилонский Талмуд, трактат Кидушин 49б)

В субботу “город стоит”. Не работают магазины и общественный транспорт. Идем с Львом Меламидом оживленной обычно четырехполосной улицей и пинаем мяч, который высмотрел его сын Давид. Мы пинаем его с полчаса, потому что столько занимает дорога к Старому городу. Входим, как и

вчера, через Яффские ворота и медленно движемся в самый волшебный уголок земного шара. Площадь меньше квадратного километра стала священным местом для евреев, мусульман и христиан.

Для евреев это место, где был возведен храм царя Соломона, а в нем – “святая святых”, комната Бога. Здесь находился Ковчег Завета – золотая коробка, заключавшая заповеди, которые Господь дал Моисею на горе Синай. Отсюда изгнал торговцев Христос. Храм разрушался и восставал. Снесли его – «самое красивое строение на Земле» – римляне в 70 году н.э. Самым большим уцелевшим фрагментом осталась Западная стена, известная как Стена Плача. Здесь верующие иудеи пытаются объединиться в молитве.

Сбоку (частично на месте бывшего еврейского Храма) стоит один из священных символов ислама (после Мекки и Медины) – мечеть Аль-Акса с характерным большим куполом. Она была построена в седьмом веке н.э. в память о путешествии пророка Магомета с архангелом Габриэлем. Да-да, это “наш Гавриил”. Только здесь вы можете себе представить, сколь многое объединяет основные религии. В одиннадцатом веке – почти на целое столетие – мечеть становится штаб-квартирой рыцарей-храмовников. Желание возратить духовную святыню было причиной столь ожесточенных сражений в рамках крестовых войн. Вернул мечеть исламу Саладдин в 1187 г.

И неподалеку святое место для христиан – базилика Святого Гроба Господня. Она возведена на месте распятия Христа, то есть там, где была гора Голгофа – место его казни. В базилике для христиан свято все. Но самая главная святыня – камень помазания, на котором было омыто тело Иисуса по снятию с креста, отверстие в скале, где стоял крест и могила Иисуса. Все это, конечно, очень условно, потому что отверстие для креста могло находиться в стороне в любом направлении. Это не мешает верующим стоять в очереди, чтобы стать на колени и дотронуться до него рукой. Гробница не пережила две тысячи лет. Очень часто мы слышим, что наконец-то найдена «та самая, настоящая». Последняя такая информация была опубликована в октябре. То же самое относится и к камню. «Тот самый, настоящий» был некогда разрушен. Нынешний, которому поклоняются (он же чудотворный) – установлен в... 1810

Г.

Прелюдия

«Греки – это наши злейшие заклятые враги, грузины являются худшими еретиками, как и греки, и равны им в злобности, армяне очень красивы, богаты и щедры, и в то же время являются смертельными врагами греков и грузин».

(Франческо Суриано, «Трактат о Святой Земле»)

Базилика не принадлежит ни к одной христианской церкви. Ее соответствующие сегменты управляются представителями нескольких исповеданий: греческого православного патриархата Иерусалима, латинской церкви – в лице ордена францисканцев и Армянской апостольской церкви. Священное пространство церкви доступно для литургии Сирийской ортодоксальной церкви и Эфиопской православной церкви. Коптская православная церковь имеет право только на несколько помещений. Это здесь в порядке вещей, что одна из церквей сдает в аренду (на коммерческой основе) пространство для других конфессиональных групп. Следует добавить, что все они борются между собой. Не проходит и недели без нескольких инцидентов, не было года, когда б не пролилась кровь священнослужителей. Это привычно, нормально, как водится между нами, христианами...

Вот почему власть над ключом от ворот базилики вручена... мусульманину. С двенадцатого века открывает и закрывает ворота представитель одного иерусалимского рода. В противном случае священнослужители, верующие в Христа, могли бы друг друга и поубивать.

Все, что требуется верующим, лежит на расстоянии вытянутой руки. Тысячи людей зарабатывают на духовных нуждах христиан. Миллионы китайских четок, десятки тысяч китайских рождественских вертепов (некоторые, как образец “ручной работы”, продаются даже с китайскими щепками), тонны свечей, китайские пластмассовые кресты, стилизованные под дерево, турецкие “сандалии Иисуса”, отвратительные китайские полотенца с Христом, и даже терновые венцы по 20 шекелей (20

злотых). И ежедневно покупают это китайское дерьмо десятки тысяч христиан, чтобы положить его на камень, установленный в девятнадцатом веке, или увезти как святыни Святой Земли себе домой.

Но какое это имеет значение? Во всем Иерусалиме только в одном месте продаются четки, сделанные в Вифлееме. И там я никогда не видел толпы... Конечно, нет ни малейшего значения во что и как кто верит. Самое главное, чтобы ему с этой верой было хорошо.

Свершение

~~"Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть
отсохнет десница моя. Да прилипнет язык
мой к ребру моему, если не буду помнить
тебя, если не вознесу Иерусалим на вершину
веселья моего".~~
Новая книга **Михаила Юдсона**
ПЕСТНИЦА НА ШКАФ
(Сказка для эмигрантов в трех частях)

Москва, издательство "Зебра Е", 2013. - 560 с.
(Псалом 137)

"Даю как? не спрашиваю меня кто в Мечамид, во время преней, каже Теня Двонативи Суфстали Джорджа Бруолоа адетареч?"
наПоказище ест, доугодий, времезаню смеициамможсатуа,уже
ближи. Большое счастье - появление нового талантлив-
Старый город Старый ба Машеждуйвлия Божиудами, кто
рыдадныибы'его объединять. В административном отноше-
нии он делится на четыре культурных участка (мусульманский,
христианский, еврейский и армянский). Ненависть висит в воз-
духе, каникулы можно заказать по телефону. 050008 Идудовная
столица столь близкую мне людей, которые, будучи тут, уда-
ются от веры. Цена 120 Шекелей с пересылкой.

– Иерусалим не только город, это идея. Поскольку она не очерчена, то ближе, скорее, к мечте, – начал я. – Это мечта о жизни в красивом волшебном мире без войн и ненависти. И понимание того, что этот мир не может возникнуть, потому что его ограничивают те самые факторы, которые и должны его создать: религии, – закончил я, не зная, верно ли это.

Старый журналист налил мне рюмку водки, прикурнул сигарету и вытащил из кармана листок бумаги с цитатой, записан-

ной для этого разговора. Я начал читать, быстро объясняя себе ее содержание по-польски, как вдруг ветер вырвал у меня бумажку. К счастью, я знал эту цитату наизусть: «Вместо того, чтобы бродить по святым местам, отдадимся размышлениям, посмотримся в наши сердца и посетим истинную обетованную землю». (Мартин Лютер, «Застольные беседы»)

Перевод с польского Сергея Подражанского

Анна Файн

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ИЛИЧЕВСКИМ

Сегодня в интернете гуляет следующая цитата неизвестно из кого. «В жизни надо всё попробовать». «Всё» – обычно наркотики и съёмки в порно. Гораздо реже – ядерная физика, альпинизм и шахматы.

Вы не просто попробовали физику, Вы – физик-теоретик. Думаю, Вы также попробовали шахматы и альпинизм. Есть ли в жизни что-то такое, чего Вам бы очень хотелось попробовать?

Иногда сужение интересов объясняют ложно зрелостью, в то время как, скорее, это сужение возможностей, но чаще сил. Мне кажется, способность сознания меняться и не принимать себя всерьез – очень важный навык, и трудный. С возрастом возможность его поддерживать ослабевает, но в то же время иногда его можно поддержать пониманием того, что воображение лучше работает, чем обстоятельства, и что собственная личность не меньшая иллюзия, чем все остальное.

Вы побывали во многих странах мира. Что в Ваших путешествиях поразило Вас больше всего?

Общность людей, некоторое удивительное единство великого разнообразия. Невероятно важно и интересно впитывать в себя это разнообразие, и нет ничего более пагубного для души, чем закоснелость отношения к людям.

Ваш роман “Перс” переведен на многие языки, но не на иврит, хотя Вы живете в Рамат-Гане. Можете ли Вы сказать, что культурный Израиль равнодушен к русскому языку и русской культуре (за исключением, конечно, носителей этого языка)?

Могу, но, боюсь, это равнодушие справедливое, хоть и иногда и гипертрофированное благодаря инертности, не оправданной.

Я никогда не понимала, почему люди говорят “Проклятый-горбатый такую страну развалил”, пока не увидела в романе “Перс” страшную картину разрушения Баку: мальчишки катаются с горки на белом рояле. Чем был лично для Вас развал СССР? Освобождением?

Разрушением любимого апшеронского мира, так подробно выписанного в романе? Или еще чем-то Вашим личным, не укладываемым в эти определения?

Развал СССР начался именно с событий на Апшероне, и это случайность историческая, хотя ее интерпретации вполне могут быть метафизическими, как, впрочем, и толкования почти любой случайности. Для меня события 1988-1993 годов были не концом, а началом, в те времена мой организм еще не был способен к сожалению в принципе. Мое поколение в каком-то смысле уникально – оно взрослело вместе с новым временем и потому особенно оказалось повержено тем, что будущее так и не наступило.

После падения СССР Вы занимались наукой в Израиле. В Израиле можно заниматься наукой?

В Израиле прекрасная наука и медицина, а технологическая инвентивность – выдающаяся. Самый главный показатель современных экономик – совсем не ВВП, а «индекс сложности технологий», некий коэффициент, показывающий, насколько тесно и множественно связаны технологические отрасли. И с этим в Израиле все в порядке, в отличие от стран с сырьевыми экономиками.

В романе “Перс” герой совершает путешествие по Иудее в поисках пропавшего виртуального персонажа, мало связанного с другими героями романа. Этот фрагмент может показаться вставным, не связанным с сюжетом. Ваш роман – это целая вселенная, вселенная Востока. Какое место отведено в ней Израилю?

Поиск некоего «виртуального мессии» в романе — это метафора возможности построения нового общества из новой формации личности, стоящей выше людской разобщенности. Израиль в высшей степени разнообразная страна, мне кажется, такой плотности разнообразия – и людского, и ландшафтного, и климатического, и исторического – нет нигде в мире. Я многому перестал удивляться за четыре года в Израиле, но не богатству человеческого своеобразия.

Персы и евреи – два древних народа, которые все еще живут на Ближнем Востоке, хотя обе цивилизации зародились тысячелетия назад. Верите ли Вы в то, что произошло в Вашем романе – Мессия-освободитель исламского мира пришел из Персии. Возможно ли такое в действительности?

В Талмуде, кажется, где-то сказано: чтобы рубить лес, берут топирище из того же леса.

В передаче “Школа злословия” Татьяна Толстая честно призналась, что не сумела одолеть роман “Перс”. Какого читателя Вы видите перед собой, когда пишете, и видите ли его вообще?

Важно сделать все возможное, чтобы образ читателя был неопределим. И чем более он не представим, тем уверенней можно сказать, что курс правильный.

В Вашем романе Бин Ладен изображен с близкого расстояния: читатель видит его неожиданно молодые ноги и изъеденный грибок ноготь на пальце ноги. Из чего сделан ваш Принц? Из авторской фантазии, из наблюдений реаль-

ных людей, знавших его? Если второе тоже верно, как Вы собирали материал для романа?

Там всего из этого хватает. Но есть и некоторые изобразительные приемы, неизбежные для художественного текста. Сбор материалов был очень большой работой. Что-то около двух столитровых рюкзаков бумажной продукции самой разной. Даже на одном антикварном букинистическом аукционе пришлось купить нужный номер журнала «Красный восток» 1926-го года выпуска.

Для того, чтобы найти необычные слова для описания необычных вещей, некоторые творческие люди входят в измененное состояние сознания тем или иным способом. Применяете ли Вы что-либо из стандартного писательского арсенала: бессонная ночь, крепкий кофе, сигареты, стопочка водки?

Это все ерунда. Сознание в состоянии письма само по себе сущность посторонняя этому миру и если оно, сознание, случилось, то оно не нуждается ни в чем, кроме смысла.

Случается ли с Вами, что Ваша еврейская и русская составляющая спорят между собой? Если да, то о чем?

Наверное, нет более близкого еврейскому сознанию, чем сознание русское. У обоих природа – мессианского свойства. Тем более моя мать субботница, мой прадед был руководителем общины субботников в одном селе Харьковской губернии, его дом был молитвенным домом, так и назывался в селе: бейт-кнесет.

Если бы Вам пришлось дать краткое афористичное определение человека вроде “двуногий без перьев” или “единственное животное, которое узнает своих внуков”, что это было бы за определение?

Существо, способное испытывать общность с другими существами.

Алина Попова

«ЛЕГЕНДЫ ГОРЫ КАРМЕЛЬ»

Книга некогда петербургского физика, а ныне уже давно – специалиста по сравнительному литературоведению, профессора хайфского университета, культуролога и писателя Дениса Соболева «Легенды горы Кармель», выпущенная издательством «Геликон-плюс», состоит, как сказано в оглавлении, из четырнадцати сказок. И хотя автор в заглавии называет свои тексты легендами, в подзаголовке – историями, а в аннотации книга и вовсе представлена как роман, это, все же, именно сказки. Почему?

В сущности, Соболев дает вполне реалистичные (и безжалостные) картины сегодняшней хайфской и вообще человеческой жизни: показывает, как дышится русскоязычным израильским подросткам, заставляет подслушать разговоры и насытиться бытом «бесполётной» обывательской семьи, вникнуть в рассуждения «продвинутых» жен, увлеченных психологией и внимающих современным гуру и «коучам»... Показывает, как беспомощен человек перед непробиваемостью мещанства и материального уклада, как безрадостны и бесчеловечны в любом государстве политика и идеология, как общественные устои и нерешительность не дают выжить любви или ставят любящего на грань безумия... Но рядом — или чуть над — этими картинами, которые могли бы составить мастерское, но совершенно безрадостное произведение, располагается другой мир – там разминает затекшие крылья дракон горы Кармель, готовится сделать первый робкий шаг фарфоровая кукла, для которой можно часами играть на рояле, городские сторожевые башни превращаются в моральные ориентиры, а в шкафу в заброшенном квартале обитает нечто такое, что можно угадать, только прочитав книгу, да и то не наверняка. И еще, чтобы чи-

татель, подавленный безысходностью его узнаваемых, увы, зарисовок, не побежал топиться в Средиземном море, Соболев оставляет ему неясные загадочные ориентиры – прекрасных таинственных женщин, добрых и верных собак, без тени хитрости или непослушания, романтических и мечтательных ученых и архитекторов, словом, «положительных героев», вроде бы и намеченных яркими мазками, а вроде, как последний барашек Маленького принца, настолько призрачных и неконкретных, чтобы и автор, и читатель могли домыслить их сообразно своим мечтам, верованиям или даже биографии.

Внимательного читателя непременно порадует авторский стиль, в котором чувствуется отточенность и легкое хулиганство. Чего стоит одна «Сказка о любящем и любимом», где сквозь витиеватый восточный колорит вдруг прорывается совершенно хармсовская ироническая интонация. Книга по-настоящему разнообразна: трудно представить себе иные обстоятельства, кроме, возможно, многотомника Борхеса, где поэт ибн Габироль соседствовал бы с архитектурным стилем баухауз, пиратами Хайфского залива, ретривером, бурундуком, духами замка Рушмия (или Франшвилль, если такой, конечно, существует) и нашествием бабуинов. Описание нравов этих последних, особенно процедуры бабуинации, кстати, хоть и маскируется сдержанностью слога, уместной в естественнонаучных или этнографических трудах, являет собой такой образчик социальной сатиры и антиутопии, что Свифт с Оруэллом, думаю, не погнушались бы стоять на одной полке с этой «сказочкой».

Кто-то из рецензентов написал, что Денис Соболев дал Хайфе городские легенды. Будет забавно понаблюдать за дальнейшей жизнью городских сюжетов, которые он – что? собрал? вычитал? выдумал? Говорят, дракон горы Кармель уже фигурирует в рассказах экскурсоводов... У меня лично сработал автоматический рефлекс – захотелось разобраться, что здесь вымысел, а что исторические реалии, и если вымысел, то чей... Впрочем, книга Соболева, подобно городу, которому она посвящена, живет как единый организм – со своей горой, морем, садами, разношерстными людьми и зверьями, и расчленять ее литературоведческим анализом стоило бы только от очень большого занудства.

Яков Нелькин

СПАСЛИ ОЧЕНЬ МНОГИХ?

Наше сердце, во-первых, оно – механизм, подчиненный законам и физики, и гидравлики.

И лишь во-вторых, оно – орган множества физиологических функций и датчиков, одушевленный набором романтических резонаторов.

Но прежде всего наше сердце – живое сочетание двигателя и насоса кровеносной системы тела, ответственное за уравновешенность высвобождаемой и потребляемой им мощностей при всех выполняемых телом работах. И, если характер его работ не уяснен отчетливо, едва ли стоит бороться с сердцем за уравнивание обоих процессов.

* * *

Кровь тела поступает к сердцу по венам, отводится от него по эластичным артериям к малым кровеносным сосудам и капиллярам, питает все клетки тела, от них поступает в вены – и вновь подается сердцу.

Мозг и сердце мгновенно взломают ритм высвобождения-потребления мощностей здорового тела – и в состязании хищника с травоядным победит в эту встречу тот, чей рабочий комплекс (сердце + тело) позволит развить и выдержать БОльшую скорость и перегрузку. Не стоит бороться с мозгом и сердцем за согласованность этих процессов.

По ходу жизни наше тело выносит удары, переломы, растяжения, раны, простуды, биологические воспаления тканей, смертельной силы инфекции.

Кровеносная система и сердце – они и первая помощь телу при всех атаках.

Пострадавшие ткани разбухают и уплотняются, их опухоли сжимают сосуды и тормозят проток крови в сужениях как раз в тот период, когда участок требует больше кислорода, воды, питания, обогрева, промывки....

Больной участок шлет мозгу сигнал дефицита крови – мозг отвечает приказом сузить входы в здоровые сосуды всего организма. Артериальное давление возрастает до уровня проницаемости больного участка. Сердце, обеспечивая требуемый поток крови, утяжеляет свою работу на период болезни.

При необходимости увеличить общую циркуляцию крови в системе тренированное сердце способно немного повысить свой пульсовый объем крови – и вдвое, а то и втрое – частоту своих сокращений. Для повышения пульса и давления крови на входе в артерии сердце вынуждено повышать свою мощность. Это не гипертония здоровых сосудов и сердца, – это временный аварийный режим работы всего организма, его естественная реакция на болезнь.

Мы можем отслеживать ход борьбы организма с его болезнью по показаниям сфигманометра, замечательного прибора, созданного трудами поколений врачей разных стран (Италия, Сципионе Рива-Роччи, русский фронтовой хирург-практик Н.С.Коротков и др.)

Сфиг- (или нано-) манометр быстро и безболезненно измеряет три важнейших параметра организма:

- * Высшее давление крови в аорте;

- * Низшее давление крови в аорте;

оба в моменты открытия и закрытия нагнетательного клапана желудочка сердца;

- * Частоту ввода крови в аорту (частоту пульса сердца).

Эти три параметра характеризуют интенсивность нагрузки организма, поддерживаемой в данный момент нашим сердцем.

Пользуясь сфигманометром, врачи отмечают прежде всего высшее давление крови в аорте (систола) как чреватое разрывом сосуда в мозгу и наступлением грозного инсульта.

Низшее же давление крови в аорте – ее рабочая растяжимость, напряжение отдыха ее материала, косвенно – пульсо-

вый объем крови, а порой и сам пульс – то, чем оперирует организм при сокращениях сердца, иногда ускользает из их внимания.

А между тем сфигманометр охотно расскажет и больше о состоянии организма, чем мы обычно трудимся прочитать.

Так, врачам очень могла бы помочь мощность нагнетания желудочков сердца. Она измеряется как произведение перепада артериальных давлений на пульсовую подачу желудочков и на частоту их подач (пульса), но практикам достаточно видеть отношение текущей мощности сердца к его «мощности покоя» при 120.80.73, чтобы оценить напряженность сердечной работы.

Для примера отнесем мощность некоего замера по сфигманометру (160.90.80) к «мощности покоя» идеального сердца в состоянии отдыха сидя (120.80.73):

$$160.90.80 = (160 - 90) * 80 = 70 * 80 = 5600$$

$$120.80.73 = (120 - 80) * 73 = 40 * 73 = 2920 \text{ (округленно } 3000).$$

Отношение мощностей составляет $5600 : 3000 = 1,9$, то есть перегрузка исследуемого сердца в момент замера почти двукратна, – параметр, вполне понятный для оценки нашего состояния.

Теперь простой, убедительный опыт (сегодня уже возможный): замените здоровое сердце с его удвоенной мощностью на любое другое. И мозг ваш вашему новому сердцу закажет ту мощность, что прежнее сердце несло на момент замера – с перегрузкой 1.9.

Не сердце инициирует высоты своих артериальных давлений, а мозг вычисляет и назначает их перепад. Не сердце инициирует свою мощность, а состояние нашего тела, крутизна нашей лестницы и нами выбранный темп подъема на свой этаж.

И альпинист, напряженно шагающий в разреженном воздухе на высоте 3000-4000 м в гору с 30 кг рюкзаком, заставляет свой мозг принуждать свое сердце к режиму работы где-то на уровне в 220.110.200 по сфигманометру, то есть с мощностью, всемерно большей, чем «спокойная мощность» кровоснабжения

его организма. Это много, но приемлемо при условии, что в следующие часы организм получит возможность восстановить и уравновесить перенесенную паранормальную мощность. Организм привыкает ее уравнивать и переносить, становится сильнее и выносливее – в этом и состоит развивающая его тренировка.

Опасно напряжение мозга и организма, не оставляющее периодов релаксации, – опасно наше невосстанавливаемое истощение в ходе систематического преодоления воспалительных, болезненных, постоянных нагрузок. Опасна гипертония – излохмачивание внутренних поверхностей сосудов и сердца, подвергаемых стойкому напору кровепотока.

Не всякое воспаление обнаруживает себя очевидной опухолью – и для помощи излечению больной приходит к врачу.

Врачу бывает очень непросто в считанные минуты визита найти причину даже и острой болезни, а пациент – он живой и ждущий – прямо сейчас – своего исцеления. Сердце его вместо успокоительных 120.80.70 шлет на табло сфигманометра тревожные 170.90.100 – и врач, не вскрывший причин болезни, пытается снять ее симптомы – лекарственно.

Покуда сердце включено в болезнь организма, как мать – в болезнь своего ребенка, то (сердце + тело) – оздоровительная единица с задачей: ребенка поправить и мать успокоить.

Лекарственные успокоители сердечной работы искусственно шлют мать на отдых. Сердцу, конечно, становится «легче», – но ребенка мы оставляем без материнской заботы. И вряд ли оба они благодарны за наше вмешательство в ход болезни: не защитив от атаки внешней, мы отказали больному в помощи его же собственных сердца и крови, – первой и главной помощи телу при всех атаках.

С возрастом качество сосудов и тканей животных и человека снижается. Сопротивление их растет, требуя от сердца большего напора на проталкивание кровепотока даже в покое. Большой напор – это и большие артериальные давления, тревожащие врачей.

Зато пульс, в молодости часто ускорявшийся до 200 ударов в минуту, едва способен перевалить за половину своего пре-

жного темпа. Но и такие перевалы пульса тревожат врачей.

Их искусственно безопасные нормы и кровяного давления, и пульса достигаются приемом десятка (порою и больше) ядов. Яды (на политкорреkte – лекарства) вырабатывает мульти-миллиардо-долларовая фармацевтика – и приговаривает пожилого здорового человека к понижению нормы кровеснабжения тела, исчисленной нашим мозгом. «Безопасная» жизнеспособность, оставляемая врачами, требует противоестественной «социальной помощи» как необходимого условия часто невыносимого существования.

Мозг вверившегося врачам ищет выход из наведенной болезни, обнаруживает отравляющие лекарства – и начинает противодействовать химическим их приказам. Он возвращает кровоснабжение тела к своим «нестандартным», но для него естественным показателям, к недостающей ему мощности сердца (1,9) и ... к «повышенному» давлению систолы.

Вновь «обнаружив гипертонию», врачи усиливают свои препараты подавления опыта нашего мозга...

Врачи говорят, что в такой борьбе они спасли очень многих.

* * *

Высоко ценя личный опыт читателя, автор заранее благодарен тем, кто пришлет свои возражения, поправки, предостережения, замечания по его адресу:

ndp.input@gmail.com

СЛІХИ І СПРУНЫ

Ирина Морозовская

ТЕБЕ И МНЕ И ОБЛАКАМ...

О песнях Ирины Маулер

Я неприлично долго писала эту колонку. Ведь Мироздание, сговорившись с ретроградным Меркурием, засыпало меня в это время с головой кучей неотложных мелких и средних дел, перемешанных, как в задании для Золушки, с печной золой и прочим мусором. Капризничавший и болеющий компьютер создавал надлежащий фон для жизни, подпевая выздоравливающей мне что-то ноющее. И песни Ирины Маулер оказались прекрасным зельем для успокоения, утешения себя, откапывания, разгребания и разбирания всего. Отделения собственных зёрен от прочего. Под её мягкий, мелодичный, уютный и умиротворяющий голос дела даже происходили легче и проще, набежавшее за день раздражение отступало, а тяжелая усталость алхимически возгонялась к небесам светлой печалью. Оказалось, что совершенно невозможен для меня поэтический разбор этих песен и аналитическое к ним отношение. Они просачиваются мимо всех этих фильтров сознания прямо в душу – как колыбельная матери успокаивает и утешает ребёнка, ещё не осмысляющего слов. И у этих песен дивный и редкий дар переносить внутреннюю гармонию вовне и вокруг и освещать ею этот круг. Казалось – это сама бывшая Золушка, ныне Принцесса, рассказывает свои сказки и истории, делится и прошлой и нынешней жизнью с бесконечным сочувствием к слушателям и нежностью и бережностью ко всякому существу. Песни Ирины Маулер идеально звучали на фоне дождливой погоды, лёгкой ломоты во всём теле с температуркой, когда удаётся вытянуться под одеялом, закрыть глаза и вслушаться в эту

жизнь, состоящую из звуков и слов. И почувствовать, что всё не так уж плохо, а будет совсем хорошо и правильно. И что можно позволить себе уплыть в этой волне, раствориться в этом свете, обрести лёгкость и текучесть – и в неизбежном возвращении к своему очагу обнаружить себя – умытой, а горох и чечевицу – перебранными в отдельных мисочках, а золу... вообще не обнаружить. Делась куда-то, ну и ладно. Все эти чудеса случились как будто сами собой, но знаешь точно – это песни наколдовали. Вот такое это волшебство, для выпитывания всей кожей и всем существом. Всем советую, берите, благо дают и безо всяких условий, чистым даром.

ПЕСНИ - вот они:

<https://www.youtube.com/watch?v=D8uT7Tuca48>

КОНЦЕРТ “У АРИКА”

<https://www.youtube.com/watch?v=YRXu6R6FR8E>

ЭМИГРАЦИЯ

<https://www.youtube.com/watch?v=G6DBfQKmTXw>

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

<https://www.youtube.com/watch?v=uA-K3uUcmZ0>

Вместе с этим номером журнала “Артикль”
подписчики получают в подарок
диск с песнями Ирины Маулер.

Сведения об авторах:

Елена Викман – учитель, прозаик. Живет в Хевроне.

Жанна Свет – литератор. Живет в Офакиме.

Мария Шенбрунн-Амор – писатель, автор исторических романов. Живет в Висконсине (США).

Елена Джеро – писатель, журналист, сценарист. Живет в Риме.

Татьяна Рашевски – переводчик, прозаик. Живет в Нетании.

Эстер Кей – переводчик, писатель. Живет в Цфате.

Евгений Коган – поэт, прозаик. Живет в Ришон ле-Ционе.

Ирина Каренина – поэт, журналист, критик. Живет в Минске.

Ольга Журавлева – поэт, редактор журнала ЛИФФТ. Живет в Москве.

Игорь Губерман – поэт. Живет в Иерусалиме.

Александр Беляков – поэт. Живет в Ярославле.

Илья Риссенберг – поэт. Живет в Харькове.

Виктор Голков – поэт. Живет в Азоре.

Виктор Хатеновский – поэт, актер. Живет в Москве.

Александр Ситницкий – поэт, переводчик, эссеист. Живет в Сан-Франциско.

Петр Люкимсон – писатель, журналист. Живет в Тель-Авиве.

Александр Ласкин – писатель, историк. Живет в Санкт-Петербурге.

Игорь Шихман – писатель, журналист, редактор журнала “Время и место”. Живет в Нью-Йорке.

Борис Дынин – литератор, переводчик. Живет в Торонто.

Дариуш Цыхоль – редактор, публицист. Живет в Варшаве.

Сергей Подражанский – журналист, переводчик. Живет в Аризле.

Анна Файн – писатель, колумнист. Живет в Бней-Браке.

Алина Попова – переводчик. Живет в Санкт-Петербурге.

Яков Нелькин – инженер, публицист. Живет в Тель-Авиве.

Ирина Морозовская – психолог, бард. Живет в Одессе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:

**Яков Шехтер
Михаил Юдсон**

Ответственный секретарь:
Михаил Сидоров

Редакционная коллегия:
Ирина Маулер (раздел поэзии), Ирина Морозовская (раздел
“Стихи и струны”), Эдуард Бормашенко,
Денис Соболев, Давид Шехтер (раздел non-фикшн).

Компьютерная обработка:
Амнон Пасхин

Почтовый адрес:
**Michael Yudson, Journal “Article”. P.O.B. 44050,
Tel-Aviv 61440, Israel**

Телефон: 050-908-03-48 (в Израиле)
(972)-50-908-03-48 (для заграницы)

Электронный адрес редакции:
articreda@gmail.com

Сайт журнала:
<http://www.sunround.com/club/journal.htm>
Фейсбук:
<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtiki>

**Стоимость годовой подписки (с пересылкой):
в Израиле – 200 шекелей,**

